М.К. КУПРИНА-ИОРДАНСКАЯ

ГОДЫ МОЛОДОСТИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

Под общей редакцией
В. В. ГРИГОРЕНКО, Н. К. ГУДЗИЯ,
С. А. МАКАШИНА, С. И. МАШИНСКОГО, Б. С. РЮРИКОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1966

М. К. КУПРИНА-ИОРДАНСКАЯ

ГОДЫ МОЛОДОСТИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1966

8Р
К 92

Вступительная статья
В. Г. ЛИДИНА

Примечания
Л. И. ДАВЫДОВОЙ

7-2-2
39-66

М. К. Куприна-Иорданская. 1925 год.

О КНИГЕ «ГОДЫ МОЛОДОСТИ»

Повествование о жизни писателя — это не только история его судьбы или распространенная его биография; это и широкая картина литературной жизни того времени, а по существу частица истории литературы.

Кто же может шире, глубже и проникновеннее рассказать о жизни художника, чем не та, кто была его спутницей, знала его труд, разделяла с ним горести и невзгоды, как разделяла удачи и успех? В истории литературы есть немало примеров, как именно дневник или записки жены писателя раскрывали не только его существо, но давали и ключ к распознанию истоков и путей его творчества и служили надежной канвой для анализа его замыслов и начинаний: таковы мемуары Н. А. Тучковой-Огаревой, А. Г. Достоевской, дневники С. А. Толстой, а в наше время — воспоминания жены Теодора Драйзера или глубоко проникновенная книга Герды Григ о своем погибшем муже — Нурдале Григе...

Марии Карловне Куприной-Иорданской выпала счастливая судьба: она была первой спутницей и другом замечательного писателя А. И. Куприна. Содружество это вместе с тем было и творческим: М. К. Куприна-Иорданская обладала даром незаурядного редактора, а также даром истинного литератора. Ее повесть о годах молодости — не только дань воспоминаниям, которые могут быть сильнее или слабее в зависимости от того, что сохранила память: она написана широко и сама по себе является литературным произведением, подлинной повестью, как определяют это слово словари.

Жизнь А. И. Куприна не походит на обычное течение писательской биографии, когда год за годом профессионально созревает талант и писатель планомерно переходит от одной своей вещи к другой. Таким путем созревал, например, талант И. А. Бунина. Куприн

познал иную судьбу: дело не только в том, что на своем веку он перепробовал ряд профессий, из которых каждая по-своему обогатила его опытом и знаниями; но главным образом в том, что он испытывал одновременно и свой дух, и именно это испытание и определило его дорогу писателя.

В ту пору, когда молодая девушка познакомилась со своим будущим мужем, Куприн был только на пути к становлению писателя. За его плечами были годы журналистской работы, торопливой, нередко на заказ, безденежье, поиски заработка, — словом, достаточно всего того, что зачастую под самый корень подрезает созревающее дарование. В сущности, эта первая пора в жизни Куприна походит и на первую пору в жизни А. П. Чехова: те же маленькие, спешные рассказы, необходимость скорого заработка, боязнь завтрашнего дня, покушения бесцеремонных издателей.

В моей библиотеке есть книжка очерков Куприна «Киевские типы», изданная в 1902 году книгоиздательством Ф. А. Иогансона в Киеве. Зоркий глаз, уже понаторевшая в журналистском деле рука, острые картинки, которые могли бы остаться в ряду провинциальных изданий; и только когда к творчеству Куприна обратились литературоведы, картинки эти стали своего рода масштабом роста прославленного писателя. Лишь первые серьезные вещи «Молох» и «В цирке» были опубликованы в толстых журналах, когда киевский журналист Куприн переехал в Петербург, чтобы здесь завоевать себе имя.

С этих лет и начинается повесть М. К. Куприной-Иорданской о годах молодости. Это годы не только становления писателя, но и годы свежести его познания мира, первых литературных связей и знакомств, оказывающих нередко глубочайшее влияние на дальнейшее формирование писателя; это, наконец, годы порывов и искренних чувств, которые в дальнейшем нивелирует и нередко ослабляет время. М. К. Куприна-Иорданская до последних своих дней сохраняла глубокое зрение и глубокий слух и прекрасную по своей сути память сердца. Я уверен, что не один читатель будет благодарен ей за то, что она донесла образ прекрасного русского писателя и обогатила его памятью своего сердца.

Такие книги, как «Годы молодости», пишутся именно сердцем, и если этого нет, не помогут никакие эпистолярные материалы, ни дневники, ни позднейшие прозрения, когда домысел должен казаться истиной. Куприна с Марией Карловной связывают не только те годы, когда они были мужем и женой и когда совместно руководили таким журналом, как «Мир божий», сыгравшим немалую роль в истории русской литературы. Чувство сердечной дружбы и

глубокого доверия к нужной и близкой ему душе Куприн сохранил на всю свою дальнейшую жизнь.

Мне привелось познакомиться с письмами, которые Куприн посылал Марии Карловне из Франции в самую глухую, самую печальную пору своего эмигрантского житья. Какого доверия и какой веры в близкого ему человека полны эти, по существу, трагические письма, по которым когда-нибудь восстановятся истинные масштабы того бедствия, какое постигло Куприна, опутало его, лишило воли, лишило и самого прекрасного — родной земли, к которой, в конце концов, он вернулся и в которой нашел успокоение; эти слова звучат не риторически, они выражают истинную суть.

Обращаясь к жизни Куприна, отраженной в воспоминаниях его первой жены, нельзя не задуматься о писательской судьбе Куприна. В 1904 году умер Чехов, а год спустя произошла революция 1905 года, после разгрома которой длинный и темный период реакции наступил и для литературы: мистика, половые проблемы, темы самоубийства, мрачная арцыбашевская эротика, голое препарированное стилизаторство — всего этого хватало в русской литературе того времени. Но в это же время звучал голос и Максима Горького, поднимались молодые, здоровые силы, и Куприн был в числе тех, кто продолжил лучшие демократические традиции русской литературы, продолжил талантливо, с обновлением языка, чем в огромной степени был обязан Льву Толстому и Чехову, принес в литературу новые темы, осветил многое пламенностью внешне неорганизованного, а внутренне — глубоко организованного чувства.

Он быстро стал читаемым и популярным писателем со всеми опасными особенностями популярности. Мы знаем на примере Леонида Андреева, как страшны обезьяньи объятия славы; трагическое завершение судьбы Леонида Андреева — жестокий документ бесславия всяческой искусственно созданной славы. Именно в эти годы Куприн написал свои лучшие вещи: «Поединок», «Гранатовый браслет», «Олеся», «Конокрады», «Река жизни», «Мирное житие», «Штабс-капитан Рыбников» и великое множество других превосходных рассказов... Он за короткий срок стал одним из самых известных писателей, и вместе с тем сколько пошлого, дешевого, нездорового в изобилии подмешивали цинические газетчики того времени к писательской, да и личной жизни Куприна. В каких только видах не печатались изображения Куприна, какие только домыслы не примешивались к его имени, какое только пошлое сочинительство не сопровождало его успех...

Свидетельницей этой самой опасной и тревожной, внешне блистательной полосы жизни Куприна была именно Мария Карловна. Она пишет об этом мужественно и достоверно, ничего не преуменьшая,

но ничего и не преувеличивая. Вместе с тем это не равнодушная летопись деятельности большого писателя а страстная летопись его жизни. Мария Карловна понимала ту роль, которую он призван был сыграть в русской литературе; она понимала и то, что для этой роли нужны большие жизненные силы, которые Куприн нередко безрассудно растрачивал. Понимала она и то, — и блестяще доказала это, — что именно она должна все запомнить и в свое время рассказать, как быстро и могуче росло дарование Куприна, как много он знал и умел, покорял и талантом, и своим языком, и наблюдениями над жизнью... Для нее было очевидно, какое место займет он со временем в русской литературе, но тогда, при всем успехе Куприна, место это все же могло казаться весьма неопределенным.

Шум, созданный вокруг «Ямы» Куприна, искажал представление о нем, как о писателе больших общественных тем, хотя именно общественное сознание продиктовало Куприну написать о павших и бесправных; однако острую социальную тему пошлые газетчики изобразили как своего рода «клубничку», а мелкотемье некоторых проходных рассказов Куприна (сюда следует включить и «Морскую болезнь») изображали путем, по которому пошел писатель; «Поединок» же и все лучшее, дотоле написанное, быстро в неблагодарной памяти осталось позади. Однако осталось позади не для того читателя, который понимал серьезность замыслов Куприна и давно уверовал в его большой талант. Именно этот читатель, а не искатели сенсационных тем определили истинную роль Куприна в русской литературе.

Естественно, что М. К. Куприной-Иорданской, разделившей путь писателя, пришлось познать и медоточивое славословие тех, кто в любую минуту готов был отвернуться от Куприна, и серьезную, глубокую оценку истинных сочувственников литературы. Обо всем этом Мария Карловна пишет спокойно и с достоинством, она воскрешает картины литературной жизни того времени, и тот, кто обратится к книгам Куприна, захочет узнать богатство его многообразного творчества, тот, несомненно, заинтересуется и книгой о нем, книгой достоверной, написанной верной рукой, и притом талантливой рукой. Следует сказать и о самом авторе этой книги.

Мария Карловна Куприна-Иорданская по своей истинной сути принадлежала к числу таких редакторов, как А. И. Богданович или В. С. Миролюбов, которым посвятили в свое время глубоко прочувственные строки и В. Короленко, и М. Горький... Они оставили в русской литературе память о себе, как спутники писателей, верные их пестуны, их сподвижники. Не один из нас, современников, обязан

дружественной руке В. С. Миролюбова или А. Г. Горнфельда, не говоря уже о неутомимой редакторской руке А. М. Горького...

Мария Карловна после журнала «Мир божий» редактировала один из самых распространенных журналов того времени «Современный мир»: многие из старшего поколения советских писателей начинали именно в этом журнале, и не у одного из нас хранятся письма М. К. Куприной-Иорданской, написанные твердым прямым почерком, обычно краткие и деловые, но слова «ваш рассказ принят и пойдет в таком-то номере» звучали для молодого писателя поистине волшебно. Но если мы обратимся к нашему времени, то один из первых советских толстых журналов, возникших вслед за «Красной новью», — «Новый мир» был сделан при участии его первого литературного секретаря М. К. Куприной-Иорданской.

Многие из нас печатали свои ранние вещи именно в этом журнале, и как же, когда пишешь предисловие к книге М. К. Куприной-Иорданской, не вспомнить тех лет... Эта неразрывность действия определяет истинное существо автора книги «Годы молодости». От лет своей молодости до наших дней шла Мария Карловна дорогой литературы, и без литературы и не представишь себе ее жизни. Даже тогда, когда многое уже было в прошлом и годы вплотную подобрались к Марии Карловне, входя в ее комнату, сразу оказывался в атмосфере литературной жизни на протяжении почти семидесяти лет. Для истории литературы срок этот означал, что одно поколение писателей давно сменилось другим, и уже и это второе поколение постепенно редеет. Но, как старого капитана на вахте, можно было видеть М. К. Куприну-Иорданскую, погруженную — по мере своих сил — в летопись жизни писателя, ставшего гордостью русской литературы.

Были, однако, годы, когда имя Куприна поблекло и заглохло. Терзаемый эмигрантской неврастенией, с тревогой или даже просто с ужасом вглядывался он в свой завтрашний день, жил почти в нищете, вынужден был писать о русской жизни лишь по воспоминаниям, по отголоскам памяти, он — русский из русских писателей. Такая же судьба была и у И. А. Бунина, но тот мог писать о России по воспоминаниям. Куприн этого не мог; его лучшие рассказы того времени: «Соловей», «Мыс Гурон», «Золотой петух», прелестные очерки «Юг благословенный», — все это не о России, а о горестном воспоминании о ней или о той жизни, которая окружала его во Франции.

Рассказы Куприна до наших читателей не доходили; его книги терялись в безрадостных далях эмиграции, постепенно выветривалось, сходило его имя. В Советской стране вырос новый читатель, который почти ничего не знал о Куприне. Книги Куприна,

выпущенные в свое время издательством «Знание» или «Московское товарищество», как и собрание сочинений, изданное в качестве приложения к журналу «Нива», давно стали библиографической редкостью. Былая слава Куприна таяла, но поистине нет понятия выше, чем Отечество, которое в преданной памяти хранит все то лучшее, что было сделано в свое время для народа.

А. И. Куприн не только физически вернулся в Россию и солнце его заката просияло все же на родной земле, но он и заново возник как писатель. Было бы неточно сказать, что имя его было возвращено: для множества советских читателей это имя прозвучало впервые и Куприн как бы сызнова начал свой писательский путь. Успех его книг, его «избранного» или нового собрания его сочинений был огромен, огромны и тиражи, и Куприн по праву занял место в плеяде русских писателей, которые после Чехова — во главе с М Горьким — определили дорогу нашей литературы. Именно эта плеяда перекинула мост от писателей-классиков прошлого к современному поколению советских писателей, и голос Куприна не ограничен пределами дореволюционной литературы. Он вошел и в ее новую историю, и можно только радоваться и богатству этого голоса, и тому, что наш читатель не дал ему заглохнуть, сделал его своим достоянием и полюбил его.

Человечность — а книги Куприна глубоко человечны — не знает периодов литературы, она действует вне времени, она близка сердцу не одного поколения читателей: пример этому книги Чехова с их нестареющей судьбой.

Книга М. К. Куприной-Иорданской — главным образом о той поре жизни Куприна, когда сильно и уверенно начинал он свой путь. В дальнейшем иной стала жизнь Куприна, и годы разлучили его с первой своей спутницей; умерла и их дочь.

Мы обязаны автору книги о молодых годах Куприна тем, что она сохранила их в памяти, рассказала о них сердечно и просто, как о самом большом и самом лучшем, что было в ее жизни, и тут нельзя не вспомнить рассказа Марии Карловны о том, как, написав «Гранатовый браслет», Куприн трогательно искал в петербургских магазинах именно такой браслет и подарил его своей спутнице, как память о годах молодости, и о молодых надеждах, и о том успехе, который выпал на долю этой маленькой повести.

Браслет этот не уцелел, но суть не в нем, а в том глубоком течении чувств, которое определяет и дорогу писателя, и память о нем тех, кто любил его и прошел вместе с ним часть его жизненного пути. В «Гранатовом браслете» есть такие строки: «Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга... Ты обо мне помнишь? Помнишь? Помнишь?» Это хорошие,

и притом всеобщие строки, они раскрывают не только тему этого рассказа, но и строй чувств самого Куприна.

М. К. Куприна-Иорданская продолжила свои воспоминания; она довела их до дня разлуки с Куприным, разлуки уже навсегда.

Естественно, что во второй части своих воспоминаний Марии Карловне пришлось воспользоваться главным образом письмами Куприна из Франции, письмами, в которых страстная тоска по родине, отчаяние от бессмыслицы эмиграции звучат поистине с трагической силой, и мы, даже по выдержкам из этих писем, познаём, как Куприну — русскому из русских писателей — была непереносимо тягостна жизнь на чужбине.

Марии Карловне Куприной-Иорданской было уже много лет. Но я редко встречал человека такой ясной памяти и твердого ума, и такой иронии по отношению к изъянам, которые нанесло ей время; она была все еще во всеоружии; а физическая слабость не означала слабости духовной.

Хорошо, когда по полной правде можешь написать эти строки уважения к жизни и труду человека. Книге «Годы молодости» дано остаться в нашей мемуарной литературе; но что такое, по существу, мемуарная литература? Можно ли отнести к ней, скажем, «Былое и думы» А. И. Герцена или «Записки моего современника» В. Г. Короленко? Если можно, то не страшно и несколько специальное определение «мемуарная литература». А какие чудеса в познании жизни выдающихся деятелей, и жизни современного им общества, и жизни множества людей, составлявших это общество, людей, нередко одаренных, блестящих, — какие чудеса может сделать благодарная человеческая память!

Думая о книге М. К. Куприной-Иорданской, обращаешься мыслью к верности сердца первой спутницы Куприна, верности, позволившей ей написать книгу не только о годах молодости, но и о годах заката, сызнова духовно соединившего их не только в силу старой русской пословицы, что первая любовь не ржавеет, но и в силу общности духа и глубокого уважения друг к другу.

Только несколько месяцев не дожила Мария Карловна до того дня, когда могла бы держать в руках эту свою книгу.

В. Лидин

ГОДЫ МОЛОДОСТИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Мое первое знакомство с А. И. Куприным. — Забавная выдумка И. А. Бунина. — Рассказы о А. П. Чехове. — С. Я. Елпатьевский.— Знакомство Куприна с А. П. Чеховым и В. С. Миролюбовым весной 1901 года в Ялте. — Рассказ «В цирке».

В одно из ноябрьских воскресений 1901 года я усиленно готовилась к семинару[1] профессора С. Ф. Платонова. Дверь в комнату была закрыта, и звонка из передней не было слышно.

— Пришли гости, мамаша приказали вам принять, сами они к гостям не выйдут, — скороговоркой проговорила, входя ко мне, молоденькая горничная Феня.

Появление гостей меня удивило.

Моя приемная мать, Александра Аркадьевна Давыдова[2] — издательница журнала «Мир божий»[3] — последние месяцы часто хворала. После смерти Лидии Карловны Туган-Барановской, старшей дочери, которую она страстно любила, у нее обострилась болезнь сердца. Она перестала заниматься делами журнала, никуда из дому не выезжала, отменила вечера и воскресные приемы. Кроме близких друзей, у нее никто не бывал.

Я вышла в гостиную. Среди комнаты стоял Иван Алексеевич Бунин и рядом с ним незнакомый мне молодой человек.

Приходу Бунина я обрадовалась. Мы давно не видались — последние два года он редко приезжал в Петербург, да и то ненадолго. Всегда, когда мы встречались после значительного перерыва, Иван Алексеевич, чтобы рассеять натянутость первой встречи, с пугливой почтительностью приветствовал меня и начинал разговор с какой-нибудь забавной выдумки. Так было и на этот раз.

— Здравствуйте, глубокоуважаемая, — обратился он ко мне. — На днях прибыл и спешу засвидетельствовать Александре Аркадьевне и вам свое нижайшее почтение. — Он преувеличенно низко поклонился, затем, отступив на шаг, еще раз поклонился и продолжал торжественно серьезным тоном: — Разрешите представить вам жениха — моего друга Александра Ивановича Куприна [4]. Обратите благосклонное внимание — талантливый беллетрист, недурен собой. Александр Иванович, повернись к свету! Тридцать один год, холост. Прошу любить и жаловать.

Довольный своей выдумкой, Бунин лукаво посмеивался. Куприн сконфуженно переминался с ноги на ногу и, смущенно улыбаясь, мял в руках плоскую барашковую шапку.

В синем костюме в серую полоску, мешковато сидевшем на его широкой в плечах, коренастой фигуре, низком крахмальном воротничке (таких в Петербурге уже давно не носили) и большом желтом галстуке-«пластроне» с крупными ярко-голубыми незабудками, Куприн рядом с корректным, державшимся свободно и уверенно Буниным казался неуклюжим и простоватым провинциалом.

— Так вот, почтеннейшая, — продолжал Бунин, когда мы сели, — сядем, посидим, друг на дружку поглядим. У вас товар, у нас купец, женишок наш молодец...

И как деревенский сват, выхваляя жениха, Бунин в то же время рассказывал о Куприне различные смешные анекдоты.

Этот фарс, неожиданно придуманный Иваном Алексеевичем, был очень забавен. И на его вопрос: «Так как же, глубокочтимая, нравится вам женишок? Хорош?..» — я поддержала шутку:

— Нам ничего... да мы что... как маменька прикажут... их воля...

Мы от души смеялись, придумывая все новые и новые забавные диалоги.

Куприн молчал, и стало заметно, что он чувствует себя неловко и бунинская затея его не веселит. Шутку следовало прекратить.

Заговорили о Крыме. Я начала расспрашивать Александра Ивановича об общих знакомых. Оказалось, что Сергей Яковлевич Елпатьевский в Петербурге и на днях

ждет приезда жены и дочери. Куприн превосходно имитировал Сергея Яковлевича, его манеру, жестикулируя левой рукой и заикаясь, говорить с пациентами по телефону.

Елпатьевский был хороший врач с большой практикой. Он лечил Чехова, очень этим гордился и не упускал случая подчеркнуть свои отношения с Антоном Павловичем.

Куприн оживился, другим стало выражение лица, исчезла связанность движений. Он придвинул к себе стоявшую на столе небольшую лампу и заговорил так, точно перед ним стоял телефонный аппарат:

— Говорит доктор Е... е... елп... п... патьевский, здравствуйте, Петр Иванович, сегодня я заеду к вам попозже. Надо сначала навестить Антона Павловича, последние дни я им недоволен, раньше четырех часов меня не ж... ж... ждите.

— Здорово, Александр Иванович, у тебя выходит «папаша», очень здорово, — одобрил Бунин.

Начались рассказы о Чехове[5], о том, как осаждают его поклонники и как даже под видом больных, которым нужна немедленная медицинская помощь, они пытаются проникнуть к нему. Вспомнили анекдот о Боборыкине. Будто бы Чехов как-то при встрече с ним пожаловался, что пишет теперь мало, долго работает над своими вещами и часто бывает ими недоволен. «Вот странно, — удивился Боборыкин, — а я всегда пишу много, скоро и хорошо».

— Напрасно смеются над Боборыкиным, — недовольно заметил Антон Павлович поэту Ладыженскому, автору анекдота. — Боборыкин — добросовестный труженик, его романы дают большой материал для изучения эпохи. Этого не следует забывать. Раньше и я писал много и очень скоро, но не могу сказать, что всегда хорошо, — передавал, со слов Ладыженского, Куприн о Чехове.

— Антон Павлович — необыкновенно скромный человек, — с увлечением продолжал Александр Иванович. — Каждый раз, когда ему в глаза говорят о том, что он большой писатель, и восхищаются его произведениями, он болезненно конфузится и не умеет сразу прекратить эти славословия. От публичных выступлений и оваций он всегда старается уклониться и не

выносит, когда вокруг его имени создается газетная шумиха.

— Как-то утром я пришел к Антону Павловичу, — продолжал Куприн, — и застал у него издателя одного бульварного листка, который просил Чехова принять сотрудника его газеты.

«Что вам стоит, дорогой Антон Павлович, сказать ему всего несколько слов — сообщить краткое содержание вашей новой пьесы», — убеждал Чехова издатель, искательно глядя на него и прижимая руку к сердцу. «Никаких интервью я никому не даю», — с несвойственной ему резкостью ответил Чехов.

С разочарованным видом издатель вынужден был удалиться.

«Вы, конечно, знаете, Александр Иванович, — после ухода издателя сказал Антон Павлович, — как в наших газетах пишутся «Беседы с писателями»...»

— Сейчас могу продемонстрировать вам, как это делается, — предложил я Антону Павловичу:

«Знаменитый писатель радушно принял нас, сидя на шелковом канапе в своем роскошном кабинете стиля Луи Каторз Пятнадцатый. Он подробно говорил с нами о своей новой пьесе. «В одном из главных действующих лиц, — сказал он нам, — вы легко узнаете известного общественного деятеля Титькина. Героиня пьесы Аглая Петровна, фамилии ее я вам не назову, вы догадаетесь, о ком идет речь, если я скажу вам, что она красивая, богатая женщина, щедрая меценатка—покровительница литературы и изящных искусств». — «Эту роль вы, наверное, поручите любимице публики, нашей несравненной артистке Кусиной-Пусиной?» — спросили мы. «Конечно», — подтвердил нашу догадку знаменитый писатель.

Когда мы прощались, он тепло жал нам руку...»

«Общественный деятель Титькин и несравненная Кусина-Пусина — это удачно», — смеялся над моей пародией Антон Павлович.

— Да, ловко, — заметил Бунин, — впрочем, не удивительно, что ты хорошо знаешь этот литературный жанр. Тебе ведь в провинциальных газетках часто приходилось в нем практиковаться, — не удержался от небольшой колкости Иван Алексеевич. — Однако гости сидят, сидят, да и уходят, — сказал он, вставая.

Прощаясь, я передала Куприну от имени Александры Аркадьевны приглашение бывать у нас, когда она поправится и возобновит приемы.

— А как же насчет сватовства? — вспомнил Бунин. Куприн круто повернулся и направился к двери.

— Идем, — отрывисто бросил он.

Кажется, Куприн обиделся, думала я, проводив гостей. Неужели он не привык к выдумкам Ивана Алексеевича? Все-таки поддерживать эту нелепую шутку мне не следовало. Человек первый раз пришел к нам в дом и сразу попал в смешное положение. Ну, ничего. Потом все обошлось — он был интересен и остроумен.

С Буниным я была в хороших, приятельских отношениях. Мы познакомились в конце ноября 1896 года у народоволки Е. С. Щепотьевой, когда Иван Алексеевич приехал с Кавказа из толстовской колонии. У него не было еще той корректной манеры держать себя, которую он усвоил позднее. В первое посещение нашего дома он явился в голубой русской рубахе и высоких сапогах, что заметно не понравилось моей матери, которая его сразу невзлюбила. Но, несмотря на то, что она принимала его весьма сухо, он бывал у нас довольно часто.

Вскоре после отъезда Бунина в имение к родным я получила от него письмо:

«Высокочтимая Мария Карловна!

Пишу вам из деревни. Новостей особо примечательных пока что не имеется. К светлому празднику Христова воскресения, с коим я Вас поздравляю, справил себе обновы: рубаху, порты, юфтевые сапоги со скрипом и три дня плясал на деревне.

Засим желаю здравствовать и низко кланяюсь Вашей драгоценной маменьке Александре Аркадьевне, сестрице с супругом, братцу, тетеньке... (далее следовал перечень всех живших у нас домочадцев).

Остаюсь Бунин Ивашка из сельца Мокрые Петушки».

В этот день вечером к нам пришли Короленки.

— Вы только послушайте, Владимир Галактионович, — возмущенно жаловалась моя мать, — что нынче пишут молодым девушкам такие господа, как ваш

хваленый Бунин. «Справил себе порты и какие-то там сапоги...» Как вам нравится это остроумие?

— Александра Аркадьевна, молодость веселится. Она беспечно радуется и смеется. Но она проходит слишком скоро. И нам с вами остается только вспоминать нашу юность и сожалеть о ней, — сказал Короленко.

В следующую зиму, приехав в Петербург, Иван Алексеевич уже больше не изображал из себя народника и не убеждал меня стать сельской учительницей. Полоса увлечения толстовством прошла.

* * *

До своего приезда в Петербург в 1901 году Куприн жил в провинции, работая в киевских, поволжских, ростовских и одесских газетах. Но ни с одной редакцией он не связывал себя обязательными длительными отношениями. Он дорожил возможностью переезжать с места на место, попадать в новую обстановку, знакомиться с новыми людьми. Особенно привлекала его жизнь южных городов, где было солнечно и ярко, уличная толпа — пестрой и шумной, а люди — общительными и «легкими».

— Я толкался всюду и везде нюхал жизнь, чем она пахнет, — рассказывал мне впоследствии Александр Иванович. — Среди грузчиков в одесском порту, воров, фокусников и уличных музыкантов встречались люди с самыми неожиданными биографиями — фантазеры и мечтатели с широкой и нежной душой.

В Ялте, куда Куприн приехал из Одессы весной 1901 года, чтобы провести одну-две недели, он прожил гораздо дольше, чем предполагал. Семья писателя Сергея Яковлевича Елпатьевского, с которой Александр Иванович близко сошелся, убедила его не спешить с отъездом и устроиться у них. Дом Елпатьевских был большой и поместительный, но пользоваться их гостеприимством Куприн не хотел и поселился в деревне Аутке, где комнаты были гораздо дешевле, чем в городе.

Отсюда было недалеко до дачи Чехова. Однако часто бывать у Антона Павловича Куприн сначала стеснялся, хотя Чехов относился к нему внимательно и сердечно.

«Внимательность его бывала иногда прямо трогательной, — писал Куприн в воспоминаниях о Чехове. —

Один начинающий писатель приехал в Ялту и остановился где-то за Ауткой, на окраине города, наняв комнатушку в шумной и многочисленной греческой семье. Как-то он пожаловался Чехову, что в такой обстановке трудно писать, — и вот Чехов настоял на том, чтобы писатель непременно приходил к нему с утра и занимался у него внизу, рядом со столовой. «Вы будете внизу писать, а я вверху, — говорил он со своей очаровательной улыбкой. — И обедать будете также у меня. А когда кончите, непременно прочтите мне, или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре».

Этот «начинающий писатель» был Куприн.

— И каждое утро к девяти часам, — рассказывал мне Александр Иванович, — я приходил на дачу Чехова работать над своим рассказом «В цирке».

Рассказ «В цирке» нравился Чехову, и он, как врач, давал Куприну указания, на какие симптомы болезни атлета (гипертрофия сердца) автор должен обратить особое внимание и выделить их так, чтобы характер болезни не оставлял сомнений. Он с увлечением рассказывал Александру Ивановичу о различных сердечных болезнях.

— Я понял, — говорил Куприн, — что, если бы Чехов не был таким замечательным писателем, он был бы прекрасным врачом.

Денежные дела Куприна были в самом плачевном состоянии.

— Перед отъездом в Ялту я сдал несколько мелких рассказов в «Одесские новости». Присылка гонорара запаздывала, я сидел без гроша и поэтому особенно стеснялся оставаться обедать у Чехова. Но Антон Павлович видел меня насквозь, и когда я начинал уверять, что хозяйка ждет меня с обедом, он решительно прерывал меня: «Ничего, подождет, а пока садитесь за стол без разговоров. Когда я был молодой и здоровый, я легко съедал два обеда, а вы, я уверен, отлично справитесь и с тремя».

Весной 1901 года в Ялту приехал Виктор Сергеевич Миролюбов — редактор-издатель «Журнала для всех».

Миролюбов надеялся получить обещанный Чеховым для журнала рассказ, а попутно и узнать, что нового имелось у московских и провинциальных писателей, обычно весной и осенью съезжавшихся в Ялту. Познакомившись с Куприным, Виктор Сергеевич предложил

ему заведовать беллетристическим отделом «Журнала для всех» [6]. Для молодого писателя, еще не имевшего литературного имени, это было лестное предложение, которым не следовало пренебрегать, и друзья Куприна советовали ему от него не отказываться.

Однако окончательного ответа Александр Иванович не дал. Петербурга он не любил, и перспектива переехать туда его не прельщала, хотя он был уверен, что ничто на свете не удержит его в холодном, сумрачном городе, если люди там покажутся ему серыми и скучными, а из тесных редакционных стен потянет на волю, к южным солнечным берегам или в дремучие леса Полесья.

Когда рассказ «В цирке» был окончен, возник вопрос, в какой журнал его направить. Куприн считал себя связанным с «Русским богатством» — первым толстым журналом, в котором он начал печататься и где появилась самая значительная из всех до тех пор написанных им вещей — повесть «Молох», но сомневался, что рассказ, в котором действующее лицо — цирковой борец, будет одобрен журналом.

По совету Елпатьевского, Куприн послал «В цирке» А. И. Богдановичу, фактическому редактору журнала «Мир божий» [7], где в 1899 году хорошо встретили его рассказ «Ночная смена».

ГЛАВА II

Приемный день в редакции журнала «Мир божий». — Встреча Куприна с постоянными сотрудниками журнала. — Лестный отзыв о рассказе «В цирке». — Работа Куприна в «Журнале для всех». — Оперный певец В. С. Миров — редактор журнала.

Когда случилось так, что шутливая бунинская выдумка превратилась в действительность и я стала не только невестой, но и женой Куприна, мы вместе вспоминали нашу первую встречу.

— Когда мы вышли из подъезда мимо вашего великолепного швейцара, который с глубоким презрением смотрел на мое старое пальто, я был очень зол на Бунина, — рассказывал Куприн. — Зачем я согласился пойти с визитом к Давыдовым? Совсем не нужно было этого делать, говорил я себе, идя по улице. Сама изда-

тельница не нашла нужным со мной познакомиться, а дочка, эта столичная барышня... Очень она мне нужна... Пускай они с Буниным найдут кого-нибудь другого, кто позволит им над собой потешаться и разыгрывать свои комедии. А еще приглашала бывать... Покорнейше благодарю, ноги моей там не будет. Но в редакцию к Богдановичу я, конечно, на днях зайду.

Должен признаться тебе, Маша, больше всего я сердился на самого себя, на свою застенчивость и ненаходчивость. И вот что в конце концов вышло из шутки Бунина, которую теперь я нахожу очень удачной и за которую теперь искренне ему благодарен.

В ближайший вторник — приемный день Богдановича — Куприн пришел в редакцию. Ангел Иванович (Богданович был поляк. Имя его было Анджело, но русифицированное, с непривычки звучало странно) познакомил его с постоянными сотрудниками журнала: критиками В. П. Кранихфельдом, М. П. Неведомским, историком Е. В. Тарле, В. Я. Богучарским и другими. После нескольких вопросов Куприну: когда он приехал, долго ли пробудет в Петербурге, — Богданович перешел к деловому разговору. Сообщил, что рассказ «В цирке» ему понравился, предполагается напечатать его в январской книжке журнала. Осведомился, не привез ли Куприн что-нибудь нового. Мимоходом упомянул о том, что надеется на его постоянное, а не случайное сотрудничество и поэтому гонорар его устанавливается 150 рублей за лист, а не 100, как это было с его первым рассказом «Ночная смена».

В этот день Александра Аркадьевна чувствовала себя лучше и, узнав, что в редакции Куприн, вышла с ним познакомиться. Она, так же как и Богданович, сказала несколько приятных слов о его рассказе «В цирке», выразила сожаление, что не могла его принять в воскресенье, и пригласила Ангела Ивановича, Кранихфельда и Куприна остаться обедать.

— Я не хотел оставаться, — говорил мне Александр Иванович, — но приглашение застало меня врасплох, я растерялся и от застенчивости не сумел отказаться. Так волей-неволей мне пришлось снова встретиться с тобой.

За обедом сначала поговорили о редакционных делах, а затем разговор стал общим; в нем приняли участие не только сотрудники журнала, но и все присутствовавшие за столом. Александра Аркадьевна любила новых людей и была с Куприным любезна и проста. Она была женщиной с большими светскими навыками и скоро сумела заставить Куприна преодолеть свою застенчивость и разговориться. Когда он прощался, она сказала ему:

— Я больна, и приемных дней и вечеров у нас пока не бывает. Но если вам не будет скучно провести вечер в нашем семейном кругу, то заходите к нам запросто.

— Как тебе известно, мне скучно у вас не показалось, — засмеялся Александр Иванович.

Куприн все чаще и чаще начал бывать у нас. Моя мать особенного значения его посещениям не придавала. Александра Аркадьевна не всегда выходила вечером в столовую, но у нас жила моя тетушка, Вера Дмитриевна Бочечкарева, вдова артиста московского Малого театра М. А. Решимова, которая обычно разливала чай; поэтому отсутствие Александры Аркадьевны общепринятых тогда правил не нарушало. Незаметно все привыкли к Куприну, и он стал у нас своим человеком. Моей матери он нравился: его непосредственность, жизнерадостность отвлекали ее от постоянных тяжелых дум о своей болезни и о смерти старшей дочери. Она охотно слушала его рассказы о военной службе, различных эпизодах его жизни, знакомых писателях. Интересовалась она и его работой в «Журнале для всех» с В. С. Миролюбовым; говорили, будто у него тяжелый деспотический характер и сработаться с ним трудно. Александр Иванович это мнение опровергал.

* * *

Виктор Сергеевич Миролюбов в прошлом был известным оперным певцом, обладавшим могучим басом. В Московской императорской опере он выступал под фамилией Миров. В середине 90-х годов у него открылся процесс в легких, и он вынужден был оставить сцену как раз в тот момент, когда ему из Москвы предстояло перейти в Мариинскую оперу в Петербург и перед ним открывалась большая артистическая карьера.

А. И. Куприн. 1901 год.

В это тяжёлое для Виктора Сергеевича время, когда он оказался в положении больного безработного артиста, Александра Аркадьевна, знавшая его еще учеником Петербургской консерватории во время директорства К. Ю. Давыдова [1], отнеслась к нему с большим участием и теплотой. Узнав, что какой-то генерал (фамилию я забыла) продает право на издание дешевого ежемесячного журнала «для народа» (генерала в это время лишили правительственной субсидии), она посоветовала Миролюбову приобрести журнал и оказала ему материальное содействие [2].

Таким образом, случайное стечение обстоятельств превратило бывшего певца Мирова в издателя и редактора журнала. Поэтому, когда Миролюбов выступил в роли редактора-издателя, к его «затее» (как многие это называли) отнеслись недоверчиво.

«Журнал для всех» был самый дешевый из всех ежемесячных журналов. Задачей Миролюбова было выработать новый тип общедоступного прогрессивного массового журнала, но отнюдь не в духе книг и брошюр «для народа», издававшихся Комитетом грамотности.

Миролюбов упорно стремился к достижению своей цели. Через два года стало ясно, что новое издание привлекает все большие и большие симпатии той части демократических читателей, для которой цена на толстые журналы была слишком высока. А когда на страницах «Журнала для всех» начали появляться рассказы Горького, успех и широкое распространение журнала были завоеваны.

Поздней осенью 1901 года между Куприным и Миролюбовым завязалась переписка, в которой последний настаивал на окончательном ответе. Но только в ноябре Александр Иванович приехал в Петербург.

Горячая любовь к русской литературе, одинаковое понимание стоящих перед ней больших ответственных задач и восторженное преклонение перед величайшими писателями эпохи — Толстым, Горьким, Чеховым — тесно сблизили Куприна с Миролюбовым. Оба стремились поставить художественный отдел журнала на большую высоту, чем в других изданиях, привлекать к сотрудничеству не только известные имена, но и свежие, молодые силы. В оценке рукописей их мнения почти всегда совпадали. И Александр Иванович говорил мне, что эта

работа его не только удовлетворяет, но и увлекает. Поэтому, когда он он стал моим женихом и Богданович предложил ему оставить «Журнал для всех» и войти в состав редакции «Мира божьего», Куприн это предложение отклонил [3].

— Меня совсем не привлекает, — говорил он мне, — лестное предложение Ангела Ивановича быть членом редакции толстого журнала, в котором уже имеется большая авторитетная редакция, где я не буду чувствовать себя самостоятельно, а должен подчиняться уже твердо установившимся чужим мнениям. Просто говоря, на роль «зятя, взятого в дом», я не гожусь.

ГЛАВА III

Встреча Нового, 1902 года. — Обручальное кольцо. — А. И. Богданович о Куприне. — Моя мать и Куприн. — Любовь Алексеевна Куприна.

Когда я сказала матери, что стала невестой Куприна, она была изумлена и даже шокирована этой неожиданной новостью.

— Что ж это такое? Знакома с ним без году неделю — и вдруг невеста, — сказала она. — Ни узнать как следует человека не успела, ни спросить у матери... совета...

Что же, раз советы мои тебе не нужны, делай как знаешь. — Она махнула рукой и заплакала.

Предложение было сделано в сочельник 24 декабря, а в канун Нового года, вечером, Александр Иванович принес мне обручальное кольцо, на внутренней стороне которого было выгравировано: «Всегда твой — Александр. 31. XII. 1901 года».

К одиннадцати часам моя мать, грустная и заплаканная, вышла к нам в столовую. Заметив на моей руке обручальное кольцо, она недовольно сказала:

— Не слишком ли это рано? Только купеческие невесты носят кольца до свадьбы.

Но скоро ее настроение изменилось. Приехали Елпатьевские, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Н. К. Михайловский, Мария Валентиновна Ватсон, Э. К. Пименова и другие старые друзья. Встреча Нового года прошла непринужденно и приятно. Это было в последний раз, когда она

была разговорчива, смеялась остротам Дмитрия Наркисовича и радовалась собравшимся около нее старым друзьям.

В первый день Нового года Александр Иванович прислал мне корзину своих любимых цветов — нарциссов. С этого времени мы были признаны женихом и невестой и нам разрешалось без присутствия тетушки разговаривать в моей комнате.

— Какое глупое положение быть женихом, — говорил Александр Иванович. — Все ваши знакомые приходят и с головы до ног оглядывают меня испытующим критическим взглядом. Женщины дают советы, мужчины острят. И все время чувствуешь себя так неловко, как это бывает во сне, когда видишь, что пришел в гости, а у тебя костюм не в порядке. Ваши подруги смеются, кокетничают и при мне спрашивают: «Ну, как ты себя чувствуешь, нравится тебе быть невестой?» Я кажусь себе дураком, над которым все, кому не лень, потешаются. Правда, я должен вам признаться, что иногда очень люблю, когда меня считают дураком, и нарочно веду себя так, чтобы поддержать это мнение, а сам думаю: «Нет, Саша совсем не дурак». Вот как-нибудь я вам это докажу. А сейчас мне не хочется...

Знаете что, не будем мы долго тянуть эту дурацкую петрушку. Вас, может быть, это и забавляет, но, уверяю вас, жениховство — очень нелепая канитель.

* * *

— Я бы хотел поговорить с вами, Мария Карловна, — сказал мне Богданович через несколько дней.

Ангел Иванович Богданович был фактическим редактором журнала «Мир божий». Официально таковым числился старый заслуженный педагог В. П. Острогорский, но в течение нескольких лет он только подписывал журнал, а в последнее время даже и не читал его.

Я пригласила Богдановича в мою комнату. Он сел глубоко в кресло и долго молча протирал очки, прежде чем приступить к разговору.

— Мне сообщила Александра Аркадьевна, что вы выходите замуж за Куприна, — начал он. — Я знаю вас с четырнадцати лет, на моих глазах вы стали взрослой девушкой. Поэтому я не могу относиться к вам

безразлично и должен откровенно сказать то, что думаю о вашем браке. Подумайте о том, что вы делаете, на что решаетесь. Вы совсем не знаете Куприна, для вас могут открыться крайне неожиданные стороны его характера и прошлого. Не скрою от вас, слухи о нем ходят разные и не все для него благоприятные... Куприн долго жил в Киеве, и мы можем там навести о нем справки...

— Я не намерена собирать сплетни, — перебила я Ангела Ивановича.

— Во всяком случае, мой вам совет, — продолжал он, — со свадьбой лучше не торопитесь. Но главное не в этом. Я готов согласиться с вами, что всегда передается много сплетен, много неверных сведений. Главное, я считаю, вот в чем. Что представляет собой Куприн? Бывший армейский офицер с ограниченным образованием, беллетрист не без дарования, но до сих пор не написавший ничего выдающегося, автор мелких, по преимуществу газетных рассказов. В доме вашей матери вы привыкли видеть выдающихся людей и крупных писателей. Бывая в их семьях, вы не могли не заметить, как ревниво относятся жены к литературным успехам своих мужей. И это жены крупных писателей. А жены небольших, средних литераторов? Ведь их жизнь отравлена непрерывно гложущими их завистью и неудовлетворенным честолюбием. Такие примеры вы, конечно, знаете. Боюсь, что будет сильно страдать и ваше самолюбие. Куприн — талантливый писатель, но только талантливый, не больше. Выше среднего уровня он не поднимется. Другое дело, например, Леонид Андреев. Можно сказать безошибочно, что ему предстоит большое будущее. Даже Михайловский сразу обратил на него внимание.

— Думаю, Ангел Иванович, что вы ошибаетесь, — возразила я. — И то, что Куприну в течение нескольких лет приходилось размениваться на мелкую монету в газетной работе, совсем не доказывает отсутствие у него крупного таланта. Вспомните о Чехове. Вы сожалеете о том, что Куприн не Леонид Андреев. А что об Андрееве вы знали год назад? Да ровно ничего, как не знал и никто, пока в прошлом месяце не появилась статья Михайловского. Поэтому судить о том, кому какое будущее предстоит, мне кажется, еще преждевременно.

Богданович снял очки, посмотрел на меня и улыбнулся, что случалось с ним очень редко. И тогда лицо его приобрело обычно несвойственное ему мягкое выражение.

— Ну вот, видите, — сказал он, — вы уже сейчас каждое не нравящееся вам мнение о таланте Куприна считаете несправедливым. Я сказал вам то, что считал необходимым сказать, и больше вы никогда об этом от меня не услышите. Конечно, я желаю вам, чтобы правой оказались вы, а не я. Буду искренне рад этому.

Только с годами я поняла и оценила бескорыстную любовь А. И. Богдановича к журналу и к литературе. Когда все мелкие столкновения и обиды отошли в прошлое, Куприн с большой теплотой писал о нем в своих воспоминаниях [1].

— Лучшее, что было написано об Ангеле Ивановиче, — говорила его вдова, — это посвященные его памяти воспоминания Куприна.

Сборник рассказов, на который в своем суждении о Л. Андрееве ссылался Богданович, вышел в начале осени 1901 года, до приезда Куприна в Петербург. Это была жиденькая книжка, напечатанная на плохой бумаге, в светло-желтой обложке. Стоила она восемьдесят копеек.

К редакторам и критикам больших столичных журналов и газет Андреев обратился с письмами, в которых просил отметить в печати его первый литературный дебют.

— Я ответил Андрееву, — говорил Александре Аркадьевне Н. К. Михайловский, — что в ближайшем литературном обозрении непременно напишу о нем. Талантливому начинающему молодому писателю следует помочь выдвинуться.

Это мнение Михайловского, еще до появления его статьи об Андрееве в ноябрьском номере «Русского богатства», стало известно в литературных кругах [2].

После хвалебной статьи Михайловского, послужившей камертоном для всей провинциальной печати, успех сборника Л. Андреева был обеспечен.

Отношение Александры Аркадьевны к Куприну, когда он стал моим женихом, изменилось. Она начала относиться к нему более критически, нежели раньше. Настроение ее было мне понятно. Прошел только год

после смерти любимой дочери, и теперь, когда она сама была больна, ее пугала мысль о предстоящем одиночестве. Александра Аркадьевна боялась, что Куприну надоест Петербург, который, она знала, он не любил, он захочет опять странствовать по провинции и увезет меня с собой. Между ними начали возникать некоторые трения. Первое, что не понравилось моей матери, это то, что он начал называть меня Машей, а не Мусей, как звали меня с детства в семье, знакомые и подруги.

— Почему вы называете ее Машей? — недовольно заметила она Александру Ивановичу. — Что это за Маша? Везде бывают горничные Маши, а у нас Маша-кухарка.

— Маша — хорошее, простое сокращение от имени Мария, а разные там Муси, Куси, Фруси — это все кошачьи или собачьи клички, которые мне режут ухо.

Александра Аркадьевна обиженно замолчала, через некоторое время сказала, что хочет отдохнуть, и сухо с ним простилась.

Следующая стычка между ними произошла по поводу Чехова.

— Вот мы с Александрой Аркадьевной говорили о том, какая скучная беллетристика во всех толстых журналах, — обратился как-то Богданович к Александру Ивановичу. — Нет ничего выдающегося, останавливающего внимание. И, главное, везде все одни и те же имена.

— Если вы хотите, я могу попросить Антона Павловича его пьесу «Вишневый сад», которую он заканчивает, отдать в «Мир божий», — предложил Куприн. — Я не обращаюсь к нему с этой просьбой от имени «Журнала для всех», так как небольшой объем его не позволяет поместить пьесу сразу, делить же ее, конечно, нельзя. Также и гонорар Чехову для такого небольшого журнала, как миролюбовский, был бы слишком тяжел.

— Гонорар? — переспросила Александра Аркадьевна. — А какой же гонорар?

— Тысяча рублей за лист.

— Что? Тысяча рублей за лист? Да это же неслыханно, — воскликнула Александра Аркадьевна. — И это Чехову, значение которого почему-то стали так раздувать последние два-три года, что чуть ли не произвели его в классики. Да знаете ли вы, Александр Иванович,

что «Вестник Европы» — самый богатый из журналов — всегда платил Глебу Ивановичу Успенскому, не чета вашему Чехову, сто пятьдесят рублей за лист. Глеб Иванович был очень скромный человек и, конечно, сам никогда не поднял бы разговора о размере гонорара. Поэтому Михайловский обратился к Стасюлевичу с просьбой ввиду тяжелого материального положения Успенского повысить ему гонорар. И Стасюлевич отказал. Вот как обстоит дело с гонорарами в толстых журналах, — язвительно добавила она. — Что вы на это скажете?

— Возмутительная эксплуатация писательского труда, — произнес Куприн.

Александра Аркадьевна изменилась в лице.

— Не будем спорить о значении Чехова. О всех больших писателях существует различное мнение, — произнес примирительно Ангел Иванович. — И, конечно, для нашего журнала было бы очень желательно иметь пьесу Чехова. Но нам это так же материально непосильно, как и Миролюбову. Весь вопрос, Александр Иванович, сводится только к этому.

Мнение Александры Аркадьевны о Чехове, как и многих людей ее поколения, сложилось под влиянием статей Михайловского [3], в которых он писал о Чехове как о безыдейном, лишенном общественного значения писателе. Это мнение раз навсегда в ней укоренилось, и иной взгляд на Чехова казался ей диким. Преклонение перед его талантом и произведениями ее крайне раздражало.

* * *

В середине января 1902 года Александр Иванович получил из Москвы письмо от своей матери. Она писала, что счастлива, что он наконец женится и покончит со своей бродячей, скитальческой жизнью — у него будет своя семья, свое гнездо. В конверте было вложено и отдельное письмо ко мне.

После всяких пожеланий Любовь Алексеевна писала следующее: «Перед свадьбой я пришлю Саше и Вам мое родительское благословение — икону святого Александра Невского, по имени которого назван Саша. Когда я вышла замуж, у меня родились две девочки [4]. Но моему мужу и мне хотелось иметь сына. И вот тут нас стало

преследовать несчастье. Один за другим рождались мальчики и вскоре умирали[5]. Только один дожил до двух лет и тоже умер. Когда я почувствовала, что вновь стану матерью, мне советовали обратиться к одному старцу, славившемуся своим благочестием и мудростью.

Старец помолился со мной и затем спросил, когда я разрешусь от бремени. Я ответила — в августе. «Тогда ты назовешь сына Александром. Приготовь хорошую дубовую досточку, и, когда родится младенец, пускай художник изобразит на ней — точно по мерке новорожденного — образ святого Александра Невского. Потом ты освятишь образ и повесишь над изголовьем ребенка. И святой Александр Невский сохранит его тебе».

Этот образ будет моим родительским вам благословением. И когда господь даст, что и вы будете ждать младенца и ребенок родится мужского пола, то вы должны поступить так же, как поступила я».

Я должна была ответить Любови Алексеевне на ее письмо и попросила Александра Ивановича дать мне адрес. Александр Иванович сначала предложил отдать письмо ему, чтобы он переслал его вместе со своим ответом. Но я хотела свое письмо адресовать непосредственно Любови Алексеевне. И тут я заметила, что Александр Иванович мнется и чего-то недоговаривает.

— Видите ли, — сказал он наконец, — стесняюсь сказать вам и боюсь, что вы меня осудите. Моя мать живет во Вдовьем доме, и вы можете подумать, что я не позаботился о том, чтобы иначе устроить ее. Я говорил вам, как трудно мне было жить, когда я ушел из полка, какой скудный заработок давали мне случайные профессии. И как мал был заработок репортера. Когда меня начали печатать в «Русском богатстве»[6], то рассказы мои появлялись в журнале через большие промежутки времени. Получив гонорар, половину я... посылал матери, а половина уходила на покрытие множества накопившихся за это время долгов. Устроиться жить вместе с матерью при моих переездах из города в город было невозможно. У нее очень энергичный и властный характер. Поэтому она чувствует себя, должно быть, вследствие долголетней привычки, лучше всего во Вдовьем доме, где она ни от кого не зависит. Не подумайте, что это какая-нибудь богадельня или приют для нищих старух. Таких домов только два: московский Вдовий дом

на Кудринской площади, прекрасное старинное здание, и петербургский — при Смольном институте благородных девиц. Здесь живут дворянские вдовы на полном казенном обеспечении. Моя мать попала сюда только потому, что она урожденная княжна Кулунчакова[7], происходит из древнего рода татарских князей — ханов Касимовского царства. У каждой такой «вдовушки» отдельный уголок с кроватью, тумбочкой, креслом и шкафом. Таким образом, в огромной комнате-зале помещается не больше пяти-шести старух. Середина зала пустая. Здесь стоит большой общий стол, за которым обычно играют в преферанс или занимаются рукоделием. Кругом чистота, порядок, тишина. Обеспеченные вдовы имеют во Вдовьем доме пожизненно за определенный взнос в несколько тысяч рублей отдельную комнату. Внутренний уклад в этом доме напоминает порядки монастырских гостиниц. Служебный персонал внимателен и исполнителен.

Мать очень любит своих дочерей, но она самая невыносимая теща для своих зятьев. Поэтому, погостив у своей любимой дочери Зины, она через некоторое время начинает вмешиваться не только в воспитание детей, но и в отношения между Зиной и ее мужем, причем старается доказать, что муж негодяй, не стоит Зины и, наверно, ей изменяет. А когда в конце концов в семье начинаются ссоры, слезы и всякая неурядица, она говорит: «Как хорошо, что мне есть куда от вас уехать». И уезжает во Вдовий дом. Потом ей снова становится скучно, тогда она отправляется ко второй дочери, Соне, и там повторяется та же история. Я думаю, что жить мать могла бы только со мной, да и то, если бы я навсегда остался холостым.

Вы понимаете теперь, что рассказать вам все это до тех пор, пока вы не узнали меня ближе, мне не хотелось.

ГЛАВА IV

Священник Григорий Петров. — «Ты, чадо мое, подумай о гресех».

После встречи Нового года здоровье моей матери резко изменилось к худшему. Она уже не могла выходить из своей комнаты, целые дни проводила в постели

и начала говорить о завещании и о своей близкой смерти. В один из этих дней она позвала меня и Александра Ивановича.

— Я говорила вам, Александр Иванович, — обратилась она к нему, — что не следует торопиться со свадьбой, прежде чем вы и Муся хорошо не узнаете друг друга. Но теперь я чувствую, что мне осталось недолго жить. После моей смерти ей будет тяжело остаться одной с больным братом на руках и теми обязанностями, какие я возлагаю на нее моим завещанием.

— К чему думать и говорить о таких тяжелых вещах, Александра Аркадьевна, — ответил Александр Иванович. — Каждый из нас не может быть уверен, что он увидит завтрашний день. Бывают роковые случайности, когда человек идет по улице в самом радужном настроении, а с крыши пятиэтажного дома на его голову падает кирпич. Или он идет, осторожно оглядываясь, и неожиданно из-за угла выносится пьяный лихач и под копытами лошади превращает его в бесформенную массу. Можно ли задумываться над такими случайностями и мучить себя ими?

Александр Иванович говорил естественным, непринужденным тоном, и Александра Аркадьевна заметно успокоилась.

— Правда, сердечные припадки у меня давно и только за последние два года участились, — сказала она. — Но все-таки каждый раз после припадка я думаю о своей близкой смерти.

— По-моему, Александра Аркадьевна, со свадьбой не следует спешить только потому, что сейчас у вас нервное, подавленное настроение, которое скоро пройдет, — продолжал Куприн. — Но я убежден, что надолго откладывать эту церемонию бесцельно. Ведь сколько бы времени мы с Машей ни были женихом и невестой, хотя бы и три года, как это водится у честных немецких бюргеров — за это время они копят деньги на серебряный кофейный сервиз, — мы все равно друг друга хорошо не узнали бы. В большинстве случаев взаимное разочарование наступает редко до брака и гораздо чаще после него.

— Пожалуй, вы правы, — помолчав, сказала Александра Аркадьевна. Она улыбнулась. — Тетя Вера ведь

только на днях заказала приданое. Но все равно венчайтесь до великого поста.

Теперь, когда свадьба была уже не за горами и назначена на февраль, мою мать начали занимать практические вопросы, связанные с этой церемонией. Она сказала Александру Ивановичу о своем желании, чтобы венчал нас непременно модный в то время священник Григорий Петров.

В городах из церковного обихода давно исчезли проповеди, и только в селах и деревнях православные «пастыри» обращались к верующим с проповедью, да и то лишь в исключительных случаях, по распоряжению высшего духовного начальства. Тогда же указывалась и тема проповеди.

Григорий Спиридонович Петров ввел новшество — по окончании богослужения он стал обращаться к прихожанам с проповедью. Его устные выступления (он был превосходный оратор), так же как и многочисленные брошюры под общим названием «Евангелие как основа жизни», являлись религиозно-нравственными рассуждениями о вере как о моральной догме. Слова Христа «люби ближнего, как самого себя» были основным содержанием его проповедей, в которых он доказывал, что истинно верующий в Христа только тот, кто жертвует всем для служения обездоленному «меньшому брату». Это была очень умело прикрытая религиозно-нравственными рассуждениями проповедь христианского социализма. Однако невежественное высшее духовенство до времени * этого не распознало. Выступления священника Григория Петрова пользовались большим успехом у всех слоев столичного общества. Интересовалась им и интеллигенция, ходила на его особые собеседования и учащаяся молодежь.

В окнах всех крупных эстампных магазинов красовался большой портрет, на котором Григорий Петров был изображен стоящим во весь рост, с правой рукой на наперсном кресте и глазами, поднятыми горе. Он был красив, и портрет выглядел очень живописно.

---

* После революционных событий в 1908 году Григорий Спиридонович Петров был лишен священнического сана, выслан из столицы без права проживания во всех крупных губернских городах. Он избежал заточения в Соловецкий монастырь только благодаря заступничеству военного ведомства. *(Прим. автора.)*

Александр Иванович должен был отправиться к Григорию Петрову и переговорить о венчании. Но он долго не мог найти церковь, в которой тот служил, и узнать его адрес. Оказалось, он был преподавателем богословия в Михайловском артиллерийском юнкерском училище и священником домовой церкви училища. Он пользовался казенной квартирой военного ведомства, и все это затруднило поиски, так как никто и не подозревал, что Григорий Петров — военный священник.

Комната, куда провели Александра Ивановича, была уставлена книжными шкафами, а посередине на круглом столе лежали последние номера всех ежемесячных журналов. Когда, знакомясь, Александр Иванович назвал свою фамилию, Григорий Петров спросил, не писатель ли он Куприн. Александр Иванович был приятно удивлен этим вопросом. Завязался разговор о литературе, и Александр Иванович не сразу мог перейти к делу, с которым он пришел.

Когда он задал вопрос о плате за церковь, певчих и прочее, Григорий Петров сказал, что это его совершенно не касается и об этом следует условиться в церковной конторе. Он же сам за исполнение всех церковных обрядов ничего не берет.

В церковной конторе Александру Ивановичу сказали, что среди документов, необходимых для совершения брака, надо предъявить и свидетельство о говении.

На другой день мы отправились в небольшую церковь, которая была недалеко от нас — Косьмы и Дамиана. В церкви службы еще не было, читались только «часы», и Александр Иванович обратился к бывшему там дьячку, объяснив ему, что мы пришли узнать о днях исповеди, так как для бракосочетания нам нужно свидетельство о говении. Столичный дьячок был человек понимающий. Он сразу спросил:

— Вы как хотите — говеть или так?.. Свидетельство я могу вам выписать сейчас. Это будет стоить десять рублей.

Александр Иванович заплатил деньги, дьячок взял паспорта, и очень скоро свидетельство о говении было в наших руках.

По дороге домой Александр Иванович спросил меня:

— А ты веришь, Маша?

— Право, не знаю...

— Знаешь что, давай на всякий случай поверим! Это будет интереснее.

Когда мы пришли домой и мать спросила нас: «Ну, как вы устроились, когда будете говеть?» — Александр Иванович беззаботно ответил: «Да мы уже отговелись, вот бумага».

Как следует не знаю, была ли моя мать верующей, — обрядов она не исполняла, но считала нужным о вопросах религии всегда говорить серьезно. В последний же год своей жизни она впала в мистицизм — ежедневно читала Евангелие, разные религиозные брошюрки и брошюру Григория Петрова «Евангелие как основа жизни».

— Удивляюсь, — сказала она, — вашему легкомысленному отношению к такому серьезному шагу, как брак. — Заметив, что Александр Иванович улыбнулся, она добавила: — Это не смешно, а очень и очень грустно.

В моей комнате Александр Иванович сказал:

— Старушки во Вдовьем доме усердно внедряли в меня религиозные понятия, поэтому в существование бога, его вездесущность и всемогущество я глубоко верил. Но когда мне было лет пять, эта вера неожиданно пошатнулась. Я еще продолжал верить в его всевидящее око, потому что, когда я шалил и со мной случалась какая-нибудь неприятность, — я влезал куда не следовало, падал оттуда и ушибался или без спросу брал чью-нибудь чашку, ронял ее, и она разбивалась, — мне говорили и старушки и мать: «Вот видишь, ты упал и расшибся. Взял чужую чашку и разбил. Это тебя за шалости бог наказал». И я привык считать, что бог это нечто вроде строгого педагога, который неотступно следит за каждым моим шагом и за каждую мелочь наказывает.

Однажды мне подарили книжку с картинками, называлась она «Забавы и дело». Мне особенно понравилась одна картинка: на ярко-зеленой лужайке дети играли в серсо. Мальчики были в хорошеньких костюмчиках, девочки в светлых платьицах с бантами в волосах. Это были именно такие дети, которые в богатых домах, куда иногда возила меня мать, с презрением смотрели на меня и о наружности которых моя мать говорила комплименты их родителям. Словом, это были точно такие дети, как те, что были нарисованы в книжке.

Как-то вечером (в этот день я был с матерью в гостях и чувствовал себя там особенно неприятно)

я рассматривал свою книжку. И вот тут мне пришло в голову — ежели бог всемогущ, то почему бы ему не сделать меня таким же хорошеньким, как голубоглазый мальчик со светлыми локонами на картинке, который мне особенно понравился. После того как я прочел перед отходом ко сну молитву, мать перекрестила меня, укрыла одеялом и ушла в столовую ужинать. Вместо того чтобы сразу заснуть, я стал в кровати на колени и принялся горячо молиться: «Господи, господи, сделай так, чтобы я завтра проснулся и стал хорошеньким мальчиком. Что тебе стоит, господи, ну сделай это для меня». Затем я спокойно заснул. Наутро, проснувшись, я вспомнил о своей молитве и, взяв со столика матери небольшое зеркало, перед которым она причесывалась, посмотрелся в него. Оказалось, что ровно ничего со мною не произошло. Меня это очень удивило, но я не сразу огорчился — надо его еще попросить. Одного раза мало. И вот в течение нескольких дней я каждый вечер потихоньку молился. Наконец, видя, что ничего не меняется, я рассказал об этом матери и спросил, почему бог не исполняет мою просьбу. Она ответила довольно лукаво: «Он, видишь ли, сделал тебя таким, какой ты есть, для меня. А если бы утром я подошла и увидела, что в кроватке голубоглазый мальчик, я бы не узнала, что это ты».

Мать я очень любил, поэтому решил, что должен покориться своей участи. Но все-таки я не переставал время от времени обращаться к богу с различными просьбами. И вот я убедился в том, что он никогда и ни одной просьбы моей не исполняет. Тогда я обиделся на него и решил, что он мне бесполезен. И я считаю, что с этого времени моя детская наивная вера в него пошатнулась, и я все дальше уходил по пути неверия. Священники, один в сиротском пансионе и другой в младших классах кадетского корпуса, почему-то оба терпеть меня не могли.

Трогательное воспоминание осталось у меня только о моей первой исповеди, когда я был еще в сиротском пансионе[1]. Нас, малышей, вечером на страстной неделе повели к исповеди в ближайшую маленькую церковь. Там было полутемно, и я с трепетом старался восстановить в памяти все мои грехи, потому что в то, что бог *карает,* я еще продолжал верить. Когда до меня дошла очередь исповедоваться, то я увидел маленького ветхого

старичка-священника, который, по-видимому, был так утомлен длинным днем исповеди, что едва держался на ногах. Когда он увидел меня, мое испуганное лицо, он вздохнул и сказал: «Ты, чадо мое, подумай о гресех, а я схожу до ветру».

Вернувшись, он спросил: «Подумал?» — «Подумал»,— ответил я. Тогда он накрыл меня епитрахилью и произнес слова отпущения. Вот это был добрый, простодушный старик, о котором до сих пор я вспоминаю с умилением.

ГЛАВА V

«Русское богатство».

Как-то вечером Михайловский заехал справиться о здоровье Александры Аркадьевны [1].

— Я хочу только узнать, как себя чувствует мама, — в передней, не снимая пальто, обратился он ко мне. — Сейчас, перед выходом книги журнала, я страшно занят. Был в типографии и тороплюсь домой просмотреть последние листы верстки.

Однако я все-таки убедила его пройти в столовую и выпить с нами стакан чаю.

— Вы что же не зовете меня в посаженые отцы? — шутливо-строгим тоном обратился он к Куприну. — Слышал я, что скоро уже свадьба, а ни вы, ни Муся мне ни слова. Вы, кажется, забыли, Александр Иванович, что я вам крестный отец [2]. Забывать этого не следует.

На днях получил письмо от Владимира Галактионовича. Он спрашивает, правда ли, что Муся выходит замуж за Куприна. Теперь, пишет он, «Русское богатство» его, конечно, потеряет. Я ему еще не ответил на это, — и Михайловский вопросительно посмотрел на Александра Ивановича.

— Женитьба на Марии Карловне к моему сотрудничеству в «Русском богатстве» не имеет ни малейшего отношения, — сказал Куприн.

— Увидим, — улыбнулся, прощаясь, Михайловский.

О своей первой встрече с Михайловским Александр Иванович мне уже рассказывал. Он был у него тотчас по приезде, еще до свидания с Богдановичем. Михайловский встретил Куприна хотя и приветливо, но все же

упрекнул его, что свой последний рассказ «В цирке» он отдал в «Мир божий». Александр Иванович заверил его, что следующий рассказ готовит для «Русского богатства», а тема «Цирка», казалось ему, не заинтересует редакцию. Разговор длился недолго. Александр Иванович, заметив на письменном столе груду корректур, которые, видимо, просматривал Михайловский, отложивший перо, чтобы поздороваться с ним, сразу понял, что оторвал его от работы, и поторопился сократить визит.

Михайловский пригласил Куприна бывать по четвергам в редакции, когда собираются все сотрудники.

— Это не деловое совещание, а товарищеский обмен мнениями. Будет интересно, если вы поделитесь с нами своими впечатлениями о провинциальной печати.

В ближайший четверг вечером Куприн отправился в «Русское богатство».

— Должен признаться, — говорил Александр Иванович, — что было там очень скучно. Ораторствовал главным образом Мякотин — рассказывал о какой-то студенческой вечеринке и дешево острил над частью марксистской молодежи, которая, ни в чем не разбираясь, с тупым вниманием, «как стадо баранов, слушала доклад Баран-Тугановского». Большинство присутствовавших слушало его с удовольствием, Николай Константинович благосклонно улыбался.

Неожиданно Мякотин обратил внимание на меня и, как «новичка», решил проэкзаменовать.

— Вы народник или успели у себя в провинции заразиться марксизмом? — строго спросил он, подойдя ко мне. — У вас там тоже ведь завелись доморощенные марксисты.

— Ни к народникам, ни к марксистам не могу себя причислить. В их разногласиях многое мне непонятно. С марксистским учением я слишком поверхностно и мало знаком, — ответил я.

— Это неважно, — небрежно заметил Мякотин, — учиться надо только у Михайловского. В его статьях так ясно изложена и опровергнута марксистская теория, что каждый здравомыслящий человек не может не согласиться с ним. И как беллетрист вы должны следовать только советам Николая Константиновича. Чехов, к сожалению, этого не делает. Дома я руковожу кружком студентов, занимающихся вопросами народничества

и марксизма. Приходите ко мне послушать. Это будет вам полезно. Непременно приходите. — И для убедительности он тыкал в меня своим длинным пальцем.

Я поблагодарил за приглашение и, чтобы отвязаться, обещал на днях прийти.

— Хотя, может быть, многие и думают, что я дурак, но все-таки уж не такой, чтобы самоуверенно с чужого голоса повторять то, чего я не знаю. Для этого нужна особая способность, которой у меня нет, — добавил Александр Иванович.

В следующие разы, когда я бывал в «Русском богатстве», мое первое впечатление о четвергах не изменилось. Но я продолжал там бывать, так как хотел поддерживать не только литературные отношения с редакцией, которыми дорожу, но и личные.

Моей работой в провинции заинтересовался Николай Федорович Анненский. До своего переезда в Петербург он заведовал в Нижнем Новгороде земской статистикой и писал в провинциальных газетах. О своей статистической работе он рассказывал мне много интересного.

Посетителями четвергов были Якубович-Мельшин, С. Подъячев и Мамин-Сибиряк. Из молодых бывали Виктор Муйжель, молодой человек унылого народнического вида (в журнале печатались его длинные романы и повести из крестьянского быта), довольно серая и бесцветная писательница Ольнэм и, так же как я, недавно приехавший из провинции Ф. Крюков — автор талантливых очерков из казачьего быта.

Чаще всего разговор шел о цензурных преследованиях, которым подвергался журнал, особенно внутреннее обозрение А. Петрищева и публицистические статьи А. Пешехонова. Когда они выпадали, заменить их было очень трудно.

Чаепития проходили вяло. Оживление вносило лишь появление Мамина-Сибиряка. Он всегда рассказывал какой-нибудь новый анекдот и начинал шутливо ухаживать за поэтессой Галиной. Он терпеть не мог споров, особенно когда вопрос шел о народниках и марксистах. Принципиально высказываться ни о тех, ни о других он не желал.

Хороший переводчик и талантливый карикатурист Каррик рисовал на всех присутствующих карикатуры, которые, однако, не всем показывал.

ГЛАВА VI

Куприн и дети.

Гринька, четырехлетний сын нашей кухарки, был очень ко мне привязан. Я поселила его в своей комнате, и он, цепко держась за мое платье, всюду ходил за мной. Это был тихий ребенок, не любивший суеты и шума. И когда горничная Феня начинала ловить его в коридоре и тормошить, он со слезами отбивался от нее и спасался в моей комнате. Он взбирался на диван и, примостясь здесь со своими игрушками, шепотом разговаривал сам с собой. Когда кто-нибудь приходил ко мне, он замолкал и недружелюбно поглядывал на гостя.

— Дети ужасно ревнивы, — говорил Александр Иванович, когда, несмотря на все попытки завоевать расположение Гриньки, тот, с недоверием смотря на него, старался спрятаться за моей спиной. — Он вас ревнует ко мне, а ревность детей так же упорна и беспощадна, как и взрослых. В детстве, когда мать целовала чужих детей, я после этого не подходил к ней и долго помнил о ее измене. Вы ведь знаете Люлю. Мне кажется, что не было человека, который бы так остро ненавидел меня, как этот ребенок, дочь вашей подруги Лёди Елпатьевской — Людмилы Сергеевны Кулаковой.

У мужа Людмилы Сергеевны было имение Скели на одном из склонов Чатырдага. П. Е. Кулаков был агрономом. Погруженный в хозяйственные заботы, он почти безвыездно жил у себя. Но Людмила Сергеевна скучала без общества и подолгу гостила у своих родителей в Ялте. Хорошенькая, веселая, кокетливая молодая женщина, она была на десять лет моложе мужа — бесцветного и неинтересного человека. Он был очень большого роста и лицом похож на «унылого верблюда», как удачно сказал о нем Бунин.

У Елпатьевских всегда бывало очень людно. У Людмилы Сергеевны было много поклонников, и в прошлом году, как вам известно, я, Бунин, Федоров, наш приятель художник Нилус и еще несколько молодых людей составляли ее свиту. Ухаживали мы все за ней наперебой[1], стараясь друг перед другом отличиться. Это ее занимало, но успехом никто не пользовался.

Сергей Яковлевич Елпатьевский и его жена Людмила Ивановна относились ко мне особенно хорошо, поэтому я чаще других бывал у них в доме и виделся с Людмилой Сергеевной. Она очень любила свою пятилетнюю дочь Люлю — пухлого, раскормленного, капризного ребенка, которым в угоду матери восторгались все ее поклонники. Таких избалованных детей — деспотов и кумиров всего дома — я никогда не любил, хотя вообще детей люблю. Как только мы с Людмилой Сергеевной оставались вдвоем и я начинал блистать остроумием, стараясь показать себя с наивыгоднейшей стороны, Люлю, каким-то чутьем угадывая мое присутствие, выбегала из детской, устраивалась около матери и, ежеминутно перебивая меня, обращалась к ней с различными вопросами, всячески стараясь оттеснить меня в сторону и всецело завладеть ее вниманием. Стоило мне предложить Людмиле Сергеевне пройтись со мной по набережной, как Люлю, уцепившись за платье матери, начинала кричать: «И я, и я пойду гулять!» — «Пойди гулять с фрейлейн», — говорила ей мать. В ответ раздавались еще более дикие крики: «Не хочу с фрейлейн, хочу с тобой!» И Людмила Сергеевна, смеясь, соглашалась: «Ну что ж, позови фрейлейн, пусть она тебя оденет. Пойдемте все на набережную».

И мой план прогулки вдвоем — я уже тщательно обдумал красивые лирические фразы, которыми хотел очаровать Людмилу Сергеевну, — рушился.

Однажды, получив гонорар из «Одесских новостей», я решил действовать на ребенка подкупом. В кондитерской Вернэ я купил красивую коробку с шоколадными конфетами и, придя к Елпатьевским, как только появилась Люлю, поднес ее девочке. Не сказав ни слова, она сумрачно посмотрела на меня и отошла в сторону. Повернувшись спиной к матери и ко мне, она медленно развязала ленточку и бросила ее на пол, потом, открыв коробку, начала что-то тихонько бормотать. Увлеченная разговором, Людмила Сергеевна не обращала внимания на девочку, я же незаметно внимательно следил за ней. И вот я увидел, как Люлю, вынимая конфеты, одну за другой бросала их на пол и, растоптав ногой, довольно громко приговаривала при этом: «Куприн фэ, Ку́прин фэ». Затем следовал плевок и падала следующая конфета. Обернувшись, Людмила Сергеевна

заметила под ногами у девочки большое темное пятно от размазанного по полу шоколада. «Люлю, — вскрикнула она, — что ты делаешь?»

Но Люлю продолжала свое занятие, сопровождая его теперь уже громкими возгласами: «Куприн фэ, Куприн фэ!» «Вот паршивая девчонка, — подумал я. — Может быть, ее хоть теперь уберут из комнаты и ей достанется, наконец?!» Но Людмила Сергеевна залилась веселым звонким смехом и, обращаясь ко мне, сказала: «Правда, какая она забавная? Фрейлейн, фрейлейн, идите скорее, смотрите, что делает Люлю. Надо вымыть ей ручки, и, кажется, она запачкала платьице».

Прибежала фрейлейн и, всплеснув руками, закричала: «Mein Gott! Dieses launische Kind» *.

Прибежала и бабушка и... конечно, пришла в восторг: «Какой необыкновенный, удивительный ребенок наша Люлю».

Я же в душе желал этому необыкновенному ребенку куда-нибудь провалиться.

Больше я уже не пытался снискать расположение Люлю.

Вообще взрослые любят дразнить детей (к сожалению, в детстве я часто это испытывал и уверен, что именно это в значительной степени испортило мой характер). Но немногие знают, как умеют дети дразнить взрослых, какой изобретательности достигают они в этом злом развлечении.

В Одессе, там, где я нанимал комнату, у хозяйки был мальчик лет шести. Как-то, когда я был занят спешной работой, Юра играл около моего окна, выходившего во двор. Я сказал, что он мне мешает, и просил уйти подальше от окна. Не тут-то было. Моя просьба мальчику не понравилась. Он подошел к окну еще ближе и, приплясывая, начал на все лады выпевать: «Каля поляля, каля поляля...» Я опять попросил его удалиться. Тогда он на минуту куда-то исчез, а затем вернулся с пустой консервной банкой и палкой в руках. Словно в барабан ударяя по банке, он под этот аккомпанемент снова затянул «каля поляля, каля поляля». И так как этому не предвиделось конца, то я должен был прервать работу

---

* Боже мой! Этот капризный ребенок *(нем.)*.

и пойти заканчивать ее к моему приятелю, художнику Нилусу.

Этот гнусный мальчишка положительно изводил меня. Стоило мне сесть за письменный стол, как он немедленно откуда-то появлялся под моим окном. Какими только терзающими уши «музыкальными инструментами» вроде свистулек из стручков акации, трещоток и жестянок он не пользовался, неизменно сопровождая все это пением «каля поляля»!

Часто я, как чеховская Зиночка, мечтал поймать этого маленького негодяя где-нибудь за сараем и как следует надрать ему уши. Но стоило мне появиться на дворе, как он предусмотрительно ретировался и неизменно держался на почтительном расстоянии. Подкуп на него не действовал. Я покупал ему карамель, дарил разные мелочи и деньги, — все это он брал и немедленно начинал исполнять «каля поляля».

Я должен был переменить квартиру.

ГЛАВА VII

Свадьба. — Два венца. — Квартира у столяра. — Рассказы А. И. Куприна о киевской жизни. — Дог. — Сотрудничество в киевских газетах. — Шутливые заметки — «светская хроника». — Гонорар — голубой корсет.

Время до свадьбы проходило стремительно быстро, наполненное утомительной и ненужной суетой. Александр Иванович приходил только к обеду. Днем он был в «Журнале для всех», а вечером нельзя было ни о чем серьезно поговорить — ежеминутно нас прерывала моя тетушка, то спрашивавшая Александра Ивановича, исполнил ли он ее поручения, то награждая его новыми.

— Вот если бы вы не спешили со свадьбой, — говорила она при этом, — все было бы не торопясь сделано к осени.

Наконец третьего февраля настал день свадьбы.

Венчание было назначено на час дня. К двенадцати часам я была уже причесана и одета в подвенечное платье. Парикмахер приколол мне фату и венок.

В столовой собрались только те, кто должны были провожать меня в церковь: посаженая мать — Ольга

Францевна Мамина, посаженый отец — Николай Константинович Михайловский и четыре шафера: Н. И. Туган-Барановский, А. Г. Мягков и два сына Н. К. Михайловского — Николай и Марк.

И хотя по ритуалу Александр Иванович должен был встретиться со мной только в церкви, он был тоже в столовой, когда я вошла поздороваться.

Мне сразу бросился в глаза растерянный вид всех собравшихся. У тети Оли на глазах были слезы. При моем появлении она спешно закрыла большую белую коробку.

Я почувствовала беспокойство, поцеловалась с ней и спросила: «Что у тебя в коробке?»

Она молчала. Ответил Александр Иванович:

— Ольга Францевна не знала, что тетя Вера уже позаботилась о подвенечных цветах и привезла еще одну коробку... Что ж, Маша, — сказал Александр Иванович, — быть тебе два раза замужем. Такая примета. А в приметы я верю.

По настоянию моей матери приглашений разослано было много, а явилось в церковь еще больше, когда стало известно, что венчать будет Григорий Петров. Все ждали, что по окончании венчания он выступит с проповедью. Но, сняв у алтаря ризу, он подошел к нам и, крепко пожав руку мне и Александру Ивановичу, сказал: «Будьте счастливы». Присутствовавшие в церкви были разочарованы.

В примыкавшем к церкви большом белом зале, где на стенах в парадных формах красовались цари, происходило поздравление.

— Скоро эта кукольная комедия кончится, — наклонясь ко мне, шепнул Александр Иванович. — Вас уже все дамы и бородатые, лысые, бритые мужчины перецеловали или не все?

Александр Иванович знал только очень немногих. Натянуто улыбаясь, он произносил общепринятые любезные слова, а сам с нетерпением ждал конца церемонии.

Однако кукольная комедия продолжалась долго. В зале был сервирован стол. Гостям предлагали шампанское, фрукты, конфеты, торты — словом, все, что полагается во время дневного приема. Пожилые гости скоро уехали. Оставалась молодежь и те, кто себя к

ней причислял. Разбиваясь на группы, они весело болтали, что очень задерживало дома обед.

Тетя Вера была москвичка, и все московские обычаи были для нее святы. Поэтому ее нельзя было убедить в том, что никакого торжественного свадебного обеда не должно быть, когда моя мать больна и присутствовать на нем не может. Все равно тетушка настояла на своем.

В церкви нас задержала веселившаяся молодежь, и мы приехали домой с значительным опозданием.

Закуска была почти съедена, а гости очень веселы. Не обошлось и без скандала.

Крайне сдержанный, корректный, непьющий Ангел Иванович Богданович был совершенно пьян.

Случайно он оказался за столом с близкой приятельницей Александры Аркадьевны А. Я. Малкиной — издательницей журнала «Юный читатель». Они друг друга недолюбливали: Богдановичу не нравилась слишком крупная материальная поддержка, которую оказывала Александра Аркадьевна этому журналу. И Малкина это знала. Между ними началась пикировка, которая перешла в ссору [1].

— Скоро прекратятся пособия! У меня этого не будет! Я этого не допущу! — кричал Богданович, имея в виду тяжелое состояние Александры Аркадьевны, которая лежала за две комнаты от столовой.

У Малкиной началась истерика.

И только вмешательство Н. К. Михайловского прекратило этот скандал.

Татьяна Александровна, жена А. И. Богдановича, увезла Ангела Ивановича домой, и только теперь присутствующие обратили внимание на нас и продолжали пить уже за наше здоровье.

Шутливо-назидательную речь, обращенную главным образом к Александру Ивановичу, произнес Д. Н. Мамин-Сибиряк.

Обед затянулся до десяти вечера, когда мне и Александру Ивановичу наконец можно было отправиться к себе домой.

Александр Иванович нанял небольшую комнату у столяра, недалеко от квартиры моей матери, чтобы всегда я была близко от своего родного дома. Наш хозяин — одинокий старик лет шестидесяти — днем был

занят в какой-то мастерской, а в свободное время работал на себя. Он был краснодеревец, любил свое дело и дома ремонтировал различную старинную мелкую мебель красного дерева, а на заказ делал шкатулки, рамки, киоты. Проходить в нашу комнату надо было через его помещение.

Старик приветливо встретил нас и тотчас же предложил поставить самоварчик.

— Небось притомились. Свадьба — дело нелегкое... Покушайте чайку, — добродушно сказал он.

— А правда, Машенька, стыдно признаться, — я зверски голоден. А ты как?

— Из-за этой глупой ссоры я за обедом есть не могла. А в церкви, — ты же знаешь, — было только шампанское и фрукты.

— Сейчас сбегаю в магазин на углу и принесу чего-нибудь поесть.

Вернулся Александр Иванович с хлебом, сыром, колбасой и бутылкой крымского вина. Но чая у нас, конечно, не было, и пришлось на заварку занять у хозяина. Александр Иванович взял гитару и запел:

Нет ни сахару, ни ча-аю,
Нет ни пива, ни вина,
Вот теперь я понимаю,
Что я прапора жена...

— Правда, Машенька, хороший романс? Тебе нравится? Жалко, я не догадался вставить его в мой старый рассказ «Кэт». Он был бы там как раз у места.

Утром после чая Куприн садился читать и править рукописи для «Журнала для всех», а я уходила к матери и проводила в моей семье весь день. К шести часам из редакции приходил Александр Иванович, мы обедали, а после обеда возвращались к себе домой, и вечер был уже наш.

Только теперь мы могли говорить без помехи, ближе подойти друг к другу. И здесь, в нашей маленькой комнате в квартире столяра, Александр Иванович впервые начал делиться со мной своими творческими замыслами и говорить о себе, своих прошлых скитаниях и о том, что близко его затрагивало и волновало.

Как только мы приходили домой, у нас в комнате появлялась Белочка — маленькая собачка неизвестной

породы, с гладкой белой шерстью и черными глазами. Она поднималась на задние лапки, тыкалась мне мордочкой в колено и, тихонько повизгивая, просила взять ее на руки.

— Приблудная она у меня, — объяснял хозяин. — Ишь ты, хитрюга, куда забралась. Ступай домой, — сделав сердитое лицо, прикрикивал на нее столяр.

Но Белочка только повиливала хвостиком и не сходила с моих колен.

— Я люблю собак и умею с ними обращаться, — сказал мне как-то Александр Иванович, поглаживая Белочку.

— Когда-нибудь ты обращала внимание, Машенька, как смеются собаки?

Одни, как благовоспитанные люди, только вежливо улыбаются, слегка растягивая губы. Но большие добродушные умные псы смеются откровенно, во весь рот — видны зубы, десны и влажный розовый язык.

Большие добрые собаки часто бывают лучше людей. Как весело, умело и осторожно они играют с детьми! Собаки чувствуют, когда человек любит их и безбоязненно подходит к ним. И не было еще примера, чтобы я, если собака мне нравилась, с ней не подружился. За всю жизнь неудача постигла меня только с одной собакой. Хочешь, об этом редком случае я расскажу тебе?

Это было в Киеве. Я возвращался домой поздно вечером. На площадке лестницы у квартиры, в которой я нанимал комнату, лежала большая собака. В темноте я не рассмотрел, какой она породы. Когда я открыл дверь, она быстро, впереди меня, прошмыгнула в коридор, а потом за мной протиснулась и в комнату. Я зажег свечу и увидел, что это был громадный серый дог. Догов я вообще люблю меньше других собак. Они глупы, злы и непривязчивы. И вот, не успел я зажечь свечу и как следует осмотреться, как дог вспрыгнул на мою кровать и улегся прямо на подушке. В комнате не было дивана, а из мягкой мебели — только одно старое кресло с изодранной обивкой, из которой вылезало мочало. Я отодвинул его в угол и словами и жестами стал приглашать дога перейти с кровати на кресло. Но лишь только я приближался к собаке, она издавала зловещее утробное рычание. Глаза ее горели фосфорическим

огнем. Казалось, в образе дога злой дух проник в мою комнату. Мне стало жутко. Я предлагал собаке остаток колбасы, хлеба, налил в тарелку воды — все было напрасно. Она не двигалась с места. Пришлось расстелить на полу мое единственное пальто — под голову подложить было нечего: пес спал на кровати на моей подушке, — и так провести всю ночь. Я задолжал хозяйке, и она мою комнату не топила; накрыться мне было нечем, и к утру я страшно промерз. Но утром, как только я открыл дверь, дог выбежал в коридор, оттуда на лестницу и скрылся. К счастью, я его больше не видел.

Это была единственная собака, которой я боялся и о которой вспоминаю неприязненно. Наверно, она сразу почуяла, что я ее испугался, и в этом-то заключалась причина моей неудачи. Собака никогда не бросится на человека, который ее не боится, и всегда кинется на труса, который будет перед ней заискивать.

Особенно разнообразна и богата впечатлениями была жизнь Александра Ивановича в Киеве, о которой он по вечерам вспоминал.

— Выйдя в запас [2], я вначале предполагал устроиться на заводе. Но мне не повезло. Через неделю я поссорился и чуть не подрался со старшим мастером, который был чрезвычайно груб с рабочими. Тогда я поступил наборщиком в типографию и время от времени таскал в редакцию печатавшейся там газеты заметки об уличных происшествиях. Постепенно я втянулся в газетную работу, а через год стал уже заправским газетчиком и бойко строчил фельетоны на разные темы. Платили мне очень немного, но существовать было можно.

Неожиданно наступили дни жестокого безденежья. Я с трудом перебивался с хлеба на квас. Газета, в которой я работал, перестала платить мне за фельетоны (полторы копейки за строку), и только изредка удавалось выпросить у бухгалтера в счет гонорара рубль, а в лучшем случае три рубля. Я задолжал хозяйке за комнату, и она грозила «выбросить мои вещи на улицу». Пришлось подумать о том, чтобы временно перебраться на жительство в ночлежку и, так как наступало лето, заняться не литературным, а честным трудом грузчика на пристани. С газетой я все же не порывал и в отдел «Из городских происшествий» давал заметки следующего содержания:

«Вчера на Крещатике прекрасная породистая собака господина Н. попала под колеса конки и, раздавленная, кричала нечеловеческим голосом».

Сотрудничал я также в отделе светской хроники (имелась в газете и таковая), где сообщал:

«На первом представлении пьесы известного драматурга Х. мы любовались роскошными туалетами дам. Нельзя не отметить о азар парми * присутствующих туалеты госпожи Н. Н. — зеленое бархатное платье гри де перль и розовое платье мов с роскошной отделкой из брюссельских кружев валансьен».

Заметки эти я писал с удовольствием. Они доставляли мне бесплатное развлечение, и, что было самое удивительное, никто — ни редактор, ни читатели — не замечали явного издевательства над их невежеством и глупостью.

Но вот я услышал, что издатель газеты (собственник галантерейного магазина) собирается «вывернуть шубу» — объявить себя несостоятельным — и прикрыть магазин, а заодно и газету. Я поспешил в редакцию, — слух оказался справедливым.

— Знаете, что я вам посоветую, — сказал секретарь, молодой человек, покровительствовавший мне с тех пор, как я выступал в цирке в качестве борца легкого веса,— обратитесь к Петру Ивановичу, нашему бухгалтеру, и скажите ему, что вы согласны получить гонорар товаром. Намекните при этом, что вам известно кое-что из коммерческих махинаций хозяина. Он, наверное, не замедлит исполнить вашу просьбу.

Я последовал этому мудрому совету и вскоре с чеком — тринадцать рублей пятьдесят копеек — оказался в лавке. Очень вежливый приказчик взамен чека начал предлагать мне несколько пар подтяжек, безобразные пестрые галстуки из бумажной материи, теплые набрюшники и, наконец, дамские бюстгальтеры, красноречиво расхваливая их. Тут я окончательно растерялся.

— Вот, господин, — вдруг радостно воскликнул приказчик, — это, наверно, вам подойдет и стоит ровно тринадцать рублей пятьдесят копеек.

Он откуда-то вытащил узкую коробку, перевязанную лентой, и вынул из нее длинный и жесткий, из ярко-

---

* среди случайно (от *франц.* hasard parmi).

голубого бумажного атласа, отделанный кружевами и бантами дамский корсет.

— Вот, это вы будете иметь вещь, — с довольным видом заявил приказчик. — Это чудная вещь. Если она вам не понадобится, вы всегда можете подарить ее знакомой барышне или продать.

И так он мне надоел своей болтовней и так стало мне все противно и нудно, что я согласился взять корсет.

По дороге домой я обдумывал, как же реализовать этот необычный гонорар, который я нес под мышкой в длинной коробке. Не мог же я сам пойти на рынок продавать нарядный дамский корсет. Каждый заподозрит меня в том, что я украл его у жены или, еще хуже, у любовницы. Попросить хозяйку, но она, ни слова не говоря о цене, задержит его у себя в счет квартирной платы, а меня будет продолжать числить своим должником. Дома я сунул коробку под подушку и стал проверять свою свободную наличность. Оказалось около рубля мелочью. «Пойду в цирк», — решил я. Мой приятель клоун Том давно просит написать для него несколько новых злободневных реприз. Его старые репризы выдохлись и всем надоели. Несколько рублей заработаю, да и в буфете можно позавтракать.

В это время в дверь постучали, и в комнату вошла Даша со свертком в руках.

— Принесла ваше белье, Александр Иванович. Извините, что задержала. В соседнюю квартиру позвали мыть полы, да еще у одной барыни два дня стирала поденно.

Даша замолчала, выжидательно глядя на меня. Я два месяца не платил ей за стирку, каждый раз обещая в ближайшую получку отдать долг. Она терпеливо ждала, и сейчас мне было бесконечно стыдно обмануть ее доверие. В душе я проклинал свое постоянное безденежье, свое неумение заставить самодовольных, надутых, часто даже малограмотных провинциальных издателей считаться со мной. Стараясь не смотреть на Дашу, я, запинаясь, произнес:

— Мне наверное обещали... Сказали, что непременно сегодня уплатят и не заплатили.

Даша покорно вздохнула. «Попрошу ее продать корсет», — мелькнула у меня мысль. Я вынул из-под подушки корсет и, показывая его Даше, сказал:

— Если вы согласитесь продать его на рынке, то, может быть, получите деньги, которые я должен вам за стирку.

Даша не была красивой девушкой, но у нее была высокая гибкая фигура, густые светлые волосы и ясные голубые глаза. Портил ее болезненный цвет лица, бледные губы и всегда усталое выражение. Она жила в большой нужде. Ей приходилось зарабатывать не только на себя, но и заботиться о маленькой сестре, так как год назад умерла мать.

— Боже мой, — всплеснула Даша руками, увидев корсет, — какая красота, даже в руки взять страшно.

— Так вот, Даша, прошу вас, продайте корсет, — повторил я свою просьбу. — Если я еще останусь в долгу у вас, то остальное постараюсь отдать через неделю.

— Как, продать его, продать такую прелесть, такую красоту! — ужаснулась Даша.

— Тогда, если он вам нравится, возьмите его себе и делайте с ним что хотите, но с деньгами за стирку, к сожалению, придется подождать.

Вся вспыхнув, Даша прижала корсет к груди и, счастливо улыбаясь, блестящими глазами смотрела на него. В этот момент она изумительно похорошела.

— Мне можно совсем-совсем взять его? — боясь поверить своему счастью, робко спросила она.

— Конечно, Даша, я ведь подарил его вам.

— Господи, какой вы добрый, Александр Иванович, как вам не жалко дарить такую красоту...

В этот момент я не пожалел, что денег из редакции не получил.

ГЛАВА VIII

Визиты родственникам. — Обед у Любимовых. — П. П. Ж.

Несмотря на тяжелую болезнь, моя мать очень заботилась о том, чтобы все касавшееся моего замужества проходило так, как это было принято. После венца мы никуда не уезжали и по давнишнему обычаю должны были сделать визиты всем родственникам семьи Давыдовых и старым друзьям, присутствовавшим на свадьбе. Следовало посетить и тех, от кого были получены

поздравления. Составился длинный список знакомых, у которых мы должны были побывать.

Я не была уверена, что Александр Иванович согласится выполнить эту скучную обязанность, на которой настаивала Александра Аркадьевна. Но, сверх ожидания, он согласился, и очень охотно.

— Машенька, да это же великолепно! — весело говорил он. — Знакомиться с новыми людьми, наблюдать новые отношения, догадываться, чем каждый из этих людей дышит, ведь это же страшно интересно. Непременно поедем не откладывая с визитами.

В первую очередь мы отправились к Марии Петровне Давыдовой, вдове известного математика, профессора Московского университета — Августа Юльевича Давыдова, старшего брата моего отца. Она была преклонного возраста, хворала и давно никуда не выезжала. Коренная москвичка из старой дворянской семьи, красавица в молодости, она, несмотря на старость и болезнь, сохранила светскую приятную любезность в обращении. Разговаривая с Куприным, она не задавала ему никаких нетактичных вопросов и очень ему понравилась.

Мои две, в то время еще незамужние, кузины, жившие с матерью, познакомились с Куприным на моей свадьбе. Они встретили нас весело и сердечно.

— Как хорошо, — говорила младшая, Вера Августовна, — что вы приехали к нам в воскресенье, когда я дома.

Она окончила фельдшерские курсы и, не желая праздно сидеть дома в ожидании женихов, поступила в «Георгиевскую общину» старшей сестрой милосердия.

— Не забывайте, что теперь вы «наш кузен» и должны навещать нас, — сказала Куприну, прощаясь с ним, старшая, Мария Августовна.

— В доме Марии Петровны на всем лежит милый мне отпечаток старой Москвы, — говорил Александр Иванович, когда мы возвращались домой. — Просторные комнаты, старинная мебель красного дерева, крытая зеленым штофом, темные портьеры на окнах и на дверях, картины и портреты в золоченых рамах и пожилая горничная, которую называют по имени и отчеству, поздравившая нас с «законным браком», все это мне живо напомнило мое раннее детство, когда мать брала меня с собой к своим подругам, жившим в Москве, — богатым

пензенским помещицам. Мария Петровна с ее характерным московским бытом мне, наверное, где-нибудь пригодится.

В этот же день мы успели сделать еще несколько скучных, но зато коротких визитов старым приятельницам Александры Аркадьевны. Побывать у Туган-Барановских решили завтра.

Моя сестра Лидия Карловна была замужем за одним из первых легальных марксистов, профессором политической экономии Михаилом Ивановичем Туган-Барановским. Его сестры — Елена Ивановна Нитте и Людмила Ивановна Любимова — были моими подругами детства, и, хотя Михаил Иванович был уже женат вторично и родственная связь порвалась, наши отношения оставались близкими и дружескими.

Визит мы сделали только родителям Туган-Барановских. У них мы застали дочерей: Лелю и Милу.

— К нам с визитом не приезжайте, — заявили обе сестры. — Визиты — это не для своих, они хороши и удобны для посторонних, когда разговор о здоровье, о детях, погоде и театре длится не дольше получаса. А мы будем ждать вас на днях к обеду.

Старик-отец Иван Яковлевич Мирза-Туган-Барановский в молодости служил в гусарском Гродненском полку. Он проиграл в карты два имения, был отчаянным кутилой и бретером и на Анне Станиславовне Монвиж-Монтвид женился «увозом», так как родители ее, литовские помещики, и слышать не хотели о браке своей дочери с лихим гусаром.

— Интересный и умный старик, — делился со мной впечатлениями Куприн. — Я «вобрал в себя» его наружность, манеры и старомодное вежливое обхождение с замужними дочерьми, как с дамами, — прощаясь, он целовал им руку. Это было трогательно и красиво. Таких людей прошлого века осталось немного.

Позднее, работая над повестью «Гранатовый браслет», Куприн черты Ивана Яковлевича воплотил в образе «дедушки» — генерала Аносова:

«Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старик... В левой руке он держал слуховой рожок, а в правой — палку с резиновым наконечником. У него было большое грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выра-

жением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми, припухлыми полукругами, какое свойственно мужественным и простым людям, видевшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть... Говорил он, перемежая каждое слово вздохами, происходившими от давнишней одышки...»

Роль их в жизни (И. Я. Туган-Барановского и генерала Аносова, коменданта Киевский крепости), конечно, была различна.

Иван Яковлевич и после ухода из полка был страстным игроком. Он то проигрывал все до нитки, то выигрывал громадные деньги, часть которых его жена, Анна Станиславовна, успевала перевести на свое имя и таким образом спасала семью.

* * *

Первый обед был назначен у Любимовых.

Младшая дочь Туган-Барановских Людмила Ивановна * была вторым браком замужем за крупным чиновником Государственной канцелярии Дмитрием Николаевичем Любимовым **.

К семи часам в гостиной Любимовых собрались все приглашенные к обеду. Ждали только родителей, и Мила волновалась, не случилось ли с отцом припадка астмы. Но скоро появился Иван Яковлевич «в сопровождении двух ожиревших, ленивых, хриплых мопсов, у которых всегда кончик языка был высунут наружу и прикушен» («Гранатовый браслет»).

— Мама не придет. Она очень сожалеет, но у нее сильная мигрень, — сказал старик, целуя руку Милы.

На обеде, кроме нас, присутствовали родные и знакомые хозяев дома. С многими из них Куприн встретился впервые, поэтому общий разговор за столом вначале не вязался. Заметив это, Любимов воспользовался сообщением своего шурина Николая Ивановича Туган-Барановского *** о каком-то великосветском разводе. Развивая

---

* В рассказе А. И. Куприна «Гранатовый браслет» — княгиня Вера Николаевна.

** В «Гранатовом браслете» — князь Василий Львович Шеин.

*** В «Гранатовом браслете» — Николай Николаевич, брат княгини Веры Николаевны.

эту тему, он взял инициативу разговора в свои руки и до конца обеда не упускал ее.

— Трудно представить себе, — говорил он, — каких хлопот три года назад стоило мне добиться развода Милочки с ее первым мужем. Накануне судоговорения «лжесвидетели» — без них нельзя было обойтись — накинули каждый по нескольку тысяч рублей на свой гонорар, а их было четверо. Они заявили, что слишком многим рискуют и что не приняты во внимание их затраты, когда они выслеживали бывшего мужа Милочки, кутившего с дамами в ресторанах. За время этого наблюдения им пришлось на десять тысяч выпить одного только шампанского в различных ресторанах, и они предъявили мне такое количество счетов на вино, что его с успехом хватило бы напоить целый полк. Свидетели грозили, что, если их требования не будут удовлетворены, они заявят о добродетельной и безукоризненной жизни мужа и о том, что их хотели подкупить и склонить на лжесвидетельство...

Рассказывая, Дмитрий Николаевич обращался, главным образом, к Куприну, чтобы, как шутя сказал он, ввести его в курс семейных дел Любимовых и просветить на тот случай, если он подвергнется участи первого мужа Милочки.

После этого Любимов стал острить над всеми присутствующими. Так как моя мать была тяжело больна, то мне часто приходилось жить у нее дома. Любимов советовал Александру Ивановичу с самого начала не пренебрегать своими юридическими правами и требовать через полицию моего вселения в квартиру мужа.

— После обеда, — заявил он, — покажу вам, Александр Иванович, Милочкин альбом. Как только мы узнали, что Александра Аркадьевна требует, чтобы ваша жена жила дома, а вы у себя, то сразу в альбоме я изобразил, как городовые ведут Марию Карловну по улице в квартиру мужа. К этому случаю будут и стихи, пока они еще зреют в голове поэта.

Не оставил Любимов в покое и Николая Туган-Барановского. Это был чрезвычайно напыщенный, самодовольный человек, втайне завидовавший карьере своего зятя. Николай был крайне ущемлен утратой Туган-Барановскими титула и хлопотал о его восстановлении. Именно о розысках титула и герба в департаменте

герольдии Дмитрий Николаевич и начал расспрашивать Николая, приняв крайне серьезный и заинтересованный вид. Неожиданно, перебивая Любимова, в разговор вмешался муж его сестры Ольги Николаевны — граф Дорер. Ярый монархист, член «Союза русского народа», курский предводитель дворянства из той черносотенной породы дворян, которых иначе как «зубрами» не называли, бестактный и глупый, он тоже решил поговорить на эту щекотливую тему.

— Скажите, Иван Яковлевич, — обратился он к старику Туган-Барановскому, — при каких обстоятельствах и в чье царствование была утеряна грамота, утверждавшая ваши права на титул, и не припомните ли вы, каков был герб?

— Я мало интересовался этим даже в молодые годы, — недовольно ответил старик, которому Дорер помешал обедать.

— Но это же так просто, Коля, — не оставлял в покое Любимов своего шурина. — Стоит только со времени Иоанна Грозного проследить по мужской и женской линии всех потомков царицы Марии Темрюковны и восстановить родство с ней князей Мирза-Туган-Барановских... Только и всего...

Разговор этот крайне раздражал Николая. Он делал вид, что не слушает Любимова, и усиленно ухаживал за Ольгой Николаевной Дорер.

Кофе подали в гостиную.

Дмитрий Николаевич подвел Куприна к стоявшему посреди комнаты круглому столу, на котором лежали большие фолианты в массивных кожаных переплетах с серебряными углами и застежками.

— Вам, как писателю, будет особенно интересно ознакомиться с этими фолиантами, — сказал он. — Это рукописи Толстого и Достоевского.

Эти фолианты перешли к Любимову от его покойного отца, профессора Московского университета Н. А. Любимова. Он был другом Каткова и одним из редакторов журнала «Русский вестник», в котором печатались повесть Толстого «Казаки» [1], «Анна Каренина» и несколько романов Достоевского.

Я вместе с Александром Ивановичем рассматривала рукописи. Повесть Толстого не была в полном смысле рукописью. Это были очень много правленные, испещ-

ренные различными пометками, с большими вставками и замечаниями на полях корректурные листы.

— Это лабораторная работа гения, которую надо изучать, — сказал Александр Иванович. — А поверхностный взгляд улавливает только почерк.

Роман Достоевского «Бесы» был написан от руки, но было известно, что свои произведения писатель последние годы диктовал жене Анне Григорьевне, а до этого просто различным переписчикам. Поэтому интерес представлять могли только поправки, сделанные его рукой. Эти рукописи имели, таким образом, интерес чисто внешний, беглое знакомство с ними ничего не давало.

Увидев, что Александр Иванович больше не рассматривает фолианты, Любимов снова подошел к нему.

— А теперь пускай Милочка покажет вам свой альбом.

Этот альбом в темно-зеленом коленкоровом переплете с красной розой, вытисненной на верхней крышке, был у Милочки еще с гимназических времен. Тогда в нем писали «на память» ее подруги.

— Пропустим первые трогательные излияния прекрасных юных дев, — сказал Дмитрий Николаевич, — и перейдем к более интересным поэтическим сюжетам.

Когда на ее пути встретился таинственный незнакомец, он решил, оставаясь неизвестным, завоевать внимание Милочки своим поэтическим дарованием *. В течение долгого времени он еженедельно посвящал ей цветы своей музы. Вот, посмотрите, Александр Иванович, первое письмо. На мой взгляд, оно главным образом касается Анны Станиславовны.

И вот волшебная минута —
На свет является дитя,
Моя божественная Лима,
Это она, это она.

Ввиду выдающегося интереса, которое представляет это стихотворение, я решил его иллюстрировать. Как видите, после отрывка из письма следует рисунок: кровать с лежащей на ней под покрывалом фигурой.

---

* Этот случай послужил Куприну темой для рассказа «Гранатовый браслет».

На следующем листке опять стихотворение:

Ее Людмилой нарекли,
Но для меня осталась Лимой.

Сбоку нарисована люлька. А вот еще выдержка из письма:

Взирала радостно мамаша,
Как расцветала дочь ея.

И, наконец, заключительные строки письма:

Великолепная нога,
Явленье страсти неземной.

Конечно, к сему имеется соответствующий рисунок ноги.

Этот маньяк с неотступным упорством преследовал Милочку письмами. В них заключались не только стихотворные послания, но и прозаический текст с малограмотным объяснением в любви. Подписывал он письмо своими инициалами — П. П. Ж. Представьте себе, Александр Иванович, ему удалось несколько раз проникнуть в ее квартиру. Как мы впоследствии выяснили, он вошел для этого в соглашение с полотерами. Многие письма его посвящены описанию обстановки всех комнат и, конечно, главным образом Милочкиной. Часто он следовал за ней во время прогулок или когда она посещала своих знакомых. Об этом он также немедленно осведомлял ее в письмах. Когда Милочка второй раз вышла замуж, поток писем временно прекратился. Но уже через несколько месяцев П. П. Ж. вернулся к своему прежнему занятию.

В прошлом году, в первый день пасхи, рано утром горничная принесла Миле письмо и небольшой пакет. В нем оказалась коробочка, в которой на розовой вате лежал аляповатый браслет — толстая позолоченная дутая цепочка, и к ней подвешено было маленькое красное эмалевое яичко с выгравированными словами: «Христос воскресе, дорогая Лима. П. П. Ж.» Это выходило уже за рамки приличия. Коля страшно возмутился и потребовал принятия по отношению к П. П. Ж. самых крайних мер.

Установить личность П. П. Ж. было для меня, конечно, очень легко. Он оказался мелким почтовым чиновником Петром Петровичем Жолтиковым. Жил он в начале старого Невского в громадном доме барона Фриде-

рикса, в котором сдавались дешевые комнаты и квартиры.

В ближайшее воскресенье мы с Колей отправились к нему. По грязной черной лестнице поднялись на пятый этаж. Открыла нам хозяйка квартиры, неопрятная, растрепанная женщина, и указала комнату Жолтикова. Убогая обстановка, сам он — невзрачный, небольшого роста, страшно растерявшийся, испуганно смотревший на нас, — все это произвело на меня тяжелое впечатление. Я положил на стол коробочку с браслетом и вежливо попросил его впредь не только не посылать моей жене подарков, но и перестать писать ей письма. Тут Коля перебил меня, очень резко сказав, что мы примем меры... Я не дал ему договорить, — убитый вид Жолтикова меня обезоруживал...

Мы уже долго пробыли у Любимовых, и пора было проститься. После душных комнат хорошо было пройтись по тихим малолюдным улицам, примыкавшим к Таврическому саду, и мы пешком возвращались домой.

— Когда я курил в кабинете у Любимова, — рассказывал мне Александр Иванович, — он почему-то опять вспомнил о Жолтикове и сказал мне: «Он ведь, так же как я, любит Милочку, и я не могу за это сердиться на него — я счастливый соперник, и мне его жаль. Ведь если бы он был крупным чиновником, а я бедным служащим, может быть, Милочка и полюбила бы его, а не меня, кто знает». — «Да, — ответил я, — судьба не бескорыстна. Она всегда покровительствует успеху».

И, передавая мне слова Любимова, Александр Иванович добавил:

— Сановник еще не заглушил в нем человека, но со временем, кто знает...

Я представляю себе П. П. Ж., — помолчав, продолжал Александр Иванович. — Я представляю себе, как мучительно напрягает он свои душевные силы, стараясь преодолеть малограмотность и отсутствие необходимых слов, чтобы выразить охватившее его большое чувство, и как стремится он уйти от своей убогой жизни в мечты о недосягаемом счастье.

В юности, когда я был еще юнкером, нечто подобное испытал и я, когда долго хранил у себя случайно оброненный при выходе из театра носовой платок незнакомой мне женщины.

ГЛАВА IX

Обед у Нитте. — Рассказ о медиуме. — «Гранатовый браслет». — У Казанского собора. — Обед у Ивановых.

Следующий «обед для молодых» был у Елены Ивановны Нитте* и ее мужа Густава Николаевича. В их доме общество было более многолюдным и разнообразным по своему составу, чем у Любимовых, и поэтому все чувствовали себя непринужденнее. Леля была несколькими годами старше своей сестры Милы и раньше ее вышла замуж. Она была очень дружна со своим братом — профессором М. И. Туган-Барановским. Многих из его прежних университетских товарищей она знала, когда была еще гимназисткой, а брат, студент последнего курса, был холост и жил в семье. Теперь из этой, в то время веселой, студенческой молодежи вышли ученые, адвокаты и доктора медицины. После Лелиного замужества они сделались завсегдатаями ее пестрого полусветского салона.

Густав Николаевич, очень богатый человек, не стремился к карьере сановника. Он нигде не служил, но, кажется, получил звание камер-юнкера, так как в какие-то детские приюты и богоугодные заведения, состоявшие под покровительством великих княгинь, внес большие денежные пожертвования. И несмотря на то, что обстановка громадной квартиры Нитте, с двумя гостиными, столовой и торжественным белым залом, была гораздо пышнее, чем у Любимовых, Лелины гости чувствовали себя у нее более свободно, нежели у любезной, но сдержанной и корректной Милы.

Светская выдержка и чопорность не вязались с живым Лелиным характером, и тонные дамы были редкими, случайными посетительницами ее салона.

Перед гостями Леля рисовалась своей религиозностью — недавно она перешла в католичество и говорила о том, какое возвышенное настроение вызвала у нее эта церемония, какое духовное наслаждение доставляет ей чтение религиозных книг и как глубоко скорбит она о всех неверующих в бога. В нарядном вечернем туалете, с очень красивыми, из какого-то камня

* В «Гранатовом браслете» — Анна Николаевна Фриессе.

с золотой инкрустацией, четками на открытой шее, которые, как длинное ожерелье, спускались ниже пояса, она была очень эффектна. И это «религиозное» украшение подчеркивало гибкую стройность ее фигуры и несколько экзотический, монгольский тип лица.

Хозяин дома совершенно стушевывался перед своей женой, с которой не сводил влюбленных глаз. За столом он предоставлял ей занимать гостей, а сам усиленно угощал их винами особых марок, которые выписывал из-за границы. После обеда Густав Николаевич пригласил мужчин курить в свой кабинет.

В гостиной остались только дамы, и настроение сразу упало.

В сопровождении француженки-гувернантки вошли двое хорошеньких малокровных детей с бледными мучнистыми лицами и с завитыми льняными кукольными волосами. Их привели проститься перед сном с матерью. Девочка молча приседала гостям, мальчик шаркал ножкой. Матери они говорили: «Bonne nuit, petite mère» *, — и целовали ее.

— Однако без мужчин все-таки скучно, — сказала Леля. — Пойдемте выкурим и мы по египетской папиросе и пригласим мужчин к нам в гостиную.

Просторный кабинет Густава Николаевича был обставлен тяжелой мебелью мореного дуба, обитой темнокрасной кожей. Перед диваном, занимавшим всю стену, стоял большой круглый стол.

На громадном письменном столе, находившемся в междуоконном простенке, не было ни книг, ни бумаг и красовался лишь массивный бронзовый чернильный прибор.

— Узнаешь эту комнату? — спросила меня Леля, когда мы вошли в кабинет Густава Николаевича. — Мебель здесь в прошлом году во время наших спиритических сеансов была иначе расставлена.

Дело заключалось в том, что после смерти моей сестры, Лидии Карловны Туган-Барановской, ее муж некоторое время интересовался спиритизмом и вместе со мной принимал участие в сеансах, которые устраивала его сестра Леля. Для этих сеансов приглашался в то время знаменитый, приехавший из-за границы медиум

---

* Спокойной ночи, мамочка *(франц.)*.

Шамбор. Это был величайший фокусник и мошенник, бравший двести рублей за сеанс.

— А вы серьезно верите в спиритизм, Елена Ивановна? — спросил ее Куприн.

— Разве можно в спиритизм не верить, если религия учит нас, что душа наша бессмертна и продолжает жить в загробном мире, — ответила Леля.

Мужчины иронически улыбались.

— А что же происходило на ваших сеансах? — интересовался Александр Иванович.

— Стол двигался, стучал, звонил колокольчик. Были прикосновения, холодные флюиды.

— А как же стучал стол? Ведь весь пол покрыт ковром, — удивился Александр Иванович.

— Конечно, ковер убирали. До сеанса мы самого медиума и не видали. Приезжал его секретарь, дававший указания, как расставить мебель. Мы убрали все лишнее. Медиум поставил условием, — оживленно рассказывала Леля, — чтобы на сеансе было немного народу. Бывают индивидуумы, которые непроизвольно препятствуют духам выявлять себя. Тогда медиуму приходится прерывать сеанс и просить их удалиться.

Александр Иванович рассмеялся.

— Как, вы не верите в потусторонний мир и возможность общения с ним? — удивилась Леля.

— Что вы, Елена Ивановна, как же можно в это не верить. Я сам участвовал в нескольких спиритических сеансах и даже сам был медиумом.

— Что, — воскликнула она, — вы медиум? Это чрезвычайно интересно. Господа, слушайте! Александр Иванович признался, что он медиум. Расскажите же, что это, как это... А сейчас вы еще обладаете силой медиума?

— Как вам сказать... Мебель здесь в комнате та же самая? — Услышав утвердительный ответ, Александр Иванович подошел к креслу и попытался поднять его одной рукой за заднюю ножку. — Нет, теперь я этой силой больше уже не обладаю.

— Почему же? — В голосе Лели звучало разочарование.

Куприн улыбнулся:

— Видите ли, тогда я был гораздо моложе, и мебель в квартире, где происходили сеансы, была много легче.

Все засмеялись.

— Нет, вы шутите, — настаивала Леля. — Расскажите, как это все бывает.

О том, как Куприн был медиумом, я знала раньше. Он рассказывал мне об этом, когда я была еще невестой.

— Чтобы доставить вам удовольствие, Елена Ивановна, я могу рассказать, как это происходило.

Было это лет десять тому назад. В то время я уже год был подпоручиком в одном армейском пехотном полку [1]. По понятным причинам — ведь с тех пор прошло всего десять лет — я не назову ни полк, в котором я служил, ни имен действующих лиц, кроме своего. Однажды в офицерской столовой мне показали капитана — высокого мрачного молчаливого человека. У него была длинная борода, и он всегда носил очки.

«Знаете, — сказал мне сосед по столу, указывая на него, — капитан этот — спирит. Он скрывает это, и сеансы его проходят в строгой тайне. Медиум к нему приезжает из соседнего города. Разболтал, конечно, его денщик. Нам, офицерам, сколько мы ни старались проникнуть на его сеансы или хоть узнать о них что-нибудь подробнее, ничего не удалось».

Меня все это страшно заинтересовало, и я решил во что бы то ни стало проникнуть в тайну капитана. Задача была трудная, у капитана никто никогда не бывал. Жил он замкнуто, нелюдимо, был известен как деспот и скаред. В полковом буфете капитан избегал общества и угрюмо пил пиво за отдельным столиком.

Исследовав нашу полковую библиотеку, я нашел там несколько разрозненных номеров старого «Ребуса» (журнал, издававшийся известным профессором спиритом Бутлеровым). Этот журнал за ненадобностью библиотекарь подарил мне. Достаточно ознакомившись с содержанием статей и письмами различных спиритов, я повел атаку на капитана. В буфете я останавливался с кем-нибудь из молодых офицеров неподалеку от сидевшего за столиком капитана и громко, чтоб слова мои доносились до него, изрекал что-нибудь такое: «Нет, что бы вы ни говорили, а, конечно, в мире есть чрезвычайно много таинственного, и во многое ум человека не в силах проникнуть. Все же я верю, что общение с потусторонним миром возможно. И хотя способы общения с ним еще только намечаются, когда-нибудь мы будем

близки к раскрытию многих, в настоящее время загадочных для нас явлений».

Всячески варьируя эту тему, в присутствии капитана я как можно чаще возвращался к ней. Иногда я садился один за столик неподалеку от него и принимал задумчиво-сосредоточенный вид, подходившим ко мне товарищам отвечал рассеянно.

Так длилось около двух месяцев. Наконец я заметил, что мои маневры возымели действие: мало-помалу капитан начал сдаваться. Входя в столовую, он осматривался и, увидев меня, садился неподалеку. Однажды он пригласил меня к своему столу.

— Я слышал, подпоручик, — обратился он ко мне, — что вы как будто интересуетесь спиритизмом. Случайно у меня есть кое-какая литература по этому вопросу. Я охотно дам вам ее. Зайдите как-нибудь ко мне.

В ближайшую субботу, вечером, я отправился к капитану. В передней меня встретила его жена, бледная забитая женщина. Она испуганно посмотрела на меня и, озираясь по сторонам, прошептала: «Если вы порядочный человек, то не выдадите нас».

Капитан представил меня своей жене, свояченице и какому-то старому родственнику, жившему у них. Немного поговорив со мной о спиритизме, капитан как бы шутя сказал: «Что ж, попробуем посидим за столом, может, у нас что-нибудь и выйдет. Хотя, говорят, без медиума никакие сеансы не удаются».

Мы образовали цепь: капитан, я, справа от меня жена капитана, напротив — родственник. Свет был погашен. Некоторое время все было тихо. И вдруг из моей правой руки тихонько выскользнула рука капитанши, и я почувствовал, что она слегка приподымает стол. Послышался стук. Потом второй, третий. «Так вот оно в чем дело», — подумал я и правой ногой довольно высоко приподнял стол, который затем громко стукнул об пол.

— Боже мой, — воскликнул капитан, — таких явлений еще не было ни разу. Наверно, вы медиум.

Он велел зажечь свет и стал расспрашивать меня, что я чувствовал. Я притворился, что нахожусь в полузабытье и только-только начинаю приходить в себя.

— Не знаю, что со мной было, кажется, я заснул, — пробормотал я.

— Ну да, да, вы медиум, — в восторге воскликнул капитан. — Для первого раза не будем продолжать сеанс. В следующий раз мы уже как следует займемся этим делом.

Я успел отойти лишь недалеко от дома капитана, как меня нагнала его жена.

— Завернем в переулок, чтоб нас не видели. Я должна все рассказать вам, — торопливо произнесла она, переводя дыхание.

Со слезами на глазах бедная женщина рассказала мне, что у ее мужа есть состояние, но он болезненно скуп, держит семью впроголодь. Ее дочери, молодые девушки, никогда не бывают на вечерах в собрании, так как у них нет платьев, сын ходит в дырявых башмаках, без калош и т. д. Все это вынудило их воспользоваться увлечением капитана спиритизмом и хоть таким образом воздействовать на него и несколько облегчить свое существование. Раньше в заговоре с семьей был «медиум» — военный фельдшер из соседнего города, но его перевели в другое место, и теперь они не знают, что им делать.

— Вот скоро будет бал в собрании, а моя старшая дочь, семнадцатилетняя девушка, должна оставаться дома, потому что у нее нет платья. Если можете, помогите нам, — закончила она свой рассказ.

Со следующего сеанса я рьяно принялся за дело. Впадая в «транс», я скрежетал зубами, выл, произносил непонятные и нечленораздельные слова, а после этой подготовки перешел к целым фразам. Капитан был в восторге. Он имел пристрастие к духам военного звания. И вот я вызывал поочередно Кутузова, Суворова и других полководцев. Наконец я вызвал даже Наполеона. Я заставил его быть чрезвычайно галантным. Так, например, Наполеон сообщил, что дочь капитана Катя — очень интересная молодая девица, которая, наверное, найдет себе хорошего жениха, если будет иметь возможность выезжать в собрание, одетая к лицу.

Часто я заставлял партизана Дениса Давыдова заявлять: «Медиум не воспринимает токов, голоден, дайте ему подкрепиться селедкой, мясом, пивом». И тогда появлялась закуска.

В конце концов мне это надоело. В собрании перед очередным сеансом я выпил немного лишнего. Вскоре

после начала сеанса я вызвал Суворова, память которого частенько тревожил ради башмаков, калош и прочих необходимых семейству предметов. Он сердито заговорил: «Ты опять на днях из солдатских писем, присланных по почте, вытащил деньги». Увлекшись обличительной тирадой, я забыл осторожность и, оперируя под столом ногой, качнулся, задев локтем капитана. «Негодяй, мошенник!» — завопил он, вскакивая. Он шипел и трясся от ярости. Хотел с кулаками броситься на меня, но я швырнул ему под ноги стул, выскочил в переднюю и, сдернув с вешалки шинель, выбежал на улицу.

Так закончился мой первый и последний дебют в качестве медиума. Капитан после этого долгое время в офицерском собрании не показывался.

Все хохотали. Смеялась и Леля, но она была недовольна и хотела, чтобы последнее слово осталось за ней.

— Нет, нет, я не верю вам, Александр Иванович, — сказала она. — Не может быть, чтобы вы отрицали существование духов. Признайтесь, что все о медиуме вы от начала до конца придумали. Вы писатель — «сочинитель», и вам что-нибудь сочинить ничего не стоит.

Куприн не возражал. Спорить было невежливо.

— Ты, наверное, удивилась, Маша, — говорил мне дома Александр Иванович, — что я решился выступить в большом обществе в качестве рассказчика. Но я видел, что Леля все время с нетерпением чего-то ждала от меня. Когда она рассказала мне о своем приюте для «порочных детей» и со всех сторон мужчины осыпали ее рискованными вопросами и остротами, а я сидел и молчал, она, лукаво прищурясь, смотрела на меня, и мне начинало казаться, что еще немного, и она, как бойкая провинциальная барышня, скажет: «Что же вы, поручик, все сидите как бука и нас не занимаете, нам скучно!..» И вот когда подвернулся разговор о спиритизме, я решил отыграться. Любопытный тип эта Леля. И как удивительно сестры Туган-Барановские не похожи друг на друга.

Сейчас все новые впечатления у меня не отстоялись. Я свернул их, как ленты кодака, и уложил в своей памяти. Там они могут пролежать долго, прежде чем я найду для них подходящее место и разверну их. Когда проходит время, глубже чувствуешь и оцениваешь про-

шедшее — людей, встречи, события. И тогда все принимает иное освещение и форму, — говорил мне Александр Иванович.

И понадобилась еще одна «лента» для того, чтобы «Гранатовый браслет» возник полностью в творческом сознании Куприна.

Это случилось в 1906 году летом на хуторе «Свистуны», недалеко от Даниловского Новгородской губернии, где Александр Иванович впервые слышал «Аппассионату» в исполнении профессора Петербургской консерватории В. У. Сипягиной-Лилиенфельд.

Через четыре года Куприн развернул все три «ленты» «Гранатового браслета», который окончил «Аппассионатой».

Пятнадцатого октября 1910 года он сообщал Ф. Д. Батюшкову из Одессы: «Сейчас занят тем, что полирую рассказ «Гранатовый браслет». Это — помнишь? — печальная история маленького телеграфного чиновника П. П. Жолтикова, который был так безнадежно, трогательно и самоотверженно влюблен в жену Любимова...»

Но «Гранатовый браслет» не является точным воспроизведением этого события. В купринском рассказе использованы и другие наблюдения писателя.

Действие в «Гранатовом браслете» происходит в одном из городов Черноморского побережья. В действительности история с телеграфистом случилась в Петербурге.

Петр Петрович Жолтиков (в рассказе Желтков) не застрелился, как пишет Куприн, а был переведен в провинцию и там женился. Об этом я узнала много лет спустя от Н. И. Туган-Барановского. Дальнейшая судьба Жолтикова ему была неизвестна.

В письмах к Людмиле Ивановне Жолтиков не называл ее «прекрасной Блондиной». Так писал нашей няне Ольге Ивановне ее муж Семен Иванович Герасимов, который служил в солдатах. Это обращение понравилось Куприну, и он вставил его в рассказ.

П. П. Жолтиков прислал Людмиле Ивановне не гранатовый браслет, а браслет в виде толстой позолоченной дутой цепочки, и к ней подвешано было маленькое красное эмалевое яичко с выгравированными словами: «Христос воскрес, дорогая Лима. П. П. Ж.».

Мой гранатовый браслет, который подарил мне

Александр Иванович, был покрыт мелкими гранатами, а посередине — несколько крупных камней. От времени на внутренней стороне появились темные пятна. Браслет очень нравился Александру Ивановичу (к драгоценным камням он чувствовал особенное пристрастие), и он решил снести его золотых дел мастеру узнать, нельзя ли как-нибудь уничтожить пятна.

Неопытный ювелир, не знавший, что гранаты раньше оправляли только в серебро, не предупредив Куприна, вызолотил браслет. Старинный браслет был испорчен. Хотя ювелир и уверял, что снять позолоту очень легко, Куприн рассердился и браслет у него не оставил.

После обеда у Любимовых в 1902 году Куприн больше у них не бывал. С Людмилой Ивановной я поддерживала дружеские отношения, но Дмитрий Николаевич Любимов ни разу в моем доме не был.

Когда он стал виленским губернатором, а затем камергером и помощником статс-секретаря Государственного совета, вспоминать в доме Любимовых историю с телеграфистом было неприлично.

* * *

В феврале 1902 года моя мать А. А. Давыдова получила из Петербургской консерватории извещение о том, что 13 февраля в день смерти К. Ю. Давыдова состоится панихида по нему.

Присутствовать на панихиде она по болезни не могла и накануне сказала мне, что в консерваторию должны пойти я и Александр Иванович. После панихиды мы возвращались домой пешком. Шли по набережной Мойки. Не доходя до Казанского собора, мы услыхали сзади нас конский топот. Александр Иванович оглянулся и сказал:

— Едет эскадрон казаков.

— Бежим скорее, — рванулась я вперед.

Он крепко взял меня под руку.

— Мы пойдем медленно. Только медленно.

— Да, но кто-то едет за нами по панели...

— Не оборачивайся!

Эскадрон быстро проехал мимо нас к Казанскому собору. К нему присоединился и тот, кто ехал сзади нас.

У Казанского собора стояла большая толпа. Это

была демонстрация в знак протеста против избиения и арестов студентов в предыдущие дни.

— Если негде спрятаться от преследования, — сказал мне Александр Иванович, — то бежать ни в коем случае нельзя. Бежать от гончих — это смерть.

* * *

Во второй половине февраля 1902 года мы были на последнем из парадных обедов — у главного юрисконсульта министерства финансов В. И. Иванова.

С моим отцом у Владимира Ивановича завязались дружеские отношения еще в ту пору, когда он был петербургским нотариусом. Его очень любил Салтыков-Щедрин, хотя, играя с ним в винт, говорил Владимиру Ивановичу:

— Если ты еще раз сделаешь такой ход, я запишу весь ремиз не на сукне, а на твоей лысине.

Семья Иванова, несмотря на положение Владимира Ивановича в министерстве финансов, жила скромно, занимала квартиру из шести комнат на третьем этаже без лифта.

А. А. Давыдова и после смерти мужа была дружна с этой семьей и желала, чтобы мы нанесли им визит.

Ивановы пригласили нас к обеду. Ольга Евграфовна, жена Владимира Ивановича, была дочерью известного врача Евграфа Александровича Головина.

На обед были приглашены Вышнеградская — вдова министра финансов, Путилов — владелец заводов, с женой; Мария Ивановна Болотова — сестра Владимира Ивановича и Николай Карлович Шильдер — известный историк.

Стол был накрыт просто, по-семейному.

Не знаю, читал ли Путилов «Молох» Куприна, — думаю, что не читал, а слышал о нем от Иванова, — но за столом он разговорился с Александром Ивановичем о заводских делах и пригласил его побывать на одном из его заводов. Куприн поблагодарил Путилова за приглашение и записал номер его телефона.

Путилов куда-то торопился и вскоре ушел.

Рядом с Куприным обедала бывшая министерша Вышнеградская. Александр Иванович усердно ухаживал за ней.

Напротив меня сидел Николай Карлович Шильдер, пожилой, молчаливый человек. Шильдер никого на разговор не вызывал, на вопросы Владимира Ивановича отвечал немногословно.

После обеда мы перешли в гостиную пить кофий.

Гостиная была небольшая. У стены стоял диван, а по углам круглые столики с креслами.

Куприн сел за столик с Шильдером. Николай Карлович некоторое время молчал, а потом, ни к кому не обращаясь, сказал с проникновенной важностью:

— И все-таки я ищу подтверждения... То, что пишут о старике Кузьмиче — не легенда. В этом я глубоко убежден. Это, несомненно, был император Александр Первый [2].

Александр Иванович насторожился.

— Совсем недавно, — продолжал Шильдер, — глубокой ночью, сижу я за письменным столом и думаю, как бы мне это точно узнать? И вдруг отворяется дверь и в комнату входит весь в белом старец, с седой бородой и посохом.

«Ты хочешь убедиться? — спросил он меня. — Да, я Кузьмич, я император Александр Первый».

Я хотел встать перед ним на колени, но он, сделав рукой жест, сказал: «Не надо».

Куприн внимательно слушал Николая Карловича.

— Вижу, вы стремитесь к расширению ваших знаний, — обратился Шильдер к Куприну, — если вас это заинтересовало, можете побывать у меня.

Александр Иванович записал его адрес.

К ним подошел Владимир Иванович. Шильдер замолчал, помешивая ложечкой кофий.

Возвращаясь домой, Александр Иванович говорил:

— Старик, конечно, заснул над документами и все это видел во сне. Но это все равно. Рассказ хорош, он создает настроение, и я готов верить, что это правда. У него я обязательно побываю.

В первый день пасхи (1902) мы сидели за праздничным столом у сестры Куприна Зинаиды Ивановны Нат в Коломне. Александр Иванович развернул «Новое время».

— Какая неудача!.. Вот жалко. Скончался Николай Карлович Шильдер.

ГЛАВА X

Уничтожение писем и смерть А. А. Давыдовой. — «Принц Жорж». — Завещание. — Кончина В. П. Острогорского. — Ф. Д. Батюшков — редактор «Мира божьего».

Мы не сделали и половины визитов по длинному списку, составленному моей матерью, когда в ее состоянии наступил угрожающий перелом. Я все дни проводила около нее, а последнее время и ночи.

За две недели до смерти она решила все хранившиеся у нее долгие годы письма уничтожить.

Письма Н. К. Михайловского, Г. И. Успенского и Н. В. Шелгунова Александра Аркадьевна передала Николаю Константиновичу в начале своей болезни.

Я должна была подавать ей объемистые пакеты, крепко перевязанные и запечатанные сургучной печатью. Она надрывала обложку каждого пакета, чтобы убедиться, что там находятся письма, а не какие-нибудь другие забытые бумаги.

— Здесь письма Ивана Александровича Гончарова, — сказала она мне, указывая на объемистый пакет. — Брось в камин и как следует размешай золу.

Гончаров всегда говорил, что он считает «величайшим неуважением» к памяти умершего человека, кто бы он ни был, когда в его письмах роются посторонние любопытные люди, по-своему толкуют их содержание и всячески стараются залезть в святая святых его души. Если умер писатель, то его письма считают возможным сделать общим достоянием и даже печатать. И Гончаров просил своих друзей после его смерти всю переписку с ним уничтожить...

— Я считаю, что он был совершенно прав, — сказала Александра Аркадьевна.

Дальше шли письма А. Н. Плещеева, Я. П. Полонского, А. Н. Майкова, Р. Апухтина, Григоровича, Всеволода Крестовского и другие, которые я не запомнила. Среди них находились письма А. Ф. Кони, Модеста Ильича Чайковского, в которых он, по словам Александры Аркадьевны, очень много писал о своем брате Петре Ильиче Чайковском.

— Теперь все. — Она протянула мне две последние пачки. — Это письма Всеволода Гаршина [1] и С. Я. Над-

сона[2]. Оба много писали мне, и последние письма незадолго до их смерти.

Вечером я рассказала Александру Ивановичу о письмах, уничтоженных моей матерью.

— Видишь ли, обещание, данное Александрой Аркадьевной Гончарову, конечно, следовало исполнить. Но я думаю, что уничтожить надо было только все слишком интимное и личное, что заключалось в этих письмах. Ведь переписка между друзьями всегда основана на душевной близости и взаимном доверии. Я думаю, что Александра Аркадьевна не поступила бы против воли Гончарова, если бы сохранила все то, что в этих письмах касалось его творчества, а уничтожила бы все ненужное, что могло дать повод для кривотолков и сплетен в печати.

Позднее в статье о Кнуте Гамсуне Куприн писал: «Нахожу, что лишнее для читателя путаться в мелочах жизни писателя, ибо это любопытство вредно, мелочно и пошло».

Рано утром 24 февраля 1902 года Александра Аркадьевна скончалась от паралича сердца[3].

На другой день в квартиру внесли громадный венок от герцога Мекленбург-Стрелицкого («принц Жорж»).

Принц Жорж был внуком великой княгини Елены Павловны, с детства любил музыку, но по своему положению не мог посещать консерваторию и с четырнадцати лет учился у К. Ю. Давыдова игре на виолончели, как и А. В. Вержбилович.

Занимался с ним Карл Юльевич дома. Два-три раза в неделю принца Жоржа привозили к Давыдовым из Михайловского дворца, где отец мальчика — герцог Мекленбург-Стрелицкий напивался до белой горячки, бегал с саблей по залам дворца и рубил все, что попадало ему под руку. Свою жену, великую княгиню Екатерину Михайловну таскал за волосы, а Жоржа часто бил палкой по голове. У сына на всю жизнь осталось нервное подергивание.

Принц Жорж, А. А. Дывыдова и А. В. Вержбилович были почти ровесниками. В первый год замужества Александра Аркадьевна, ожидая мужа из консерватории, играла с его учениками в прятки и другие игры.

После смерти Карла Юльевича герцог Мекленбург-Стрелицкий (сын) бывал у Давыдовой на журфиксах или просто приезжал к завтраку или обеду.

Узнав о смерти Александры Аркадьевны, он прислал великолепный венок и приехал 25 февраля на вечернюю панихиду.

О принце Жорже Куприн раньше не слыхал. Произошло нелепое недоразумение.

Увидев в передней громадного роста военного, Александр Иванович решил, что это, наверное, явился пристав опечатать имущество покойной. Он заступил Мекленбург-Стрелицкому дорогу.

— Сейчас начнется панихида, — сказал Куприн, — будьте так любезны прийти завтра в десять часов утра. Тогда и опечатаете, что нужно...

Не глядя на Куприна, Мекленбургский сбоку, молча, обошел Александра Ивановича и направился к раскрытой настежь двери, где началась служба.

Впоследствии многие узнали об этом эпизоде и смеялись над тем, что Куприн после многих лет военной службы не мог отличить командира гвардейского полка от пристава.

Хоронил А. А. Давыдову весь литературный и музыкальный Петербург[4]. В день похорон, утром, приехал год живший в Тифлисе ее больной сын Николай Карлович, которого Вера Дмитриевна вызвала телеграммой. Он успел только проститься с матерью. Проводить ее на кладбище в двадцатипятиградусный мороз не мог.

На похоронах А. А. Давыдовой Куприн познакомился с Федором Дмитриевичем Батюшковым.

После похорон нам пришлось расстаться с нашей комнатой у столяра и поселиться вместе с больным братом, которого нельзя было оставлять одного. Это было тем более необходимо, что тетя Вера собиралась вернуться в Москву к своей сестре.

Начались томительные совещания с юристами, касавшиеся утверждения завещания. Оно было составлено не нотариальным, а домашним порядком, и для утверждения его судом полагался шестимесячный срок. Между тем материальное положение издательства было шаткое, в чем Александра Аркадьевна при жизни не давала себе ясного отчета. После смерти старшей дочери и во время своей болезни она совсем не вникала в материальные дела журнала и составила себе ложное представление

о его доходности. Ангел Иванович, чтобы не волновать ее, поддерживал это заблуждение. И на этом основании Александра Аркадьевна завещала ряд очень крупных пожертвований: Литературному фонду тридцать тысяч рублей на стипендии своего имени, еще двадцать тысяч распределила между разными лицами. Кроме этого, было очень много мелких выдач на общую сумму десять тысяч рублей.

Издательство было завещано мне, и сонаследниками моими являлись А. И. Богданович и мой брат Н. К. Давыдов. Обязательства выплатить все вышеуказанные пожертвования возлагались на меня.

Юристы, рассмотрев документы, выяснили, что во время составления завещания Александра Аркадьевна располагала только подписными журнальными суммами и личных, не зависящих от этих сумм средств, кроме пенсии[5], не имела. Последние же годы она производила большие траты из подписных денег, что неблагоприятно отразилось на материальном положении издательства. Произвести выдачи, указанные в завещании, немедленно оказалось невозможным, так как в дальнейшем не на что было бы продолжать журнал.

— Я отказываюсь проводить в суде это завещание, которое считаю просто растратой, — резко заявил известный в то время юрист О. О. Грузенберг. — От лица всех нас присутствующих здесь юристов могу посоветовать вам только одно, — обратился он ко мне и Александру Ивановичу, — отказаться от завещания. В этом случае вы не будете нести за него ответственность.

— Что же тогда будет с издательством? — спросила я.

— Счет покойной издательницы в банке будет арестован. Денег на все выдачи не хватит, и объявят несостоятельность.

— Знаете что, Ангел Иванович, — обратился Куприн после совещания к Богдановичу, — пошлем мы к черту и даже еще подальше всех мудрых юристов и завтра без них решим, что нам делать. Я человек журналу посторонний и очень мало знал Александру Аркадьевну. Но я уверен, что Мария Карловна не захочет, чтобы память ее матери была запятнана обвинением в растрате, как это высказал Грузенберг. Нельзя же нам из боязни ответственности губить большое литературное дело.

Ангел Иванович молча пожал ему руку.

При жизни Александры Аркадьевны вышли в свет две первые книжки журнала, третья — мартовская — находилась еще в типографии. Следующую, апрельскую, без разрешения Главного управления по делам печати типография отказалась набирать. Такое положение для периодического издания было равносильно его приостановке, и это неизбежно должно было катастрофически отразиться на полугодовой подписке.

Я отправилась к своему знакомому Николаю Александровичу Агапову — правителю канцелярии Главного управления по делам печати (он был женат на моей гимназической подруге). Он мог дать мне толковый совет. Так и случилось.

— Да зачем же вам хлопотать об утверждении вас издателем, когда вы можете просить разрешить вам подписывать журнал за издателя впредь до утверждения вас в правах наследства. Вот и все. Я думаю, что это дело пройдет.

Он оказался прав. Через несколько дней я получила извещение о том, что мое ходатайство удовлетворено и мне надо взять в Главном управлении формальное разрешение. Там Н. А. Агапов доверительно сообщил мне:

— Когда я доложил начальнику Управления Бельгардту о вашем ходатайстве, он, потирая руки, сказал: «Вот прекрасный предлог прекратить этот вредный журнал, на который правительство давно косится. Никакого временного разрешения я ей не выдам». — «Да это было бы, конечно, очень хорошо, ваше превосходительство, — сказал я ему, — если бы приостановка журнала без законной причины не повлекла за собой разорения всего издательства. А так как, кроме частных лиц, здесь завещана очень большая сумма благотворительному учреждению — Литературному фонду, в правлении которого сидят такие лица, как Кони, Спасович, Таганцев и другие влиятельные юристы, то они немедленно предъявят вам иск об убытках. И любое не понравившееся им решение они, конечно, обжалуют в сенате».

Бельгардт задумался, постучал пальцами по столу и сказал: «Пожалуй, лучше с ними не связываться. Они большие кляузники. Что ж, посмотрим, как новые люди поведут журнал. Если физиономия журнала не изменит-

ся, то мы в будущем постараемся найти законную причину, чтобы его закрыть».

Итак, мы решили, больше не советуясь с юристами, продолжать журнал.

Сонаследников нас было трое, и ни один из нас не мог по своему усмотрению распоряжаться средствами издательства. Поэтому смета, составленная Богдановичем, была для нас обязательной. Долг издательства в шестьдесят тысяч, конечно, оставался долгом, но в конце года, когда суд утвердит завещание, некоторые выплаты можно было отсрочить. Кроме того, представилась возможность заключения частного долгосрочного займа. Мы понемногу начали успокаиваться, работа вошла в норму: выпустили мартовский номер журнала, сдали в набор весь апрельский. При создавшихся условиях отказываться от работы в «Мире божьем» Куприн уже не мог и вынужден был расстаться с «Журналом для всех».

Но так как «беда не живет одна», то и наши мытарства далеко еще не кончились. В марте 1902 года редактор «Мира божьего» Виктор Петрович Острогорский скоропостижно умер. Он был уже очень стар и последние годы ставил свою подпись под журналом, не читая его. Надеяться на то, что станет редактором Богданович и займет то положение, которое по праву принадлежало ему, было невозможно вследствие революционного прошлого Ангела Ивановича.

В восьмидесятых годах Богданович был военным судом приговорен к заключению в крепости, а затем к ссылке. В Петербурге он находился под надзором полиции и в 1899 году после студенческих беспорядков был арестован, и ему вновь грозила ссылка. Александра Аркадьевна предприняла энергичные хлопоты, и благодаря своим связям ей удалось его выручить. Ясно, что ни издателем, ни редактором Богдановича никогда бы не утвердили. Поэтому становится понятным, что Александра Аркадьевна после смерти своей старшей дочери не могла передать издательство Богдановичу, а должна была завещать его мне, несмотря на то, что я еще была несовершеннолетней.

Вопрос о приглашении редактора для журнала «Мир божий» был очень сложный. Новый редактор должен был считаться с многолетними заслугами и авторитетом Богдановича, сработаться с остальными членами редак-

ции и в то же самое время фактически, а не номинально возглавлять журнал. По мнению членов редакции, таким редактором мог быть профессор истории всеобщей литературы Федор Дмитриевич Батюшков. Но он вначале категорически отказался от нашего предложения. Только через некоторое время, благодаря влиятельному вмешательству В. Г. Короленко, Батюшков решился дать свое согласие стать редактором.

Члены старой редакции возбудили вопрос и о том, что, кроме нового ответственного редактора, следует пригласить в отдел беллетристики и А. И. Куприна.

ГЛАВА XI

Куприн — член редакции «Мира божьего». — «Санин». — «В казарме». — В ресторане Палкина.

Куприн вошел в состав редакции «Мира божьего». Произошло некоторое перераспределение внутриредакционной работы. Отдел беллетристики распределился между Батюшковым, Богдановичем и Куприным.

И хотя сотрудники журнала продолжали считать фактическим редактором «Мира божьего» Богдановича, наступило время, когда Ангел Иванович должен был поступиться своей властью, которую он раньше разделял только с Александрой Аркадьевной Давыдовой — издательницей журнала.

Все ближайшие сотрудники понимали, что дело тут не в Куприне, а в Батюшкове, который на первом же редакционном собрании заявил, что он, подписывая «Мир божий», берет на себя полную ответственность за журнал, поэтому должен быть осведомлен о всех поступающих в редакцию материалах, ему должно принадлежать право вето.

Редакционным днем был вторник. По вторникам сотрудники журнала собирались в редакции к двум часам дня, в остальные дни к четырем часам, кроме Ангела Ивановича, который как заведующий редакцией бывал ежедневно с двух часов.

На одном из редакционных совещаний, незадолго до нашего отъезда в Крым, А. И. Богданович вытащил вдруг из стола толстую рукопись.

— В прошлую среду заходил Арцыбашев и оставил рукопись романа «Санин». Я немножко просмотрел его. Александр Иванович, может, возьмете?

— А ваше мнение, Ангел Иванович? — спросил Куприн.

— Я слишком бегло просмотрел рукопись...

Прочитав роман, Александр Иванович говорил мне: «Роман интересен, но, конечно, редакция «Мира божьего» вряд ли согласится печатать его».

На следующем редакционном совещании Куприн дал отзыв о «Санине».

— Арцыбашев — молодой писатель. Отдельные страницы романа печатать не следует и говорить с автором придется много, но в общем интересно, оригинально и очень талантливо.

А. И. Богданович выразил общее мнение редакции:

— Печатать роман невозможно. Натурализм некоторых сцен граничит с порнографией, а главное — роман упадочнический и не соответствует данному политическому моменту, когда передовое общество настроено революционно.

Рукопись была возвращена автору.

Спустя три года вышел купринский «Поединок». Арцыбашев обнаружил, что Александр Иванович дословно вставил в «Поединок» большой абзац из «Санина». Он написал Куприну резкое письмо. Александр Иванович был этим очень огорчен. Но в конце концов ему удалось убедить Арцыбашева, что если он это и сделал через три года, то совершенно невольно. После выяснений и объяснений между ними установились дружеские отношения.

* * *

В большой квартире, которую Александра Аркадьевна занимала вместе с редакцией, мы с Александром Ивановичем поместились в комнате моей тетушки, уехавшей в Москву.

Как и раньше, Куприн свои занятия распределил так, чтобы вечер оставался свободным. И, временно прерванные, наши беседы возобновились.

— Слушай меня внимательно, Машенька, — однажды вечером сказал мне Александр Иванович. — Думай только о том, что я говорю, и, пожалуйста, смотри только

А. А. Давыдова, Муся Давыдова (М. К. Куприна-Иорданская), Л. К. Давыдова, С. Я. Надсон, О. Ф. Гувале, М. В. Ватсон.

на меня, а не по сторонам. Я закрою дверь, а то забредет к нам дядя Кока и помешает. Ежели попросить его уйти — он обидится.

Так вот. — Он несколько раз крепко потер голову руками. — Я скажу тебе то, чего никому еще не говорил, даже Бунину. Я задумал большую вещь — роман. Главное действующее лицо — это я сам. Но писать я буду не от первого лица, такая форма стесняет и часто бывает скучна. Я должен освободиться от тяжелого груза впечатлений, накопленного годами военной службы. Я назову этот роман «Поединок», потому что это будет поединок мой, поединок с царской армией. Она калечит душу, подавляет все лучшие порывы человека, его ум и волю, унижает человеческое достоинство.

Простить этого нельзя!..

Всеми силами моей души я ненавижу годы моего детства и юности, годы корпуса [1], юнкерского училища [2] и службы в полку. Обо всем, что я испытал и видел, я должен написать. И своим романом я вызову на поединок царскую армию. Конечно, единственный ответ, какого удостоится мой вызов, будет запрещение «Поединка», он, наверно, никогда не выйдет в свет.

А все-таки я напишу его.

Александр Иванович встал и молча начал ходить по комнате.

— Как тебе кажется, Машенька? — наконец спросил он. — Это будет крепко закручено... Ты не боишься за меня?.. А теперь я прочту тебе небольшую главу, — может быть, она войдет в «Поединок».

Это была глава, в которой ефрейтор Верещака собрал «молодых» и «репетил» с ними словесность *.

«— Архипов!.. Кого мы называем унутренними врагами?..

Неуклюже поднявшийся Архипов упорно молчит, глядя перед собой в темное пространство казармы. Дельный, умный и ловкий парень у себя в деревне, он держится на службе совершенным идиотом. Он не понимает и не может заучить наизусть самых простых вещей.

— Пень дубовый! Толкач! Верблюд! Что я тебя

---

* Эта глава, как отдельный рассказ «В казарме», была напечатана в 1903 году в сборнике «Помощь в пользу ссыльных и заключенных». *(Прим. автора.)*

спрашиваю? — горячится Верещака. — Повтори, что я тебя увспросил, батькови своему сто чертей!..

— Враги...

— Враги! — передразнивает ефрейтор. — Совсем ты верблюд, только у тебя рогов нема. Какие враги, чертяка собачья.

— Внешни...

— У-у, ссвол-лочь! — шипит сквозь стиснутые зубы Верещака. — Унутренние!..

— Нутренни...

— Ну?

— Враги.

— Вот тебе враги!

Архипов вздрагивает головой, нервно кривит губами и крепко зажмуривает глаза.

— Так и стой усе время, стерво! — говорит ефрейтор, потирая руку, занывшую в локте от неловкого удара. — И слухай, что я буду говорить. Унутренними врагами называются усе сопротивляющиеся российским законам. Ну и, кроме того, еще злодеи, конокрады и которые бунтовщики, евреи, поляки, студенты *. Повтори, Архипов, усе, что сейчас сказал».

— Вот пока глава, которую я наметил для моего будущего романа, — после небольшой паузы сказал Александр Иванович. — Понравилась она тебе, Машенька?

Александр Иванович читал, с большим юмором оттеняя нелепые и невежественные слова Верещаки, которые нельзя было слушать без смеха. И с этих пор в наш семейный обиход вошло говорить друг другу: «Вижу я, что ты уже начинаешь старацца» (слова Верещаки, когда угодливый новобранец угощает его водкой в трактире).

— Но роман, Маша, это еще дело будущего, — вернулся Александр Иванович к началу разговора. — Прежде чем серьезно приступить к этой работе, я должен еще многое обдумать. А пока у меня несколько хороших тем для рассказов, которые надо написать, чтобы к будущей зиме подготовить материал для сборника.

Осенью, когда я с Буниным был у Пятницкого, он говорил нам, что, если издательство «Знание» всецело

---

* Слова «евреи, поляки, студенты» редакция сборника из рукописи вычеркнула. *(Прим. автора.)*

перейдет в руки его и Горького, оно будет реорганизовано. Горький уже наметил широкий план издания художественной литературы. Среди тех беллетристов, которых он хочет привлечь в «Знание», имеется и мое имя.

Если же, паче чаяния, нынешние члены товарищества «Знание» не захотят устраниться и передать все дело Горькому, я буду издаваться у Поповой. На днях, когда я был у Маминых, я застал там Ольгу Николаевну — она ведь издает сочинения Дмитрия Наркисовича. Она была со мной очень любезна и пригласила зайти к ней для делового разговора — переговорить об издании моего сборника рассказов. Думаю, что следует с ней повидаться, но пока не связывать себя с ее издательством никакими обязательствами. Подождем до осени.

* * *

В один из зимних приездов Бунина в Петербург Куприн, Иван Алексеевич и я зашли вечером в ресторан Палкина.

Народу в зале было много, столики все заняты, и нам пришлось сесть за столик у зеркальной стены. Справа от меня Куприн, слева — Бунин.

У противоположной зеркальной стены, напротив меня, за длинным столом ужинали восемь офицеров.

Увидев меня, они разыграли такую сцену: двое, которые сидели по краям стола и не отражались в нашем зеркале (их могла видеть только я), вставали, поднимали бокалы и пили за мое здоровье. Потом эти места занимали двое других офицеров и проделывали то же самое.

Я заволновалась. В конце концов, это могло кончиться скандалом. Куприн, опустив голову, что-то рассказывал нам. Я глазами показала Бунину на офицеров. Чтобы не поворачиваться к ним лицом, Иван Алексеевич уронил салфетку, наклонился за ней и наискось в зеркало увидел эту пантомиму. Он тоже забеспокоился и через несколько минут сказал:

— Что-то мне сегодня не нравится у Палкина.

— А у меня голова болит. Пойдемте лучше на воздух, — предложила я.

Подходя к нашему дому, мы все-таки не выдержали и рассказали Александру Ивановичу, почему мы ушли из ресторана.

— Как?! Вы сделали это умышленно? Я сию минуту возвращаюсь обратно.

— К чему это, Саша? Перестань.

Некоторые исследователи творчества Куприна считают, что этот эпизод послужил Куприну внешним толчком для написания повести «Поединок». Это неверно. «Поединок» был подготовлен военными рассказами, написанными Куприным в течение нескольких лет, еще до приезда его в Петербург.

ГЛАВА XII

Куприн о Вдовьем доме. — Часы — подарок Куприна. — Поездка в Москву. — Знакомство с матерью Куприна. — В Коломне. — Возвращение в Петербург. — Переезд на новую квартиру.

Приближалась последняя неделя поста, и после дня моего рождения мы собирались на несколько дней в Москву. Александр Иванович хотел познакомить меня со своей матерью и сестрами.

— Теперь, Маша, когда ты скоро увидишься с моей матерью, я расскажу тебе о моем детстве, и ты поймешь, что, несмотря на то, что мы с ней крепко любим друг друга, между нами иногда вспыхивают жестокие ссоры.

Я бываю резок и несправедлив, говорю матери обидные вещи, после которых долго мучаюсь и не знаю, как загладить свою вину.

Мои первые воспоминания детства относятся к Вдовьему дому, где поселилась моя мать после смерти отца. Мне тогда было около четырех лет.

Моя мать была единственной молодой женщиной, попавшей в этот дом, все окружавшие меня были пожилые женщины или старухи. Говоря о них, мать всегда называла их «вдовушками». Меня они баловали. Все они были очень богомольные и постоянно говорили о божественном. Меня они не только учили молитвам, но и рассказывали мне длинные истории о святых и угодниках. Я слушал с живейшим интересом и воспринимал как занимательнейшие сказки истории о пророке Данииле, который жил во рву львином, о семи отроках, которые в пещи огненной пели и плясали, о пророке Илье, который

Л. А. Куприна.

любит часто кататься по небу в огненной колеснице, и тогда сверкает молния и гремит гром. Так же занимательны были рассказы об отшельниках. Все они были невероятно страшны, конечно, без одежды и покрыты длинной шерстью. Одни питались акридами и диким медом, другим же пищу носили вороны и прочие птицы. Рассказы о святых мучениках и их мучениях я не любил. Они действовали мне на нервы: я плохо спал по ночам, начинал кричать и плакать, так же как тогда, когда рассказывали про ад, — его я очень боялся.

Мать не любила эти рассказы, но ничего поделать не могла: она не хотела обижать вдовушек.

Когда я немного подрос, мать брала меня с собой к своим богатым пензенским подругам, жившим с мужьями в Москве. В семьях этих были и дети, некоторые старше меня.

Я очень рано привык к тому, что я некрасив. В гостях я постоянно слышал об этом от бонн, прислуги и старших детей. Так же очень рано я понял и то, что я беден. Мать шила мне костюмчики из своих старых юбок, шила она их неумело, и они безобразным мешком висели на мне. Притом она делала их еще и навырост. Я казался в них неуклюжим и неловким. Дети недружелюбно-критически осматривали меня. Бедность рано изощряет детскую наблюдательность. Каждый косой, иронический взгляд меня болезненно колол. Я стыдился своего платья, своей наружности.

Скоро я заметил, что и моя мать в этих домах держала себя искательно и приниженно. Она неумеренно восхищалась безобразными, глупыми, капризными и противными детьми хозяев (совсем не все дети хороши и приятны только потому, что они дети). Хвалила она их из угодливости, заискивая перед родителями. Я так и слышу какой-то неестественный голос моей матери, говорящей хозяйке дома: «Ах, ваша Сонечка, какой она очаровательный ребенок. Ее нельзя не любить. Какой у нее прелестный фарфоровый цвет лица и как она грациозна! Когда она вырастет, наверно будет красавицей. А Петя! Какой находчивый и способный мальчик. Ведь ему всего шесть лет, а сколько стихов он знает наизусть. Я так люблю его слушать».

Но самым мучительным для меня были обеды в гостях. Мать, хорошо изучившая вкусы хозяйских детей,

окинув взглядом подаваемые кушанья и их количество, сразу решала, что мне следует не любить. «Саша не любит сладкое. Он почти никогда его не ест». Это была правда, я видел его очень редко. «Ему, дорогая Анна Павловна, положите только маленький кусок яблочного пирога. Вот эту горбушечку», — указывала мать на кусок корки без начинки.

И еще говорила она постоянно уменьшительными словами, входившими в обиход обитательниц Вдовьего дома. Это был язык богаделок и приживалок около «благодетельниц»: кусочек, чашечка, вилочка, ножичек, яичко, яблочко и т. д. Я питал и питаю отвращение к этим уменьшительным словам, признаку нищенства и приниженности.

Бедность сломила от природы независимый и гордый характер моей матери. Старших сестер надо было устраивать на стипендии в институт, меня в сиротский пансион, а потом на казенный счет в корпус и военное училище. Каких унизительных хлопот ей это стоило и как должно было страдать ее самолюбие! Но я понял это только впоследствии. А ребенком во мне вспыхивала острая ненависть к ней, когда в гостях она вместе с хозяевами дразнила меня и смеялась надо мной с моими обидчиками. И долго после этого я считал мою глубокую любовь к ней оскорбленной и поруганной.

Каждый раз, когда я вспоминаю об этих ранних впечатлениях моего детства, боль и обида вновь оживают во мне с прежней силой. Я опять начинаю недоверчиво относиться к людям, становлюсь обидчивым, раздражительным и по малейшему поводу готов вспылить.

Но не огорчайся, Машенька, такое настроение скоро с меня соскакивает. И если ты не будешь на меня сердиться, а подойдешь ко мне и, ласково погладив по голове, скажешь: «Собачка, засмейся», — я начну радостно скакать и преданно горячим языком облизывать твое лицо.

* * *

На день моего рождения, 25 марта — праздник благовещенье — Александр Иванович решил сделать мне подарок. Перед тем он совещался с моим братом, Николаем Карловичем, который сказал, что хочет подарить мне небольшие дамские золотые часы. «Нет, часы по-

дарю я, — сказал Александр Иванович, — а ты купи красивую цепочку». На этом они и порешили.

Утром в спальню поздравить меня вошел Александр Иванович.

— Посмотри, Машенька, мой подарок, как он тебе понравится, — сказал он, вынимая из хорошенькой голубой фарфоровой шкатулки часы. — Я не хотел дарить тебе обыкновенные золотые часы и нашел в антикварном магазине вот эти старинные.

Часы были золотые, покрытые темно-коричневой эмалью с мелким золотым узорным венком на крышке.

— Обрати внимание на тонкую работу узора на крышке, с каким замечательным вкусом сделан рисунок, — говорил Александр Иванович.

Я молча разглядывала подарок, он, стоя рядом со мной, нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— Что же ты ничего не говоришь? — наконец, спросил он.

— Часы очень красивы, но они совсем старушечьи. Должно быть, их носила чья-то шестидесятилетняя бабушка, — засмеялась я.

Александр Иванович изменился в лице. Ни слова не говоря, он взял у меня из рук часы и изо всей силы швырнул их об стену. И когда отлетела крышка и по всему полу рассыпались мелкие осколки стекла, он наступил каблуком на часы и до тех пор топтал их, пока они не превратились в лепешку. Все это он делал молча и так же молча вышел из комнаты.

— Вот мой подарок. Это для твоих новых часов, — сказал мне брат, когда я вошла в столовую, и протянул мне цепочку.

— Часов уже нет, — ответила я и рассказала, что с ними случилось. Выслушав меня, брат кратко произнес:

— Ослица!..

Александр Иванович любил бывать в антикварных магазинах. Но больше нравились ему скромные, торговавшие древностями лавки. Там можно было, не спеша рассматривая старый фарфор, китайские слоновой кости фигурки, куски парчи, вышитые бисером вещи, вдоволь поговорить со словоохотливым хозяином. Больше всего привлекали его внимание золотые и серебряные женские украшения. Так нашел он и те злополучные часы, которые подарил мне в день рождения.

* * *

Теперь, когда никаких затруднений с Главным управлением по делам печати, а также и с банками не могло возникнуть, Богданович с миром отпустил нас навестить родственников, однако предупредив, чтобы в Москве мы долго не задерживались.

В Москву мы приехали рано утром в среду на страстной неделе и остановились в «Лоскутной гостинице».

— К маме мы поедем в четыре часа, — сказал Александр Иванович. — Утром она будет до двенадцати в церкви, потом ранний обед, после которого она отдыхает, а в четыре часа пьет чай. В это время она бывает в самом лучшем расположении духа...

День был теплый и солнечный — чувствовалось приближение весны, и мы отправились бродить по Москве, которую я знала только по редким наездам. Александру Ивановичу доставляло громадное удовольствие водить меня по своим любимым улицам и кривым переулкам, в глубине которых стояли старые, покосившиеся дворянские особняки с мезонинами и облупленными, похожими на пуделей, львами у ворот.

— А вот здесь, в третьем этаже, — указал мне Александр Иванович на один дом, — жил Лиодор Иванович Пальмин. Ты не можешь себе представить, с каким трепетом я поднимался в его квартиру по грязной крутой лестнице. Бедный терпеливый старик, как я надоедал ему, еженедельно притаскивая мои стихи и прозу, которые он добросовестно читал и пытался куда-нибудь протиснуть. Сейчас пройдем на Знаменку, там ты увидишь Александровское военное училище, где впервые я предавался «творческому вдохновению» и наконец достиг и литературной славы — в «Русском сатирическом листке» был напечатан мой рассказ, за который, как тебе известно, меня посадили на двое суток в карцер и под угрозой исключения из училища запретили впредь заниматься недостойным будущего офицера «бумагомаранием». Вот и большое желтое здание училища.

Любопытно было бы опять взглянуть на длинный коридор с гимнастическими аппаратами, громадный зал, классы, дортуары. Внизу был первый курс, наверху второй...

Нет. Лучше пока не возвращаться к воспоминаниям о годах моей юности в юнкерском училище, — говорил Александр Иванович, — в них было слишком много горечи и мало радости.

Мы идем дальше и заходим в большой колониальный магазин на Тверской. Александр Иванович покупает для матери сотового меду и антоновских яблок, которые она особенно любит.

— Я вижу, ты устала, Машенька, возьмем извозчика, пора ехать к маме, — говорил он.

На Кудринской площади высится издалека видное громадное старинное здание, с колоннами по фасаду. В теплой, по-казенному величественной передней красуется, как монумент, в своей красной с черными орлами ливрее швейцар Никита, который знал Куприна еще с четырехлетнего возраста.

— С супругой прибыли, — здороваясь, осклабился швейцар. — Давненько у нас не были.

— А помнишь, Никита, как ты драл меня за уши?

— А то как же, уж очень озорные вы были, Александр Иванович, как недоглядишь, насыплете старушкам в калоши мусору.

— Да, было такое дело, — подтверждает Александр Иванович, и оба смеются.

Мы поднимаемся по лестнице и проходим через целый ряд больших комнат.

Любовь Алексеевна — небольшого роста, сухонькая, живая старушка в темном платье, с черной кружевной наколкой на волосах, не вполне еще седых, и с острым взглядом живых, еще молодых глаз. Она обнимает меня, несколько раз крепко целует и плачет.

— Конечно, первым долгом слезы, без этого нельзя,— говорит нарочито весело Александр Иванович. — Ты лучше посмотри на нее как следует и скажи откровенно: нравится тебе моя жена?

— Ты всегда меня спрашиваешь глупости, Саша; как может мне не понравиться твоя жена — девушка, которую ты выбрал себе в жены... — с негодованием, сквозь слезы отвечает она. Он нежно прижимает мать к себе.

— Посмотри, вот и Маша тоже начала слезиться. А для «вдовушек» какое упоительное зрелище наши родственные сантименты.

— Да, правда, правда,— Любовь Алексеевна торопливо утирает слезы,— пойдемте ко мне.

Она просит горничную принести кипятку, заваривает чай, выкладывает на тарелки яблоки и сотовый мед.

— Как Зина? Соня?— спрашивает Александр Иванович о сестрах.

— Все по-старому,— вздыхает Любовь Алексеевна.— Зина бьется как рыба об лед. Денег мало, детей четверо, обо всех надо позаботиться, накормить, обшить младших, со старшими репетировать уроки, а Станиславу Генриховичу и горя мало. Домой заглянет ненадолго и опять закатится... Будто бы в лесу должен быть все время. Знаем мы, какой это лес...

— Ты несправедлива, мама,— говорит Александр Иванович.— Он лесничий, страстно любит лес и охоту, а Зина — наседка и не хочет понять, что его интересы не ограничиваются только семьей.

— Зина — «наседка»! — вскипает Любовь Алексеевна.— И ты это говоришь, защищаешь его. Зина — мученица, она святая женщина!..

— Ты всегда все преувеличиваешь, мама, — смеется Александр Иванович.

— Не буду лучше ничего говорить, увидите сами, какая Зинина жизнь,— обращается она ко мне.— Ну, да и Сонин муж не лучше,— машет она рукой.

Прощаясь, она опять долго целует меня и шепчет на ухо: «Любите моего Сашу, он хороший, он нежный и добрый, мой Саша».

На другой день мы уезжаем в Коломну к сестре Александра Ивановича, Зинаиде Ивановне Нат.

Коломна тонула в грязи весенней распутицы. Из дома в дом можно было пройти только по шатким мосткам, а через улицу перебираться по скользкой узкой доске. Поэтому все жители сидели по своим домам, и Зину навещали только самые любопытные соседки, узнавшие, что к ней приехали с визитом «молодые».

Мужа Зины, лесничего Станислава Генриховича Ната, мы не застали дома. Он должен был вернуться дня через три, после объезда находившихся в его ведении громадных лесов Зарайского уезда. Обо всех семейных делах переговорили в первый же день, и Александр Иванович

начал скучать. Под самый праздник, наконец, вернулся Нат. По его словам, охота на глухарей, что главным образом интересовало Куприна, приходила к концу. Таяние снегов в этом году началось рано, везде большие топи, и многие площади леса сейчас недоступны. На пасхальной неделе найти проводника — дело безнадежное, все лесники и объездчики будут пьянствовать.

Надежды Александра Ивановича на охоту рушились, и задерживаться дольше в Коломне, несмотря на приезд Любови Алексеевны, не имело смысла.

У старшей сестры Софии Ивановны Можаровой, жившей в Троице-Сергиевском посаде, мы провели только день. На пасхальной неделе собор и все церкви были переполнены молящимися, протиснуться внутрь храмов можно было с величайшим трудом. О внимательном осмотре стенной живописи, старинных икон, исторических и религиозных реликвий нечего было и думать.

— Все это я покажу тебе, Маша, когда мы приедем сюда зимой и проживем недели две, — говорил Александр Иванович, — а сейчас оставаться здесь бесполезно, поедем скорее домой.

Ангел Иванович Богданович встретил нас новостью:

— Вы должны, Мария Карловна и Александр Иванович, немедленно начать искать квартиру для себя и для редакции. Хозяин дома требует через две недели очистить помещение, возобновлять с вами контракт он не желает.

Найти подходящую квартиру было нелегкой задачей. С десяти утра и до шести вечера мы обходили все прилегавшие к центру улицы. Но там, где квартира нам нравилась, редакцию и контору журнала не пускали. «У нас жильцы все благородные — генералы и статские советники, а к вам в контору всякий люд начнет ходить, лестницу, ковры топтать», — говорили швейцары и управляющие.

Затягивало наши поиски еще и то, что Куприн любил подолгу беседовать со словоохотливыми старыми швейцарами и старшими дворниками о жильцах, их наружности и привычках. К моему счастью, молодые швейцары были важны и сдержанны.

Наконец у Пяти углов на Разъезжей, в трехэтажном доме, мы нашли большую, удобную квартиру. Внизу, в первом этаже, помещалась аптека, во втором — редакция, а третий занимал владелец аптеки. Таким образом,

вся лестница принадлежала только двоим жильцам. В редакции все были очень довольны, что соглядатая — швейцара не имеется.

Переезд на новую квартиру и устройство материальных дел журнала задержали нас весь апрель в Петербурге. Уехать в Крым оказалось возможным только во второй половине мая.

За несколько дней до нашего отъезда Пятницкий позвонил по телефону Куприну, прося его зайти в «Знание». Константин Петрович сообщил, что переговоры с пайщиками «Знания» закончены и с осени он и Горький становятся единственными владельцами издательства. Поэтому надо немедленно приступить к осуществлению выработанного Горьким плана издания художественной литературы, а так как в план этот входит издание первого тома рассказов Куприна, то представить материал для книги следует возможно раньше.

— Составим сейчас же примерное содержание вашего первого тома, — предложил Пятницкий, — и я отправлю его на утверждение Алексею Максимовичу.

— Застигнутый врасплох, — рассказывал мне Александр Иванович, — я не имел времени даже немного подумать. К «Молоху» и большим рассказам я прибавил только «Allez!», «Лолли» и «Поход». От «Олеси» я отказался, зная мнение Чехова об этой повести, как о юношески-сентиментальной и романтической вещи.

— Тогда оставим «Олесю» для второго тома, — сказал Пятницкий, — а к осени напишите два-три новых рассказа.

На этом мы и порешили.

ГЛАВА XIII

Лето 1902 года в Мисхоре. — На пароходе «Ксения». — Соседи Кульчицкие, Ростовцевы. — Как работал Куприн. — «Трус». — «На покое». — Проводы Л. Н. Толстого. — Моя болезнь. — «Сплюшка». — Возвращение в Петербург.

В Севастополь поезд пришел с большим опозданием, вместо утра около двух часов дня. Ехать восемьдесят верст в экипаже до Мисхора в жару, по пыльному шоссе нас не прельщало, и мы решили отправиться в Ялту на пароходе «Ксения», готовившемся к отплытию.

Море, за бухтой покрытое белыми барашками, было неспокойно. «Будет сильно качать, особенно у Тархан-Кута. Может быть, лучше до завтра остаться в Севастополе?» — предложил Александр Иванович. Но я убедила его, что морской болезни не боюсь. И даже в бурную погоду меня не укачивает.

Охотников ехать оказалось немного. Александр Иванович достал отдельную каюту. Однако в помещении было очень душно, и мы заняли места на палубе. Вскоре к нам подошел проверить билеты помощник капитана — толстоногий молодой брюнет в белом коротком кителе.

— Мадам может укачать. Есть ли у вас каюта? — слащаво-любезным тоном обратился он к Александру Ивановичу.

— Благодарю вас, каюта у нас есть, — коротко ответил Куприн, и помощник капитана пошел дальше.

— Посмотри, Маша, — через некоторое время сказал Александр Иванович, — как этот восточный красавец увивается около молодой пассажирки в светлом костюме и шляпе канотье. Не помню, рассказывал ли я тебе историю, которая случилась в одной известной мне семье, жившей в Одессе: молодая женщина ехала на пароходе в Ялту к больному мужу. Помощник капитана заманил ее в свою каюту и там изнасиловал.

Правда, это неплохая тема для небольшого газетного рассказа?

Через пять лет — в 1908 году — Куприн написал рассказ «Морская болезнь». Он был напечатан в редактируемом Арцыбашевым сборнике «Жизнь».

В Мисхоре уже жил мой брат Николай Карлович, на даче, которую после смерти своей матери получил в наследство. Дача находилась на арендованной земле, принадлежавшей графу Шувалову. В то время Мисхор еще только начинал застраиваться. Лишь три года, как эта часть шуваловского имения была разбита на арендные участки, и пока здесь стояли всего четыре дачи.

Внизу, на берегу моря, возвышалась великолепная вилла Кульчицких, родителей моей подруги по курсам, недавно вышедшей замуж за молодого профессора классической филологии М. И. Ростовцева. С Ростовцевыми Александр Иванович был в приятельских отношениях.

Петербургскую столовую Ростовцевых в русском стиле Куприн описал в рассказе «Корь».

С родителями же — Кульчицкими, видно было уже в Петербурге, что отношения не наладятся.

Старик Михаил Францевич много лет был нотариусом в Нижнем Новгороде. Он вел дела местных купцов-миллионеров и пароходовладельцев. Нажив очень большое состояние, он продал свою нотариальную контору и ради дочери, убежавшей из родительского дома в Петербург на курсы, переселился в столицу, где зажил богатым, удалившимся от дел рантье.

Моя мать была знакома с семьей Кульчицких, и после нашей свадьбы Александру Ивановичу и мне пришлось быть у них на торжественном званом обеде. Хозяйка дома Вера Алавердовна держала себя с Куприным необыкновенно тонно. Как выражался Александр Иванович — «задавалась». Первым долгом она сообщила ему, что она старинного рода, урожденная Богатурова, предок ее, хан Богатур, — не то перс, не то армянин, не помню, кто именно, — в каком-то веке прибыл на службу к русскому царю и что по этому случаю она получила воспитание в Смольном институте на николаевском отделении. Туда принимали только дочерей столбовых дворян, тогда как на александровском отделении такого строгого ограничения не было.

Вслед за хозяйкой дома решил занять Куприна и старик Кульчицкий. «Я ведь хорошо знал в Нижнем вашего знаменитого теперь писателя Горького, — начал он. — Тогда Пешков был неотесанным полуграмотным парнем, которого взял к себе в рассыльные нотариус Ланин. Часто Пешков приносил мне бумаги от Ланина, и когда я бывал занят, то выходил в переднюю и говорил ему: «Подождешь здесь, пока я подпишу». И случалось, что Пешкову приходилось подолгу стоять у меня в передней. Правда, ему бывало не скучно, так как компанию ему составляли другие артельщики. Физиономия его не внушала симпатии — он был очень некрасив».

Видно было, что бывшему нотариусу доставляло громадное удовольствие в столь пренебрежительном тоне говорить о большом человеке, чей талант неизмеримо возвысил его над толпой. Злобная зависть душила мелких, пошлых обывателей.

Александр Иванович едва сдерживал себя, чтобы не наговорить хозяевам много неприятных истин.

Куприн прозвал Михаила Францевича «старым повытчиком». По внешнему виду он был очень похож на портрет гоголевского старого повытчика из альбома гоголевских типов — небольшого роста, круглый, как шар, лысый, с хитрыми глазами и носом пуговицей. Перед своей великолепной супругой он благоговел. Теперь в Мисхоре Кульчицкие были нашими ближайшими соседями.

Из нашей дачи, стоявшей на горе над виллой Кульчицких, несмотря на высокий каменный забор, окружавший их сад, сверху была видна вся их территория. Дача Кульчицких называлась «Дружба». Под этим названием металлической вязью было выведено «Добро пожаловать!». А рядом с главным входом на калитке укреплена дощечка с надписью: «Посторонним лицам вход строго воспрещается».

Дача наша была двухэтажная, кругом обнесенная широкими деревянными балконами. В нижнем этаже жил мой брат, «дядя Кока», как называл его Куприн. Наверху устроились мы с Александром Ивановичем. У нас была большая комната с открытой террасой, выходившей на море. В рассказе «Корь» Куприн описывает эту комнату.

«По утрам, когда он просыпался, ему не надо было даже приподымать голову от подушки, чтобы увидеть прямо перед собой темную синюю полосу моря, подымавшуюся до половины окон, а на окнах в это время тихо колебались, парусясь от ветра, легкие, розоватые, прозрачные занавески, и вся комната бывала по утрам так полна светом и так в ней крепко и добро пахло морским воздухом, что в первые дни, просыпаясь, студент нередко начинал смеяться от бессознательного, расцветавшего в нем восторга».

Вставал Александр Иванович очень рано, но в море утром не купался. Он любил заплывать далеко, а это перед работой расслабляло и утомляло. Поэтому утром принимал только душ. В нескольких саженях от дачи, по нашей границе с соседним, еще не застроенным участком, протекала горная река Салгир. Здесь из кадки, прикрепленной к толстой ветке росшего на берегу дуба, и садовой лейки Александр Иванович устроил душ. Вода в Салгире была холодная, и сейчас же после душа Куприн занимался гимнастикой на параллельных брусьях.

Их он тотчас по приезде заказал у работавших на соседней даче плотников. Через два дня плотники принесли какое-то странное деревянное сооружение, которое поставили во дворе.

— Это параллельные брусья для гимнастики, — объяснил мне Александр Иванович. — Вот выровняем площадки и укрепим их. Тогда я покажу тебе, сколько самых сложных гимнастических упражнений можно проделать на этих брусьях.

Человек должен развивать все свои физические способности. Нельзя относиться беззаботно к своему телу. Среди людей интеллигентных профессий я очень редко встречал любителей спорта и физических упражнений. А наши литераторы, на кого они похожи — редко встретишь среди них человека с прямой фигурой, хорошо развитыми мускулами, точными движениями, правильной походкой. Большинство сутулы или кривобоки, при ходьбе вихляются всем туловищем, загребают ногами или волочат их — смотреть противно. И почти все они без исключения носят пенсне, которое часто сваливается с их носа. Я уверен, что в интимные минуты они роняют свое пенсне на грудь любимой женщины, — засмеялся Александр Иванович. — А попробуй с ними заговорить о борьбе или о боксе. Борьбу как занимательное зрелище снисходительно допускают, но на бокс принято смотреть как на зверское, недостойное цивилизованного человека явление, которое следует искоренять. И не хотят понять, что бывают случаи, когда знание простейших приемов бокса может оказать неоценимую услугу. Таких примеров я могу привести тебе множество.

Вот что было со мной в Киеве.

Я поздно вечером возвращался домой. На улицах было темно и морозно. На одном из перекрестков из-за угла выскочил рослый дядя и потребовал у меня деньги, часы и пальто. В моем кошельке всего-навсего было несколько серебряных монет, и расстаться с ними мне было бы не жалко, часы находились в закладе, но своим единственным, хотя и сильно поношенным пальто с собачьим воротником я дорожил. Помнишь, я рассказывал тебе, как однажды целую ночь должен был проспать на этом пальто на полу, так как на моей кровати с удобством расположился громадный дог. Разумеется, пальто я решил не отдавать. Ты, может быть, думаешь, что я

начал кричать и звать городового. Ну, нет! Через две секунды предприимчивый дядя лежал на земле и вопил благим матом. И только когда я убедился, что как следует «обработал противника», как говорят боксеры, и он уже больше не боеспособен, я оставил его, сказав на прощание: «Будешь теперь знать, мерзавец, как отнимать у человека его последнее пальто...»

Вскоре мы получили телеграмму о приезде матери Александра Ивановича, и он отправился за ней в Ялту. Встреча со мной была очень сердечной. Но когда я назвала ее Любовь Алексеевной, она заметила:

— Мусенька, вы не должны называть меня так. Даже «вдовушки» после вашего отъезда долго судили и рядили о том, почему вы называли меня по имени и отчеству, а не «мамашей». Вы, должно быть, не знали, что сноха всегда называет свою свекровь матерью.

— Да, да, будем называть тебя «мамашей», — вставил Александр Иванович.

— Ты-то не смеешь говорить мне «мамаша», — строго сказала она ему.

— Теперь пора и за работу, довольно бездельничать, — после приезда Любови Алексеевны в Мисхор сказал Александр Иванович.

«Трус» был первый рассказ, написанный Куприным в Мисхоре, в котором Александр Иванович передает свои впечатления об игре нищих бродячих еврейских актеров. В своих странствиях по местечкам западного края они заходили и в Волочиск и Гусятин, где стоял 46-й армейский Днепровский полк, в котором служил Куприн. Там раскинулся поселок, густо населенный еврейской беднотой. Там в корчме, в винном погребке и в домах более зажиточных обитателей бродячие актеры давали представления. Среди них попадались и настоящие вдохновенные исполнители старинных еврейских мелодрам. Однажды Куприну случилось видеть такое представление: спившийся старик-актер вместе с подручным исполняли пьесу, нечто вроде еврейского «Короля Лира».

Старик-отец, давно потерявший сына, после долгих поисков находит его. Он просит сына приютить его, но получает отказ. Между ними происходит объяснение.

Для работы Куприн выбрал небольшую свободную комнату в нижнем этаже, с окном на север и спокойным видом на Ай-Петри. Здесь море не отвлекало его

внимания. Из комнаты он вынес всю мебель, оставив только стол, который выдвинул на середину, стул для себя, для меня кресло у окна, и большое зеркало из передней повесил на стене перед письменным столом.

— Пока я пишу, ты сиди тут же, в комнате, но мне отвечай только на вопросы. Сама не говори ни слова, что бы я ни делал. Сейчас начнем, — сказал Александр Иванович, весело потирая руки. — Обегу только три раза кругом дома.

Поведение Александра Ивановича меня удивило. Прежде чем писать, он проделывал целый ряд, на посторонний взгляд, странных телодвижений. Он то вставал и вновь бессильно опускался на стул, то, воздевая руки, трагически потрясал ими, то горестно качал головой, глядя в зеркало. При этом он полушепотом что-то говорил, изредка громко, с различной интонацией произнося отрывочные фразы.

— Нет, не так, слабо, — вдруг обрывал он, переделывал монолог и вставлял новые, по-иному звучавшие слова.

И мне казалось, что я вижу какую-то пантомиму, содержание которой мне неизвестно. Потом Александр Иванович объяснил мне, что усилием воли и памяти он должен перенести себя в обстановку рассказа, и, только вызвав в себе то настроение, какое владело им во время представления мелодрамы, он может писать о ней. Каждое движение, жест, выражение лица актера Цирельмана Куприн несколько раз повторял или изменял, в зависимости от того, насколько удачно он передавал в зеркале мимику Цирельмана.

— Посмотри, Маша, достаточно ли у меня угодливый вид. Обрати внимание, как он, хотя и сидит против Файбиша, но, слушая его, почтительно привстает и время от времени беспокойно двигает ногами под столом.

Пьеса имела шумный успех у зрителей.

— Цирельман, — рассказывал Куприн, — вспомнил старое актерское время и прошел вдоль погреба театральной походкой, с выпяченной грудью и гордо закинутой назад головой, большими шагами, совершенно так, как уходили, бывало, со сцены в ролях иноземных герцогов и предводителей разбойничьих шаек.

И Александр Иванович несколько раз именно так прошелся по комнате.

— Правда, у меня хорошо выходит, Маша? — спросил он. — Так и я всегда ходил по сцене, когда в театре в Сумах[1] играл Тигеллина[2] и кричал: «Подать сюда моих львов».

Рассказ был напечатан в «Журнале для всех» в январе 1903 года. Вскоре после этого Куприн получил письмо от Чехова. Между прочим Антон Павлович писал: «Был у меня Вересаев. Хвалил очень вашего «Труса».

Зимой в Петербурге, когда Вересаев был у нас, он говорил Александру Ивановичу, что из трех последних его рассказов лучшим он считает «Труса».

* * *

— Завтра же примусь без передышки за рассказ «На покое», — говорил Александр Иванович, окончив «Труса». — «На покое» мне будет легко писать, и рассказ не займет много времени. Тема его близко соприкасается с «Трусом».

Где-то в провинции (не помню где) я был в убежище для престарелых артистов, содержавшемся на средства богатого купца. Давно сошедшие со сцены, всеми покинутые, одинокие, старики-актеры кончали жизнь в этом убежище, вспоминая о прежних успехах у женщин и сценической славе. Их жалкое угасание так же трагично, как и судьба еврея Цирельмана.

Но на другой день сесть за работу Куприну не пришлось. Во время обеда неожиданно появился Сергей Яковлевич Елпатьевский.

— Я пришел за вами, Александр Иванович, — здороваясь, сказал он. — Завтра утром, двадцать пятого июня, на пароходе из Ялты уезжает Лев Николаевич Толстой, и вы можете с ним познакомиться. Отправляйтесь сегодня же со мной, у нас переночуете, а завтра пораньше пойдем на пристань.

Вернулся Александр Иванович полный впечатлений от встречи с Толстым и разговоров с ним. По нескольку раз он возвращался к рассказу о том, какие глаза, взгляд, уши, руки, манера говорить у Толстого. И потом еще несколько дней, среди обычного разговора, он вдруг вспоминал какую-нибудь новую подробность и снова говорил о Толстом. Даже когда он уже начал писать

«На покое», то первые дни среди работы опять вспоминал о чем-нибудь, касавшемся Льва Николаевича.

— Рассказ весь сложился у меня в голове, — говорил Куприн. — Я сам был провинциальным актером, и этот быт мне хорошо знаком.

И все-таки он теми же внешними приемами, к которым прибегал, когда писал «Труса», проверял и в этом рассказе правильность своих жестов, а также повторным чтением монологов — точность и звучание слов.

— Главная трудность — это работа над словом и то досадное чувство, которое мешает мне писать, когда я вижу, что мне не хватает необходимого, точного слова.

В рассказе «На покое» встречались некоторые знакомые мне подробности. Так, когда умирающий старик-режиссер «Дедушка» дарит бывшему суфлеру Стаканычу портсигар, он говорит: «Портсигар хороший, черепаховый... теперь таких больше не делают. Антик. Была на нем даже золотая монограмма, абер украли где-то, а то, может быть, я и сам ее потерял или того... как его... продал. Возьми, Стаканыч». Это был очень большой старинный черепаховый портсигар моего покойного отца, который сохранился у дядя Коки и всегда лежал на его столе. Золотая монограмма давно была потеряна.

Как-то я жаловалась Александру Ивановичу, что меня мучает часто повторяющийся кошмарный сон: «Бегу я будто по комнате, и много-много этих комнат впереди, и все они заперты... И знаю я, что надо мне успеть открыть двери, вытащить ключ и запереться с другой стороны... А «он» все ближе, все ближе... Едва успеваю я запереться, а «он» уже тут, рядом, напирает на двери, гремит ключом в замке...» Этот сон актер Славянов ночью рассказывает Михайленко.

Подробность о том, как актер Михайленко, ложась спать, закрещивал мелкими быстрыми крестами все «щелочки между своим телом и одеялом», Александр Иванович взял из своих детских воспоминаний о Вдовьем доме. Так делали все старушки, и у него самого, когда он был в сиротском пансионе, еще сохранилась эта привычка.

По поводу актера, игравшего «толпу» и «голоса за сценой», Александр Иванович вспоминал:

— Когда я служил в театре в Сумах, было в моде ставить переделки иностранных романов. Таким обра-

зом, мне приходилось в инсценировке романа Сенкевича «Камо грядеши» — пьеса шла под другим названием — играть Тигеллина. А после торжественного выступления в роли Тигеллина, или, как произносили артисты, «Тигеллиния», я за сценой управлял «толпой» — хором из трех оборванцев, хриплыми голосами кричавших: «Да здравствует Цезарь!» За это выступление они получали по «мерзавчику» водки и по двадцати копеек на рыло.

В конце июля Александр Иванович закончил только два рассказа: «Трус» и «На покое».

— Не знаю, какую из двух тем взять для третьего рассказа, — говорил он. — Тянет меня и к «Болоту», и к полесским «Конокрадам».

В это время пришло письмо от Пятницкого. Он напоминал Александру Ивановичу, что уже близится осень, и просил поторопиться с работой над новыми рассказами. Осенью издательство пошлет их на рассмотрение Горькому, который утвердил содержание тома. Это положило конец колебаниям Куприна, и он решил приступить к рассказу «Болото», так как «Конокрады» были бы по объему гораздо больше «Болота» и работа могла затянуться.

Все-таки закончить «Болото» в Мисхоре ему не удалось. Я захворала, и моя болезнь временно выбила Александра Ивановича из колеи.

Я страдала бессонницей и засыпала только под утро. Перед окном нашей спальни стоял невысокий корявый дуб с гнездом, в котором маленькая птичка всю ночь жалобно тянула: «Сплю... сплю...» Я начинала плакать и будить Александра Ивановича.

— Не обращай внимания. Это «Сплюшка» не дает тебе покоя, — говорил он и снова крепко засыпал.

В 1929 году в Париже Куприн вспомнил об этой птичке и написал рассказ «Сплюшка».

«...придет вечер, похолодеет воздух... и тогда начнет свою прелестную песенку маленькая, но настоящая птичка, совушка, которую в Крыму так нежно называли «Сплюшка». Однообразно, через промежуток в каждые три секунды, говорит она голосом флейты, или, вернее, высоким голосом фагота: «Сплю... Сплю... Сплю...» И кажется, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну и бессильно борется со сном

и усталостью, и тихо, безнадежно жалуется кому-то: «Сплю, сплю... сплю...» — а заснуть, бедняжка, никак не может».

Частые поездки со мной к врачу очень мешали его работе, и кончать рассказ «Болото» [3] ему пришлось уже в Петербурге.

В конце октября 1902 года в Петербург приехал Бунин, чтобы заключить с Пятницким условия относительно своих рассказов и стихотворений, а также перевода «Песни о Гайавате» Лонгфелло [4]. Куприн прочел ему в рукописи свой рассказ «Болото», который должен был появиться в декабрьской книжке «Мира божьего».

— Ты начинаешь выписываться, Александр Иванович, — снисходительно похвалил Бунин. — Но в этом рассказе, конечно, это дело вкуса, длиннейшие рассуждения студента должны так же утомлять читателя, как и землемера, которому надоедает студент. Уверяю тебя, что читателю эти рассуждения также очень скучны. И он охотно от них бы отмахнулся. Но описание болота, тумана и ночи в избе лесника сделано превосходно.

Такой снисходительно-покровительственный тон, который Бунин усвоил еще со времени Одессы [5], задевал Александра Ивановича, хотя он и признавал справедливость суждений Ивана Алексеевича.

ГЛАВА XIV

Переписка с А. П. Чеховым. — Чехов о рассказе «На покое». — Сердечность и отзывчивость Чехова. — Обезьянки — подарок Куприна Чехову.

В Мисхоре «Болото» было еще не закончено, но, хотя Куприн и писал Михайловскому из Крыма, что предназначает рассказ «Русскому богатству», он считал необходимым скорее погасить долг журналу уже законченным рассказом «На покое».

В середине октября, когда из «Русского богатства» была получена корректура, Александр Иванович писал Чехову: [1]

«Посылаю Вам, многоуважаемый Антон Павлович, вместе с этим письмом корректурный оттиск моего рассказа «На покое», который появится в «Русском богатстве» в ноябрьской книжке. Если у Вас хватит досуга и

охоты пробежать его, то не откажите в большой милости написать в двух словах: какое он на Вас произведет впечатление, главное — в отрицательном смысле».

1 ноября 1902
Москва

«Дорогой Александр Иванович, «На покое» получил и прочел, большое Вам спасибо. Повесть хорошая, прочел я ее в один раз, как и «В цирке», и получил истинное удовольствие.

Вы хотите, чтобы я говорил только о недостатках, и этим ставите меня в затруднительное положение. В этой повести недостатков нет, и, если можно не соглашаться, то лишь с особенностями ее некоторыми. Например, героев своих, актеров, Вы трактуете по старинке, как трактовались они уже лет сто всеми писавшими о них, ничего нового. Во-вторых, в первой главе Вы заняты описанием наружностей — опять-таки по старинке, описанием, без которого можно обойтись. Пять определенно изображенных наружностей утомляют внимание и в конце концов теряют свою ценность. Бритые актеры похожи друг на друга, как ксендзы, и остаются похожими, как бы старательно Вы ни изображали их. В-третьих, грубоватый тон, излишества в изображении пьяных...

Вот и все, что я могу Вам сказать в ответ на Ваш вопрос о недостатках, больше же ничего придумать не могу».

В ответ на критические замечания Чехова Куприн 6-го декабря 1902 года писал:

«То, что Вы писали мне о рассказе «На покое», — очень верно, хотя и прискорбно для меня. Кое-что, сообразно с Вашим взглядом, я исправил, только этого очень мало, и впечатление остается то же».

Прочитав мне свой ответ Антону Павловичу, Куприн сказал:

— Антон Павлович прав. Но все дело в том, что актеров последних лет, таких, как в Художественном театре и на столичной сцене, я не встречал. И Чехов во всех своих рассказах изображал только старый актерский быт. Что же касается до актеров новых, прокладывающих новые пути в искусстве, то он их уже знает, но сам этой темы пока не касается.

В одном из писем к Чехову Куприн пишет:

«Жена Вам шлет поклоны и притом самые сердечные. В декабре мы ждем. Я до сих пор помню и никогда, вероятно, в моей жизни не забуду того вечера [2], когда я заходил прощаться с Вами и когда Вы говорили со мной о родах и о прочих сюда относящихся вещах. Я читал где-то, что Доде называл себя «продавцом счастья» в том смысле, что он умел глубоко проникать в человеческое горе и утешать [3]. К вам, конечно, не идет это определение, потому что оно по-французски манерно, приторно. Но от Вас я ушел тогда успокоенный и ободренный, почти умиленный».

В своих воспоминаниях о Чехове Куприн считал неудобным говорить о личных волнениях и приписал их своему фиктивному другу, который переживал большую тревогу во время первой беременности горячо любимой жены и, по правде сказать, порядочно докучал Антону Павловичу своей болью. И вот Чехов 1 ноября написал ему:

«Скажите Вашей жене, чтобы не беспокоилась, все обойдется благополучно. Роды будут продолжаться часов 20, а потом наступит блаженнейшее состояние, когда она будет улыбаться, а Вам будет хотеться плакать от умиления. 20 часов — это обыкновенный maximum для первых родов.

Ваш *А. Чехов*»

Куприн был глубоко тронут отзывчивостью, вниманием, той сердечностью, какой проникнуто было письмо Чехова.

Осенью, после Мисхора, устраиваясь в новой квартире на Разъезжей, я на этажерке, стоявшей около дивана, разместила свою коллекцию безделушек. Здесь были старинные, русского фарфора фигурки, изделия из уральской яшмы, которые в изобилии дарил мне Дмитрий Наркисович, и много привезенных мной из заграничных поездок швейцарских и тирольских домиков. Среди всего этого находились и три вырезанные из слоновой кости обезьянки, несколько лет назад подаренные мне братом, вернувшимся из Китая.

— Машенька, у меня к тебе просьба, — обратился как-то ко мне Александр Иванович. — Подари мне двух обезьянок.

— К чему они тебе, Саша? — удивилась я.

— Я откровенно признаюсь тебе, Машенька, в чем дело. Обещай только, что ты не рассердишься и не обидишься на меня.

— Что за пустяки, Саша. Если тебе нравятся обезьянки, конечно, возьми их.

— Ну вот... Мне хочется подарить их Антону Павловичу. У него на камине и на письменном столе много хорошеньких мелких вещиц, которые подарили ему на память друзья. И эти обезьянки с таким живым выражением лица и глаз были бы там как раз на месте. А мне было бы приятно думать, что, иногда взглядывая на них, Антон Павлович вспоминает и обо мне.

Я с радостью отдала Александру Ивановичу обезьянок.

Первого декабря 1902 года Антон Павлович писал Куприну:

«Ваш подарок — обезьянки — великолепен, я только теперь рассмотрел его как следует и нахожу, что штучка сия совсем хороша, художественная вполне. Большое Вам спасибо! Напишите мне, как Ваши дела, как здоровье жены».

Александр Иванович ответил Чехову 6-го декабря 1902 года:

«Вы меня очень обрадовали, многоуважаемый Антон Павлович, написав, что обезьянки Вам понравились. Мне приятно будет думать, что благодаря им Вы, может быть, лишний раз вспомните о человеке, который предан Вам всей душой.

Дела мои литературные так хороши, что боюсь сглазить. «Знание» купило у меня книгу рассказов. Не говоря уже об очень хороших, сравнительно, материальных условиях, — приятно выйти в свет под таким флагом».

Чехов отвечает Куприну 30 декабря 1902 года из Ялты:

«С Новым годом, с новым счастьем, дорогой Александр Иванович, желаю Вам быть здоровым, веселым, бодрым, чтобы потом, этак лет через 10—15, новый 1903 вспомнился Вами с удовольствием. Вашей жене передайте от меня сердечный привет, поклон и поздравление. Крепко жму руку.

Ваш *А. Чехов*»

«Спасибо Вам, многоуважаемый Антон Павлович, за Ваше милое приветствие меня и жены с Новым годом, — отвечает Куприн на новогоднее поздравление А. П. Чехова. — Если Вы получили мою телеграмму, то знаете из нее, что 3 января у нас родилась девчонка. Она появилась на свет божий $8^3/_4$ фунтов весу и с самой монгольской физиономией!»

7 февраля 1903 г.
Ялта

«Дорогой Александр Иванович, в «Словаре русского языка», издаваемом Академией наук, в шестом выпуске второго тома, который (то есть выпуск) я сегодня получил, наконец показались и Вы. Так, на странице 1868 Вы найдете слово «зарокотать», а возле него — «Один за другим в разных местах длинной колонны глухо зарокотали барабаны. Куприн. «Ночлег».

И еще после слова «зарябиться» (стр. 1906): «На воду тотчас же легло пятно, в середине которого зарябилось яркое отражение огня. Куприн. «Булавин».

И еще есть одно место, только я забыл страницу.

Я поздоровел, плеврит уже прошел, но в комнате моей холодно (на дворе мороз), а это противно. Пишу помаленьку.

Надеюсь, что у Вас все благополучно, что жена Ваша и младенец пребывают в добром здоровье. Крепко жму Вам руку.

Ваш *А. Чехов*

Ваша Лидия уже улыбается?»

31 декабря 1903
Москва

«С Новым годом, с новым счастьем, дорогой Александр Иванович. До меня дошли слухи, будто Вы были нездоровы, что у Вас был брюшной тиф. Пожалуйста, напишите строчки две-три, как Вы себя теперь чувствуете.

Вашей жене и дочери низко кланяюсь и шлю привет и поздравление с Новым годом.

Крепко жму руку, будьте здоровы и благополучны.

Ваш *А. Чехов»*

31/XII—1903 г.

Это было последнее письмо А. П. Чехова Куприну.

ГЛАВА XV

Работа Куприна в беллетристическом отделе журнала «Мир божий». — «Капернаум» и его посетители. — Паноптикум.

Рассказ «На покое» появился в «Русском богатстве» в ноябре 1902 года. «Болото» можно было напечатать только в декабрьской книжке «Мира божьего», а «Трус» в «Журнале для всех» — в январе 1903 года.

Обычно автор был связан обещаниями свое произведение, печатавшееся в журнале, выпускать отдельным изданием только в следующем году. Поэтому из написанных в Мисхоре трех новых рассказов для своего сборника Куприн мог взять только «На покое». Декабрьская книжка «Мира божьего» запаздывала и вышла лишь в половине декабря, когда часть сборника, утвержденного Горьким, уже была в наборе и дополнить его «Болотом» было нельзя.

Закончив рассказ «Болото», Александр Иванович всецело погрузился в журнально-редакционную работу. В те годы журналов было только несколько, сборники «Знания» еще не начали выходить, поэтому приток рукописей в отдел беллетристики был громадный. Куприн должен был ежедневно прочитывать несколько различного объема рукописей и большую пачку стихов.

До вступления Куприна в состав редакции Богданович считал излишней переписку с авторами, рукописи которых явно для журнала не годились. Многие рукописи для напечатания нуждались в большой переработке. Но Богданович считал это принципиально недопустимым, даже если в рукописи было видно дарование. «Наша задача не школьное преподавание. Пускай сначала выучатся, а потом и пишут», — говорил он. Единственные вопросы, по которым он вступал в переписку

с авторами, касались необходимости цензурных выкидов и просто длиннот, отягощавших произведение. И, конечно, когда отдел этот был в руках только Богдановича и Александры Аркадьевны, то нарекания на то, что рукописи не читаются, а прямо складываются в редакционную корзину, были справедливы, тем более что существовало правило на рукописи объемом до одного печатного листа отвечать готовым бланком, проставив лишь фамилию автора и название произведения. Против этого порядка выступили Куприн и Батюшков. Они считали, что по поводу каждой рукописи автору должно быть дано хотя бы краткое письменное объяснение того члена редакции, который давал отзыв о ней.

Отдел беллетристики распределился между Батюшковым, Богдановичем и Куприным. На рассмотрение к Богдановичу поступали лишь те рукописи, которые считались сомнительными. Окончательное решение судьбы такой вещи могло быть только после согласования мнений всех троих, причем Батюшков — как ответственный редактор — оставлял за собой право вето.

Приступив к работе, Александр Иванович сразу же столкнулся с тем, что содержание беллетристического отдела журнала на следующий год в основном было Богдановичем установлено уже с осени. Так, например, с начала года требовалось дать два романа (по одному в полугодие), пять-шесть повестей, двенадцать — пятнадцать рассказов. Причем желательно было, чтобы весь материал принадлежал авторам, уже более или менее известным.

Таким образом, практика редакционной работы сложилась так, что молодому, еще малоизвестному писателю проникнуть на страницы журнала было очень трудно. Именно против этого выступил Куприн, с которым согласился Батюшков. Своей задачей Куприн считал выдвижение новых талантливых авторов. Поэтому он очень внимательно читал поступавшие в отдел рукописи, большая часть их выпадала на его долю, так как Богданович, Батюшков и Кранихфельд должны были читать еще и рукописи статей.

* * *

Александра Ивановича тяготила усидчивая работа. В течение дня он должен был делать перерывы и находиться в движении.

— Я, Машенька, немного пробегусь по улицам, у меня совсем голова распухла от чтения. И надо же мне, наконец, как следует узнать эту новую часть Петербурга.

Возвращаясь, он рассказывал мне:

— Представь себе, Маша, совсем близко от нас находится «Капернаум» [1].

О «Капернауме» я давно слышала от Дмитрия Наркисовича и других бывавших там старых литераторов.

Александра Ивановича познакомил с «Капернаумом» Д. Н. Мамин-Сибиряк, когда мы жили еще на старой квартире.

Однажды Мамин-Сибиряк пригласил Александра Ивановича позавтракать вместе с ним в «Капернауме». По словам Мамина, будто бы так окрестил ресторан постоянно бывавший там когда-то писатель В. А. Слепцов. Посещали «Капернаум» некоторые сотрудники «Современника» и «Отечественных записок». В последующие годы там продолжали изредка бывать старые литераторы. Когда открылся журнал «Северный вестник», редакция которого помещалась недалеко от «Капернаума», то в ресторан заходили позавтракать и побеседовать за кружкой пива Успенский, Михайловский, Плещеев. Бывали там и Острогорский, Михайлов-Шеллер, Засодимский. За завтраком Дмитрий Наркисович познакомил Куприна с критиком Скабичевским.

«Капернаум» помещался в конце Владимирской площади (угол Кузнечного переулка). Это был маленький грязный ресторан третьего разряда. Несмотря на свою вывеску «ресторан», это был просто трактир, в который входили прямо с улицы, в пальто и калошах, так как передней не было. В нем были всего две небольшие комнаты. В первой помещалась стойка с закуской и водкой, около которой посетители торопливо выпивали несколько рюмок и затем шли дальше по своим делам. Черным хлебом и солью можно было пользоваться бесплатно, а кусок вареной колбасы («собачья радость»), целая минога или соленый гриб стоили три копейки.

По своей дешевизне ресторан этот был широкодоступен всякого рода публике. Здесь, говорил мне Александр Иванович, можно было встретить как мелкого сотрудника из газеты «Копейка» или безработного провинциального актера, так и ломовых извозчиков, которые, перед тем как с тяжелой кладью свернуть на Загородный

проспект, к Варшавскому или Балтийскому вокзалам, останавливались здесь «заправиться».

Рядом была вторая комната, куда допускалась только «чистая» публика. Там, в углу у окна, выходившего на запущенный двор, перед диваном с засаленной обивкой, стоял стол, который хозяин этого заведения сохранял для литераторов.

Теперь этот «Капернаум» находился в ближайшем соседстве с нашей редакцией, и часто после скучного редакционного совещания Александр Иванович, критик Кранихфельд и В. К. Агафонов, заведовавший научным отделом журнала, отправлялись туда выпить пива.

Близкое соседство с «Капернаумом» меня не радовало. Александр Иванович нередко проводил время в этом трактире, а я оставалась дома одна.

— Но пойми же, Машенька, — говорил он мне, — после скучного редакционного собрания, где бесконечно толкут воду в ступе, я должен сначала как следует пробежаться по улицам, а затем зайти выпить пива в «Капернаум».

— Но что же там интересного, в этом, по твоим словам, грязном трактире? — возражала я.

— Ты не понимаешь, Маша, сколько я вижу там интересных людей. Ты представить себе не можешь, как интересны бывают пьяницы — люди всевозможных профессий и социальных слоев. Обычно угрюмый и необщительный, человек под влиянием алкоголя вдруг преображается, становится веселым и откровенным. У него появляются самые неожиданные мысли, фантазии, планы. И какие замечательные у многих из них биографии, о которых я никогда, годами встречаясь с ними трезвыми, не узнал бы.

Это таинственное путешествие по извилинам чужой души и мозга, когда в дороге тебе встречаются неожиданные бездны или высоты воспарения духа. В таких случаях необходимо необыкновенно бережное отношение слушателя, чтобы неосторожным вопросом не спугнуть его настроение, не прервать нить рассказа и не дать отклониться в сторону от главной мысли. Узнаешь, например, что мелкий почтовый чиновник в мечтах видит себя великим, прославленным полководцем. А пожилой настройщик, семейный человек — страстный любитель музыки, втайне пишет оперу, которая, он уверен, прославит

его как великого композитора. И какими прекрасными, вдохновенными словами он говорит об этой своей мечте.

Всегда прилично одетый, застенчивый молодой человек спешит рассказать о себе, о своей неразделенной любви к светской красавице, об алкоголике-отце, печальном детстве и о своей бедности, которой обычно он стыдится и тщательно скрывает.

У многих ум лихорадочно работает над всякого рода фантастическими способами наживы и обогащения. Другие мнят себя изобретателями и, кроме обычного perpetuum mobile, изобретают целый ряд удивительных механизмов и приборов. Но настоящий клад для наблюдателя — это запойные алкоголики, а не привычные или случайные пьяницы. Их мысли однообразны и постоянно возвращаются к одному и тому же. Поэтому больше двух раз с ними говорить не интересно — они выдыхаются. Запойные же не прикасаются к вину месяцами и даже годами. И вдруг их «прорывает». Тогда в первый период болезни, пока они еще полны сил, они ищут внимательного и сочувствующего им слушателя. И тут бывает часто очень трудно разобрать, что является их действительной биографией, а что — яркой фантазией. Возможно, что, в обычной жизни честные и скромные люди, они таят в своей душе жажду преступлений и множество извращений, и в состоянии горячечного алкогольного возбуждения эти кошмарные видения начинают принимать за действительность. Часто жутко и противно узнавать, сколько мерзости таится внутри человека, под его добропорядочной внешностью. Наблюдать человека, стараться проникнуть в тайну его мыслей, желаний, ощущений — моя работа, Маша, работа писателя, и она совсем не легкая, как может тебе казаться.

В другой раз он уверял меня:

— Представь себе, Машенька, что «Капернаум» — кабачок, необходимый мне для наблюдений над людьми, которых я еще не изучил и которые пока кажутся мне интересными, — вдруг чуть было не ускользнул от меня. Прихожу я туда на днях вечером. И что же вижу?! Во второй комнате, где обычно днем завтракают и до обеда пребывают почтенные литераторы, а по вечерам — мелкие представители мелкой прессы из газет «Копейка», «Петербургский листок» и более крупные представители

этого мира, такие, как репортеры «Петербургской газеты», — вдруг там, у задней стенки, неожиданно выросло несколько столиков, за которыми в сосредоточенном безмолвии восседали шахматисты. Я возненавидел их еще в Одессе.

Согнутые плечи, воротники в виде мохнатых пелерин и важный сумрачный вид — все это удивительно напомнило мне птиц с длинными носами, воротниками вокруг длинных голых шей, сидящих с таким же унылым видом, — птиц марабу. Но, к счастью для меня, они здесь не прижились, и я их больше не видел.

В «Капернауме» Александр Иванович встретился с Трозинером, которого давно не видел. С ним он познакомился еще в Пале-Рояле, когда осенью 1901 года приехал в Петербург. Трозинер, так же как и многие питерские литераторы, имел постоянную комнату в Пале-Рояле. Делалось это для того, чтобы иметь для литературной работы отдельную от семьи комнату, где никто не мешал бы, а также иногда и по другим причинам. Впрочем, некоторые бездетные семьи, не желая вести хозяйство, просто селились в Пале-Рояле. И там, у приехавшего из Киева беллетриста Д. Айзмана, Куприн впервые познакомился с Трозинером, писавшим фельетоны в «Петербургской газете» под псевдонимом «сэр Пич Брэнди».

Трозинер был значительно старше Куприна и стал литератором случайно в начале 90-х годов. Окончив училище правоведения, он стал судебным следователем, и так как происходил из крупной чиновничьей семьи, то рассчитывал благодаря своим связям сделать карьеру. Вскоре возникло запутанное и шумное уголовное дело, занимался им хороший приятель Трозинера. Делу этому в газетах уделяли много внимания. Молодой, еще неопытный юрист, незнакомый с нравами мелкой газетной прессы, Трозинер имел неосторожность слишком откровенно высказаться по поводу ведения этого дела. С его слов репортер очень бойко подал этот материал, который и был подхвачен публикой. За разглашение фактов следствия Трозинер должен был уйти из судебного ведомства. Тогда-то «Петербургская газета» привлекла его как судебного репортера, а затем, когда обнаружилось его незаурядное литературное дарование, из мелкого сотрудника он стал фельетонистом, пользую-

М. К. Куприна с дочерью Лидой. 1904.

щимся большим успехом у публики. Зарабатывал Трозинер большие деньги, но тщеславие его вследствие утраты административной карьеры было очень ущемлено. Постепенно он втянулся в быт газетчиков, ниже его и по образованию и по воспитанию, и в конце концов стал завсегдатаем ресторанов и пивных.

Куприн считал Трозинера талантливым, интересным человеком и, случайно встретив его, пригласил к нам домой. За обедом он держался как хорошо воспитанный, светский человек. Рассказы о его кратковременной работе следователем, а также газетные впечатления, меткие, ядовитые характеристики многих судебных и газетных деятелей были остроумны, даже блестящи. И когда Александр Иванович приглашал Трозинера бывать у нас, я не возражала.

Трозинеру был посвящен рассказ «Фиалки».

Вскоре Александр Иванович открыл еще один объект для наблюдения в нашем квартале. Во втором доме от Пяти углов на Загородном проспекте, недалеко от Троицкой, помещался паноптикум.

— Знаешь, Маша, ведь в двух шагах от нас паноптикум, — сказал он мне.

Но это был для меня пустой звук. В паноптикуме я никогда не была. И хотя вывески попадались мне на улице, что это такое, я не знала. Поэтому я равнодушно выслушала его сообщение.

— Паноптикум, паноптикум, — повторила я. — А что это такое?

— Как, ты не знаешь? Ну, тогда ты не можешь представить себе, как это интересно. Я познакомился с хозяином. Мы очень понравились друг другу и поговорили с ним о том, как это дело поставлено в Киеве, Одессе и других городах. Он оказался человеком с инициативой и многое из того, что я сообщил ему, принял к сведению. Завтра же вечером, Маша, я поведу тебя в паноптикум.

Какой это был кошмар! Ничего подобного я действительно не могла себе представить.

Паноптикум занимал весь бельэтаж, внизу находились торговые учреждения. В жилые квартиры дома вел другой подъезд. В центре первого большого зала, декорированного какими-то коврами и цветными тканями, развешанными по стенам, стояла небольшая платформа,

на которой на пышном ложе возлежала «умирающая Клеопатра». Все это было в натуральную величину.

Получив соответствующую плату, хозяин паноптикума заводил где-то под ложем механизм, и грудь Клеопатры начинала вздыматься, она вздыхала, глаза ее раскрывались, свернувшаяся на ее груди кольцом змея распрямлялась, вытягивала голову, изо рта ее выскакивало длинное жало.

Дальше шла группа гладиаторов. Когда хозяин заводил механизм, они приходили в движение, устремлялись друг на друга, их короткие мечи сверкали.

Были здесь и наши солдаты, умиравшие в Крымскую кампанию. Одеты они были в серые с кровавыми пятнами шинели. В углах комнаты находились еще доисторические, дикие, покрытые звериными шкурами не то люди, не то звери. Когда заводили машину, они рычали и грызли какие-то кости.

— Как можно смотреть на такие вещи, — возмущенно говорила я Александру Ивановичу.

— Что ты, это же очень интересно. Посмотри только на публику, как ей все это нравится. Пойдем во второй зал.

Там были только восковые фигуры, и первое, что бросилось мне в глаза, была фигура Наполеона во весь рост с треуголкой на слегка опущенной вниз голове, в сером походном сюртуке и со стеклянными, вытаращенными на посетителей глазами. Рядом с ним красовалась фигура Марии-Антуанетты в белом платье со светлыми локонами, окаймлявшими прелестное лицо. Вокруг виднелись различные фигуры, а у подножья их лежали разных размеров и форм кости черепа.

— Скажите, — обратился к Александру Ивановичу стоявший рядом с ним молодой человек, по виду приказчик, — чей это? — И он указал пальцем на маленький, странной формы череп.

— Этот? — спросил Куприн. — Это череп Наполеона, когда он был маленький.

Уходя, я сказала Александру Ивановичу:

— Не понимаю, как может нравиться тебе это зрелище. Никогда, никогда я сюда больше не загляну.

ГЛАВА XVI

Горький и Пятницкий у Куприных. — Мое знакомство с А. М. Горьким весной 1899 года. — Приезд Горького в Петербург осенью 1899 года. — Обед у А. А. Давыдовой. — Горький о рассказе Куприна «Олеся». — Куприн и Бунин о своих первых литературных «успехах».

В середине ноября 1902 года ко мне заехал Пятницкий. Константин Петрович при жизни Александры Аркадьевны заведовал в «Мире божьем» научными приложениями. Когда в 1898 году возникло «Знание», он часто советовался с ней как с опытным издателем — она охотно помогала ему не только советами, но и делом.

Денежные средства издательства, образовавшиеся из мелких пятисотрублевых паев членов товарищества, были весьма ограничены. Поэтому «Знание» выпускало популярные брошюры, по преимуществу компилятивные, а из книг издало только «Астрономические вечера» Клейна и «Историю искусства» Муттера. Осилить выход этих дорого стоивших изданий удалось благодаря тому, что книги Клейна и Муттера раньше печатались в приложении к журналу «Мир божий». О громадном количестве иллюстраций к этим приложениям, особенно к «Истории искусства», предусмотрительно позаботился Пятницкий.

Все клише, а также запасы дорого стоившей альбомной бумаги для репродукций и снимков с картин и скульптур Александра Аркадьевна безвозмездно отдала Константину Петровичу и тем оказала «Знанию» значительную поддержку.

Человек с очень большой практической сметкой и незаурядными коммерческими способностями, Пятницкий оценил большую популярность имени Горького и выгоды, которые она принесет издательству, начавшему выпускать его сочинения. До той поры появилось всего три тома рассказов Горького, и от имени товарищества в 1900 году Пятницкий предложил ему издавать собрание своих сочинений в «Знании». С ноября 1902 года Пятницкий и Горький остались единственными владельцами издательства. К тому времени оно уже обладало большими средствами.

Я не виделась с Пятницким со времени похорон моей матери. Тогда он обещал вскоре приехать к нам, но,

занятый делами «Знания», не успел до нашего отъезда в Крым.

Мне было приятно повидаться с Константином Петровичем. Я была его ученицей. В старших классах женской гимназии М. Н. Стоюниной он преподавал космографию и физику, а в специальном педагогическом читал историю искусства. Пятницкий был хорошим преподавателем, и ученицы любили его, хотя подсмеивались над ним и рисовали карикатуры.

Гимназия была частная, с правами министерских мужских гимназий. Учителя не носили вицмундир, а ходили в штатском, и Константин Петрович вначале каждый раз являлся на урок в новом ярком галстуке и нестерпимо надушенный какими-то крепкими духами. Но очень скоро его от этого отучили. В ящике своего пюпитра он начал находить записочки, в которых ученицы рекомендовали ему различные марки духов, а галстуки приличных цветов советовали покупать в английском магазине Друсса.

Все это я вспомнила, глядя на скромный галстук Пятницкого.

Я была одна. Куприна не было дома.

— Я к вам с поручением от Алексея Максимовича, — сказал мне Константин Петрович. — Горький хочет наконец повидаться с Александром Ивановичем и обо всем как следует поговорить. Но так как в «Знании» Горького осаждают посетители, и он не имеет ни одной свободной минуты, и единственно свободное время — это время его обеда, то, на правах вашего старого знакомого, он сам приглашает себя к вам на обед.

О дне обеда Алексей Максимович поручил Пятницкому условиться со мной, и мы назначили его через два дня.

До ноября 1902 года Куприн и Горький были только, что называется, «шапочно» знакомы.

К обеду Горький и Пятницкий приехали раньше назначенного времени.

— Здравствуйте, помните, каким «несмышленышем» вы были в Ялте? А сейчас замужняя дама и почтенная издательница, — говорил мне, улыбаясь, Горький.

В самом деле, с Алексеем Максимовичем мы были старые знакомые, но я не ожидала, что он об этом вспомнит, и была очень обрадована.

Весной 1899 года я была с матерью в Ялте[1]. Мы поселились на даче «Джалита». С большой веранды во втором этаже далеко видна была набережная и море. Весной в Ялте собирались писатели, художники, артисты. И с балкона можно было наблюдать, как ялтинские гимназисты и гимназистки стадами ходили за приезжими знаменитостями. Через несколько дней после нашего приезда, утром, я увидела шедших по набережной к Ливадии мимо «Джалиты» Сергея Яковлевича Елпатьевского и рядом с ним — в белой вышитой русской рубашке и соломенной широкополой шляпе — Горького.

Вечером к Александре Аркадьевне зашла ее приятельница Людмила Ивановна Елпатьевская и предупредила, что завтра к ней собирается нагрянуть большая компания, обещал прийти и Горький.

Александра Аркадьевна была горячей поклонницей обратившего на себя большое внимание, хотя и появившегося в печати сравнительно недавно, Горького. Ей нравилась его повесть «Супруги Орловы», и она очень желала привлечь его в свой журнал. По просьбе В. Г. Короленко, Горький прислал для «Мира божьего» рассказ «Каин и Артем», который был напечатан в январской книжке журнала этого года (1899).

На другой день к четырехчасовому чаю появились первые гости — молодые поэты Бунин, Федоров и, причислявший себя к молодым, поэт В. Н. Ладыженский.

Трое приятелей принялись острить друг над другом, выдумывая смешные истории о своих товарищах. Особенно доставалось Ладыженскому, который будто бы приехал из своего пензенского имения в Ялту в третий раз свататься к Марии Павловне Чеховой, получил очередной отказ и теперь ежедневно ходит к Антону Павловичу жаловаться на судьбу.

— До того довел Чехова, — рассказывал Бунин, — что вчера иду я мимо его дачи и слышу — он в саду говорит Марии Павловне: «Маша, кто-то идет, если это ко мне Ладыженский, скажи, что я умер...»

— Идут!.. — возвестил Ладыженский. — Все семейство Елпатьевских вкупе с Розановыми[2], с ними и Горький.

Сели пить чай — на одном конце длинного стола Александра Аркадьевна, около нее Горький, старшие

Елпатьевские и Розановы. На противоположном конце, где стоял самовар и я разливала чай, разместилась молодежь, к которой присоседился и Ладыженский.

Для начала Сергей Яковлевич Елпатьевский рассказал о своем сегодняшнем посещении Чехова. Он лечил Антона Павловича и каждый разговор неизменно начинал с рассказа о состоянии его здоровья. Беседа переходила с одного предмета на другой. Александра Аркадьевна жаловалась на цензурные притеснения и невежество цензоров.

Алексей Максимович пил чай с блюдечка, отвечал односложно и от времени до времени внимательно взглядывал то на одного, то на другого из сидевших за столом. Увидев, что у него пустой стакан, я предложила ему еще чаю.

— Что ж, пожалуй, налейте,— не сразу сказал он.— Любят все интеллигенты чай пить. Куда ни придешь — сидят, пьют чай, разговаривают, точно им больше делать нечего, как переливать из пустого в порожнее. Вот в крестьянской или бедной рабочей семье пьют чай серьезно, молча, сосредоточенно. Пьют его только по праздникам, не с крендельками и сладким печеньем, а с хлебом — для них это еда. Им не до разговора...

Александра Аркадьевна подняла очки на лоб и с нескрываемым изумлением посмотрела на Алексея Максимовича. Он сконфузился и замолчал.

— Три дня тому назад ко мне приехал мой двоюродный брат[3],— через некоторое время услышала я снова голос Алексея Максимовича.— Ищу для него место дворника. Не нужен вам дворник, господа домовладельцы? — обратился он к Елпатьевскому и Розанову. И, не ожидая ответа, продолжал: — Сегодня все утро ходил с братом из дома в дом, были и у лавочников на базаре. Один купец, говорили мне, искал сторожа для своего склада. Пошли к купцу. Он долго расспрашивал брата — зачем приехал сюда, женат ли, где служил раньше.

— А кто же тебя рекомендует? — под конец спросил он.

— Я могу за него поручиться,— ответил я.

— А вы кто же будете? — смерил меня подозрительным взглядом купец.

— Писатель — Горький.

— Таких нам ненадобно, — сказал купец и отвернулся.

На другой день Александра Аркадьевна жаловалась Л. И. Елпатьевской:

— Пришел чай пить, а потом взял да всех нас неизвестно за что и обругал: ничего не делаете, только сидите да разговоры разговариваете...

— Да, да, — сочувственно кивала головой Людмила Ивановна.

В последующие дни я часто встречалась с Алексеем Максимовичем. Каждое утро я ходила на набережную в кондитерскую Верне, за сдобным хлебом, который любила к кофию Александра Аркадьевна. На поплавке против кондитерской в это время обычно сидел Алексей Максимович. Если он был один, то подходил ко мне, и мы вместе шли обратно к «Джалите».

— Едите вы эти кондитерские булки, разве это хлеб... Настоящего хлеба вы, пожалуй, и не пробовали, — сказал мне в одну из встреч Алексей Максимович. — А знаете ли вы, как пекут хлеб?

— Нет.

— Вот видите, ничего-то вы, милая девица, нужного и полезного не знаете и таким несмышленышем, пожалуй, и замуж выйдете. На всякий случай запомните, может, и понадобится, — сайки пекут вот как... — И обстоятельно, щеголяя знанием дела, рассказал мне, как пекут сайки.

Однажды около двенадцати часов дня в «Джалиту» еще раз пришел Алексей Максимович. Я сообщила ему, что Александры Аркадьевны нет дома, но она скоро должна вернуться из водолечебницы.

— Да я совсем не к ней, а к вам пришел, — сказал Алексей Максимович, не находя нужным, согласно принятым правилам, выразить сожаление по поводу отсутствия хозяйки дома. — Пойдемте со мной в магазин Пташникова, там выставлены в витрине очень красивые материи. На днях приезжает моя жена — Екатерина Павловна, и я хочу купить ей на платье. Помогите мне выбрать. Я не женщина, — Алексей Максимович забавно сморщился и ребром ладони провел по усам, — могу

купить что-нибудь такое, что ей не понравится, а мне будет обидно.

— Но я-то уж совсем не знаю, что понравится вашей жене. Я никогда не видала Екатерину Павловну, не знаю, какая она. Должна же я знать, какой цвет она любит и какая материя будет ей к лицу.

— Какая Екатерина Павловна? — медленно, точно в раздумье, повторил Алексей Максимович. — У Екатерины Павловны прекрасные длинные волосы, и глаза у нее темно-зеленые, как у русалки. Она легкая и стройная и часто кажется мне девочкой-подростком. Когда я устаю писать., то беру ее на руки и как ребенка ношу по комнате...

Алексей Максимович немного помолчал.

— Что же, пойдемте, — поднялся он.

— Пойдемте.

Но материи мы не купили. Мне удалось уговорить Алексея Максимовича подождать с покупкой до приезда Екатерины Павловны.

Через два дня Горький уехал в Севастополь встречать Екатерину Павловну с маленьким Максимом, и в Ялте мы больше с ним не виделись.

Осенью 1899 года, когда Горький впервые приехал в Петербург, Александра Аркадьевна пригласила его к себе. По этому случаю вечером 17 октября у Давыдовой собрался весь известный литературный круг Петербурга. Из Царского Села на Лиговку приехал и Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк.

Александра Аркадьевна знакомила Горького с некоторыми из старых литераторов. Другие подходили и знакомились сами.

За столом во время ужина Горький тоже сидел рядом с хозяйкой дома. Вид у него был усталый.

Начались приветственные речи. Алексей Максимович исподлобья смотрел на оратора. Он все больше и больше хмурился и, чувствуя себя неловко, раздражался. Терпение его, наконец, лопнуло, он встал и, ни к кому не обращаясь, поблагодарил за незаслуженное, по его мнению, внимание и похвалы. Закончил он свою краткую речь словами:

— На безрыбье и рак рыба, на безлюдье и Фома — дворянин [4].

Речей больше не последовало. Все молча переглянулись. Мамин расхохотался и громко сказал: «Ну и молодчина!»

Этот вечер потом долго вспоминали в нашем доме.

* * *

— Давно собирался познакомиться, поговорить как следует с вами, — крепко пожимая руку Александру Ивановичу, сказал Горький. — Все как-то не выходило. То вы приезжали в Крым, когда меня там не было, то не было вас, когда я приезжал в Ялту. Занятно, точно мы друг с другом в прятки играли. А как писателя я знаю вас давно. Читал «Молоха», очень он мне понравился. Читал ваши фельетоны в киевской газете «Жизнь и искусство» [5] и тогда же советовал пригласить вас в «Самарскую газету» [6] и даже прочил в редакторы.

Через месяц Константин Петрович обещает выпустить ваш первый том. Отчего вы не включили в него «Олесю»?

— Видите ли, Алексей Максимович, это моя ранняя, еще незрелая вещь. «Наивная романтика», — как сказал Антон Павлович. Я сначала колебался, а потом согласился с его мнением.

— Напрасно согласились. Первая книга — первая ступень творческого развития писателя. Он еще молод, а молодость должна быть немного наивной и романтичной. «Олеся» войдет в ваш второй том, я буду на этом настаивать. А что вы пишете сейчас?

— Пока только рассказы. Приступить к роману не решаюсь. Это слишком большая задача, для которой я еще не чувствую достаточных сил. Но тема романа не дает мне покоя. Я должен освободиться от тяжелого груза моих военных лет. Рано или поздно я напишу о нашей «доблестной армии» — о наших жалких, забитых солдатах, о невежественных, погрязших в пьянстве офицерах.

— Вы должны, скажу больше, обязаны написать о нашей армии. Кому как не вам сказать о ней всю правду?.. У вас громадный материал и большой художественный талант. Завтра мы продолжим наш разговор. Это будет длинный разговор. Если не возражаете, вы посвятите меня в план этой работы и разрешите мне,

как старшему товарищу, дать вам несколько советов. Приходите ко мне утром пораньше. Константин Петрович позаботится о том, чтобы нам не помешали.

Вошел Бунин и тотчас же вслед за ним оба редактора «Мира божьего» — Батюшков и Богданович. Начался общий разговор.

За обедом Горький заговорил с Батюшковым и Богдановичем о своих планах преобразования «Знания» в крупное издательство, решении издавать не только много научных книг, но и современную художественную литературу, в первую очередь молодых писателей-реалистов.

— Пошла нынче мода на символистов и богоискателей. Слышал я, что с будущего года они начинают свой журнал «Новый путь». Поглядим, какой-такой новый путь они нам укажут, — иронически произнес Алексей Максимович.

— Мы с Константином Петровичем сразу двинем вас большими тиражами, — обратился Горький к Бунину и Куприну. — Настоящих хороших книг для широких демократических кругов читателей не хватает. А вы, молодые писатели, до сих пор писали слишком мало — через час по ложке, и знают вас только интеллигенты — подписчики журналов. Надо, чтобы узнал и полюбил вас — всех вас, молодых талантливых писателей — новый громадный слой демократических читателей.

— Вам хорошо говорить, Алексей Максимович, — ответил Бунин. — Вы нашли своего читателя, у нас его просто нет. Несколько лет назад, когда вышел сборник моих рассказов «На край света»[7], в своих отзывах критики писали: «Некоторого внимания заслуживает скромное дарование начинающего беллетриста И. Бунина. В незатейливых сюжетах его рассказов иногда чувствуется теплота и наблюдательность...» В заключение еще две-три высокомерно-снисходительные фразы... Вот вам пример, как встретила мое первое появление в печати критика. По ее отзывам судили и читатели. Не правда ли, обнадеживающее начало? Где уж мечтать о больших тиражах.

— Ни к чему вы, Иван Алексеевич, ссылаетесь на критику, — с досадой произнес Горький. — Настоящих критиков у нас кот наплакал, их только единицы. Ос-

тальные же разве это критики? Я лучше не скажу, что это такое...

— А хотите знать, Алексей Максимович, какой отзыв я услышал от своего первого читателя? — продолжал Бунин.

В издательстве я получил некоторое количество авторских экземпляров моей книжки и, уложив их в чемодан, решил отправиться к своим. Я ехал в Орел и в вагоне встретил старого знакомого моего отца, орловского помещика. Это был пожилой тучный человек, всегда носивший фуражку с красным дворянским околышем. Такая мода до сих пор водится в провинции.

Узнав, что я живу в Москве, давно не был у родителей и теперь еду повидаться с ними, он спросил: «Где служите?» — «Я не служу...» — «Гмм. Чем же занимаетесь?» — «Я писатель...» — «Так... так... Значит, в газетках пописываете...» — «Я не пишу в газетах. А вот», — я достал из чемодана свою книгу и поднес ему в подарок, извинившись, что, за неимением пера и чернил, не могу снабдить ее своим автографом. Не взглянув на книжку, он небрежно сунул ее в карман.

Дома я вдоволь насладился восторженными отзывами моих близких о книжке и через две недели в самом радужном настроении возвращался в Москву. В Ельце в мой вагон, тяжело дыша, ввалился орловский помещик.

«Совсем запыхался, чуть не опоздал, — говорил он, здороваясь. — Жеребца тут покупал по случаю — нужны были людям деньги, задешево продали. А жеребец — знаменитый». — И он принялся подробно рассказывать, какие замечательные у жеребца стати.

Я терпеливо слушал, но, как только он на минуту сделал передышку, шутливо-небрежным тоном спросил: — «Ну, как?.. Книжечку мою одобрили?» — «Как же, как же... В тот же вечер, отходя ко сну, взял я вашу книгу, прочитал несколько страниц, бросил ее и сказал: «Мерзавец! Зачем ты отнял у меня четверть часа моего отдыха?!»

С тех пор я никому не дарю своих книг, а у того, кто читал их, мнения не спрашиваю.

— Я, пожалуй, был счастливее тебя, Иван Алексеевич, — сказал Куприн. — Когда вышла моя первая маленькая книжонка «Миниатюры»[8], о которой я без

стыда не могу вспомнить, столько в ней было плохих мелких рассказиков, то она, славу богу, не привлекла внимания даже безработных провинциальных критиков. В книжных магазинах она не продавалась, а только в железнодорожных киосках. Разошлась она быстро благодаря пошлейшей обложке, на которой иллюстратор издательства изобразил нарядную даму с книгой в руках.

Когда я был в юнкерском училище, покровителю моего литературного таланта старому поэту Л. И. Пальмину — его очень мало знали тогда, а теперь уже решительно никто не помнит — случайно удалось протащить в московском «Русском сатирическом листке» мой первый рассказ «Последний дебют». Сейчас я даже забыл содержание этого рассказа, но начинался он с красивой фразы, которая мне очень нравилась: «Было прекрасное майское утро...» Когда я прочитал рассказ вслух товарищам, они удивились и выразили одобрение. Но на следующий день ротный командир за недостойное будущего офицера, а приличное только какому-нибудь «шпаку» занятие — «бумагомарание» — отправил меня на два дня под арест. Номер листка был со мной, и я по нескольку раз в день читал свой рассказ моему сторожу, унтер-офицеру. Он терпеливо слушал и каждый раз, сворачивая цигарку и сплевывая на пол, выражал свое одобрение восклицанием: «Ловко!» Когда я вышел из карцера, я чувствовал себя героем. Ведь так же, как Пушкин, я подвергся преследованию за служение отечественной литературе. Вот видишь, Иван Алексеевич, насколько мои первые читатели были снисходительнее твоего помещика.

Горький слушал молча, пощипывая усы и лукаво поглядывая то на Бунина, то на Куприна.

— Скажу вам, любезные товарищи, что мои первые критики и читатели доставили мне громадное наслаждение. Критики ругали меня так, как только могли. Я был уголовный преступник, грабитель с большой дороги, человек не только безнравственный, но даже растлитель молодого поколения. Вот как! Я был в восхищении от их вдохновенной изобретательности и прыгал до потолка от радости, как проняло этих жаб из обывательского болота. Были письма и от читателей. Враги после моего ареста выражали сожаление, что

меня не поторопились повесить. Для некоторых и эта мера казалась мала, и они желали, чтобы меня четвертовали. Но от рабочих и от молодежи я получал горячие пожелания не складывать оружие, а писать еще сильнее, еще лучше. И не тот, кто берет книжку сквозь сон, от скуки, будет вашим читателем. Читателем «Знания», а также вашим будет совсем новый, поднимающийся из низов слой. А это громадный слой.

Внимательный ко всем присутствующим за обедом, Горький обратился к профессору Ростовцеву:

— Недавно я читал в газетах отчет о заседаниях Археологического общества, жалел, что отчет был сухой и краткий.

Профессор Ростовцев принимал близкое участие в раскопках, производившихся летом в Ольвии. И он со знанием дела и увлечением рассказал Горькому о том, сколько различных предметов было найдено во время работ — ваз, утвари, светильников, греческих и римских статуэток и очень много старинных монет.

— Особенно ценной была для нас, ученых, — говорил Ростовцев, — находка большого количества разнообразнейших восточных монет. Это дало нам возможность установить, какие связи были у генуэзцев, основавших в Крыму свои колонии, не только с Грецией, Венецией и разными народами, населявшими побережье Средиземного моря, но и с азиатскими государствами. О них мы не располагали раньше многими данными.

Желая произвести на Горького наилучшее впечатление и внушить ему уважение к своим научным заслугам, профессор пыжился и часто, ни к селу ни к городу, вставлял: «Мы, ученые, полагаем...» Алексей Максимович внимательно слушал, изредка задавая вопросы.

— Нумизматика меня особенно интересует, — заметил он Ростовцеву. — У меня собралась небольшая, но, говорят, интересная коллекция старинных монет. Думаю основательно с этой наукой познакомиться.

Горький назвал несколько известных ему книг по нумизматике и обратился к профессору за советом, какие еще научные работы стоит приобрести.

— Не понимаю вас, Алексей Максимович, — сказал Ростовцев. — Вы большой русский писатель, большой художник — и хотите изучать нумизматику. Зачем она вам? Ведь сколько бы вы ни прочитали книг по

востоковедению, египтологии, археологии и нумизматике, о которых вы только что упоминали, науке вы все равно не принесете никакой пользы и останетесь в ней профаном. Так к чему же вам только увеличивать свой и без того большой балласт *лишних знаний*... Лучше предоставьте нам, ученым, заниматься тем делом, которому мы себя посвятили и где мы полезны. От вас же, Алексей Максимович, мы ждем не научных трудов, а высокохудожественных произведений.

— Премного благодарен, — иронически поклонился Горький. — А что вы скажете, господин профессор, если я задумал написать рассказ о некоем старике, простом крымском земледельце, который, вскапывая землю под виноградник, нашел сосуд со старинными монетами. Когда он показал свою находку специалистам и они объяснили ему значение этой находки, это так его заинтересовало, что он весь остаток своей жизни посвятил раскопкам и был счастлив, когда ему удавалось найти какой-нибудь древний стеклянный сосуд или даже просто черепки, не имевшие значения. Так вот, об этом человеке, который на старости лет нашел цель жизни, я хочу написать. Так как же, по-вашему, написать мне об этом нельзя? Я затронул область, принадлежащую ученым, в которую невеждам и профанам вторгаться не к рылу. Всяк сверчок знай свой шесток. Еще могу добавить, что вообще лишних знаний не бывает.

— Но я же, Алексей Максимович, говорил совсем о другом, а вы переиначиваете смысл моих слов и не хотите понять...

Но Горький был раздражен и больше не слушал профессора. Он повернулся к Батюшкову и заговорил с ним о Художественном театре, о том, что на днях в Москве будет генеральная репетиция его пьесы «На дне» [9].

— Однако, Константин Петрович, мы с вами у Куприных засиделись.

Я пошла в переднюю проводить Горького.

— Я много, очень много жду от Александра Ивановича, — сказал он мне. — Заставляйте его больше серьезно работать, не отвлекаясь мелочами, к чему у него склонность. Буду на вас надеяться. В мой следующий приезд в Петербург увидимся.

ГЛАВА XVII

Горький о «Поединке». — Разговор с Буниным о «Поединке». — Фамилии. — «Леонид Андреев».

— С Горьким, Машенька, мы хорошо поговорили, — рассказывал мне на другой день Александр Иванович, вернувшись из «Знания». — Он подробно расспрашивал о моих военных годах и о том, как я предполагаю воспользоваться материалом. Несмотря на то, что план «Поединка» у меня еще в голове не совсем сложился, хотя я и много о нем думаю, Горький все-таки остался очень доволен нашим разговором.

— Пишите же, пишите не откладывая. Такая повесть теперь необходима,— сказал он. — Именно теперь, когда исключенных за беспорядки студентов отдают в солдаты, а во время демонстрации на Казанской площади студентов и интеллигенцию избивали не только полиция, но под командой офицеров и армейские части... Это задело не только ко всему равнодушных обывателей, но и широкую публику — ведь почти в каждой семье сын или брат студент. Поведение офицеров возмутило всех. И к чему же это повело? Офицерство возомнило себя властью, призванной защищать престол и отечество от «внутренних врагов». В публичных местах пьяные офицеры ведут себя вызывающе, ни с того ни с сего требуют от оркестра исполнение гимна, и если им кажется, что кто-либо не столь поспешно встал, его осыпают бранью и угрозами. Недавно в ресторане был убит студент — офицер шашкой разрубил ему голову; в саду оперетты «Аквариум» застрелен молодой врач; при выходе из театра тяжело ранен акцизный чиновник, будто бы толкнувший офицера. Подобными сообщениями сейчас пестрят столичные и провинциальные газеты.

— «Поединок» скоро не могу написать, — ответил я Горькому. — Повесть должна закончиться дуэлью, а я не только никогда не дрался на дуэли, но не пришлось мне быть даже и секундантом. Что испытывает человек, целясь в своего противника, а главное, сам стоя под дулом его пистолета? Эти переживания, психология этих людей мне неизвестны. И мысль моя невольно возвращается к подробностям дуэли Пушкина и Лермонтова. Но это же литература, а не личные реальные

переживания. Теперь я с досадой думаю о том, что было несколько случаев в моей жизни, которые, если бы я захотел, могли кончиться дуэлью, но эти случаи я упустил, о чем теперь сожалею.

Тут, Маша, Алексей Максимович встал и раздраженно заходил по комнате.

— Вы черт знает что говорите, собираетесь писать об офицерах, когда офицерская закваска еще так крепко сидит в вас. Дуэль была бы неизбежна, — произносите вы равнодушно, точно это безобразие в порядке вещей... Не ожидал от вас. Знайте только, если вы эту повесть не напишете — это будет преступлением.

Горький продолжал ходить по комнате, когда Пятницкий позвал нас завтракать.

Перед моим уходом Алексей Максимович вернулся к вчерашнему разговору об «Олесе» и опять сожалел, что она не вошла в первый том.

— Эта вещь нравится мне тем, что она вся проникнута настроением молодости. Ведь если бы вы писали ее теперь, то написали бы даже лучше, но той непосредственности в ней бы уже не было, — сказал Горький.

Мнения Алексея Максимовича об «Олесе» и Чехова совершенно различны. И вот, Маша, я не знаю, кому же мне верить. Конечно, мне приятнее, когда меня хвалят, — засмеялся Александр Иванович. — Но ведь прав и Антон Павлович, который считает эту вещь слабой и указывал мне, что загадочное прошлое старухи-колдуньи и таинственное происхождение Олеси — прием бульварного романа. Недаром в свое время вернуло мне эту повесть — «Русское богатство» и даже Михайловский не нашел нужным высказать о ней свое мнение. Рукопись была мне возвращена с кратким извещением Иванчина-Писарева, что для журнала она не подошла. С досады я отдал ее в газету «Киевлянин». По моей просьбе мне сделали несколько десятков авторских оттисков, сверстанных в виде брошюры. И сейчас на память об «Олесе» у меня остался только один экземпляр этой брошюры, которую я давал тебе читать.

Вскоре к нам зашел Бунин.

— На днях я был у Пятницкого, — обратился он к Александру Ивановичу, — и он говорил мне, что ты пишешь военный роман, о котором рассказывал Горькому перед его отъездом.

— Не пишу, а хочу написать, — возразил Куприн, — а это знаешь, как говорят у нас в Одессе, еще две большие разницы. До того, как приступить к роману, я должен написать еще тома два рассказов. Ты не раз высказывал мнение, что лексикон мой узок. Также и Антон Павлович советовал мне расширять его.

Мы часто спорили с тобой о языке писателя, о том, какими путями художник обогащает его. Я знаю, ты держишься того мнения, что необходимо не только изучать язык наших классиков, но и как можно больше читать. Может быть, такой совет и помогает некоторым авторам, но это не для меня. Толстым, Тургеневым, Достоевским я восхищаюсь. Но это не значит, что следует заимствовать у них и у других больших писателей все характерные приемы их письма. Как ни старайся, а классиков из нас с тобой, Иван Алексеевич, по такому рецепту не выйдет. «Нива» все равно издавать нас не будет. Я учусь языку не по классическим образцам, как бы они ни были хороши, и не по книгам. Ты сам же высмеиваешь молодых поэтов, которые для подыскания подходящих рифм учат наизусть словарь Даля. Прекрасен, гибок, ярок и точен язык народа. И только в соприкосновении с народом, а отнюдь не с литературой, с людьми самых разнообразных слоев обогащается язык писателя. Каждая встреча с незнакомым человеком дает мне что-нибудь новое. Не только характерный оборот речи, но иногда важно одно только случайно брошенное слово и дополняющие это слово жест, интонация, выражение лица. В каждого нового собеседника я жадно вглядываюсь, впитываю в себя его наружность, его речь, которая, отлагаясь и перерабатываясь во мне, обогащает и мой язык, и зрительные впечатления.

Что же касается моего намерения написать военную повесть, то своим словесным запасом я уж как-нибудь обойдусь. Тем более, что здесь на помощь мне придет еще очень мало затронутый мною в рассказах армейский язык, язык солдат, офицеров и старшего командного состава. Ведь это тот самый язык, в котором я варился, начиная с корпуса, юнкерского училища и кончая годами офицерской службы. И он настолько мне знаком и привычен, что первое время, бывая в «штатском» обществе, среди таких, как ты, Иван Алексеевич, шпаков, — засмеялся Куприн, — я часто сдерживался, чтобы

в разговоре не построить фразу по самому галантному армейскому образцу. Однако, Иван Алексеевич, говорить о том, чего еще нет, пока не стоит.

— Я вижу, Александр Иванович, что ты со мной не откровенен и что-то крутишь, — сказал, уходя, Бунин.

К обеду пришли Елпатьевские, которые зимой на два-три месяца всегда приезжали в Петербург из Ялты. Александр Иванович рассказал Сергею Яковлевичу о своем посещении Горького, о том, что тот горячо убеждал его взяться за большую повесть из военного быта.

— И вот теперь я сбит с толку и не знаю, кого мне слушать, — засмеялся Александр Иванович. — Чехов говорит, что мне еще рано писать большую вещь, а Горький считает, что я должен сесть за нее немедленно. И я, как буриданов осел между двумя равными охапками сена, не могу выбрать из них лучшую, а пока ничего не пишу.

Сергей Яковлевич, который о литературе всегда говорил с очень серьезным и глубокомысленным видом, пустился в длинные рассуждения. Сводились они к тому, что хорошие и рассказы и повести хороши бывают всегда. Но так как сам он ни одной большой вещи не написал — одни только рассказы, то в конце концов отдал предпочтение советам Чехова.

— Почему-то и сам Антон Павлович, чем писать длинные вещи, пишет небольшие рассказы, — сказал он в заключение.

Когда Елпатьевские ушли, Александр Иванович сказал:

— Если ты не устала сегодня от гостей, Маша, и можешь внимательно слушать меня, я открою тебе секрет, отчего я не могу приняться за «Поединок», хотя большая часть его уже сложилась у меня в голове и мне стоит только сесть за письменый стол, чтобы начать писать. Материал у меня большой, и думаю даже, что весь он в повесть не уложится, останутся отходы. Но это неважно. План тоже хорошо обдуман. И все-таки мешает мне писать — тебе, может быть, покажется странным, но для меня это имеет громадное значение, — у меня нет фамилии главного действующего лица или, как принято говорить «героя». Те фамилии, какими я стараюсь его наградить, в моем сознании органически с ним не сли-

ваются. Хуже, они отталкивают меня, раздражают, как фальшивая нота. Мой герой — это я. В него вкладываю я свои мечты, заветные чувства, мысли. Я должен его любить и верить ему, как верю самому себе.

В рассказе «Казарма», который я читал тебе, я вывел поручика Зыбина и предполагал в дальнейшем сделать его главным действующим лицом «Поединка». Зыбин — это неплохо, но это не то, что мне надо и чего я ищу. Фамилия должна звучать так, чтобы она сразу запоминалась. Она должна быть короткой, но не слишком распространенной и в то же время не вычурной. Мой герой из бедной мелкопоместной дворянской семьи. Поэтому, хотя и обедневшие, но родовитые дворянские фамилии сюда не подойдут. Затем фамилия должна быть такой, чтобы в ней нельзя было менять ударения и таким образом ее искажать, что, по словам Бунина, делают все хамы. Могу привести тебе примеры: Жукóвский, а не Жýковский, Ани́чков, а не Аничков, Шипóв а не Ши́пов, Лéрмонтов, а не Лермóнтов, и так далее.

Вот видишь, какая это нелегкая задача — найти настоящую фамилию и как великолепно разрешали ее наши классики. Толстой, например, просто менял только одну букву в старых аристократических фамилиях: Волконский — Болконский, Трубецкой — Друбецкой. Помещичье дворянство прекрасно представлено тургеневскими фамилиями. Я бы охотно взял для моего героя фамилию Кирсанов, это мне подошло бы. А как фамилия Базарова срослась с его личностью... И хотя он разночинец, но все же не представляю себе, чтобы он был Сидоров.

Взгляни, что я тебе покажу.

Он пошел в свою комнату и вернулся с двумя большими листами писчей бумаги, разграфленными на столбцы и клеточки.

— Как ты думаешь, что это такое? — спросил он, еще ничего не показывая мне. — Теперь посмотри, это все фамилии. Я распределил их по отдельным разрядам. В первом столбце фамилии дворянские и помещичьи. Дальше идет духовенство, их фамилии бывают иногда очень оригинальны. Образуются они главным образом из названий праздников и святых мест, имен угодников и святителей, вообще из всего православного и церковного обихода. Разнообразны купеческие имена, но часто

среди них попадаются и неприличные, например Широкозадов, Голопузов и т. д. Встречаются еще менее благозвучные. Много фамилий областных, типично сибирские — Седых, Вороных, Черных, Мертваго... Курские, орловские, рязанские фамилии тоже значительно разнятся. Тут у меня и Литва и Полесье, и Крым, и местечковые еврейские фамилии. Словом, это богатейшая коллекция имен и фамилий. И все-таки, когда я сажусь писать, я вдруг вспоминаю совсем новую фамилию, которой нет в моем списке. — Он хлопнул ладонью по листу и засмеялся. — Это фамилия часто самая лучшая. А теперь тебе пора спать. Я заговорил тебя, и ты едва сидишь.

Вскоре Александр Иванович заговорил со мной опять о фамилиях — на этот раз о фамилиях авторов.

— Когда видишь на обложке новое имя, то всегда приходит в голову — имеет ли оно будущее, или это фамилия без будущего. Впервые я задумался над этим несколько лет назад, когда мне попались стихи поэта Лялечкина. Стихи были неплохи, хотя и незрелые, и видно было, что писал их начинающий молодой автор. «Ну, хорошо, — сказал я себе, — сейчас он молод и «Лялечкин» звучит наивно и даже мило. А что же будет, когда он доживет до седых волос? Он все еще будет Лялечкиным, и это будет смешно не вязаться с его поэзией, когда она станет зрелой и серьезной. Нет, это фамилия без будущего, зрелого писателя из него не выйдет». И странно, после этого небольшого сборника фамилия Лялечкина мне больше не попадалась. Кажется, он умер молодым.

Бунин говорил мне, что, когда возник вопрос об издании сборника рассказов Андреева, Леонид был в нерешительности, не взять ли какой-нибудь псевдоним — такой ординарной, почти такой же, как Иванов или Петров, казалась ему собственная фамилия. И, перебирая фамилии, он говорил: «Вот Писемский, это неординарно, или Михайлов-Шеллер, Мельников-Печерский. Эти фамилии читатель сразу запоминает. Андреев... Это мамаша берет провизию в мясной лавке Андреева. Но псевдонима ни за что не хочет Шура.

— Наконец, — рассказывал Бунин, — я подал ему мысль: да подписывайся ты Леонид Андреев. Это будет звучать как двойная фамилия.

Леонид рассмеялся и повторил несколько раз: «Совершенно, совершенно верно: Леонид Андреев. Шуре это понравится».

Я тоже задумался над своей фамилией, когда начал писать, — сказал Куприн. — Дед мой был выходец из тамбовской губернии, где имел небольшое имение на реке Купре́. И все его родичи в своей фамилии ударение делали на последнем слоге — Купри́н. В корпусе, военном училище и в полку преподаватели и товарищи так и произносили ее.

Свою фамилию я не считаю особенно удачной, хотя она и не плоха. Но меня раздражает, когда делают неправильно ударение на первом слоге. Как-то раз в Киеве мы сидели своей компанией, пили пиво в небольшом ресторанчике, где часто сходились сотрудники различных газет. За соседним столиком сидел какой-то неизвестный нам тип и все время с интересом прислушивался к нашим разговорам. Видимо, он имел какое-то отношение к литературе. Мы о чем-то заспорили, и кто-то громко несколько раз назвал меня по фамилии. Тогда незнакомец взял свой стул и попросил разрешения присоединиться к нам. Вдруг он обратился ко мне: «Скажите, отчего вас называют Купри́н, а не Ку́прин? По-моему, Ку́прин лучше и остается в памяти, потому что похоже на «откупорен».

Он засмеялся, и мне показалось, что он хотел плоско сострить над моей фамилией. Это меня взорвало, и тут я наглядно показал ему, какое «ударение» следует делать, и показал так, чтобы он его запомнил.

О подробностях не буду распространяться. «Пассон», как говорят французы.

ГЛАВА XVIII

Водевиль. — Рождение дочери. — Первый том рассказов Куприна. — Крестины. — Григорий Петров — десять лет спустя.

Наступил последний месяц моей беременности, и Александр Иванович очень беспокоился о моем здоровье. Большую часть времени он теперь проводил дома. Каждый день водил меня гулять. Наша улица — Разъезжая — выходила на широкую Кабинетскую, которая

упиралась в Семеновский плац. В прежние времена на этой площади казнили осужденных. Теперь же это был обнесенный забором громадный ипподром для рысистых бегов.

— Когда ты выздоровеешь, Маша, — говорил мне Александр Иванович, — непременно поведу тебя на бега. Знаешь, на бегах горячие лошади берут сразу, с места. Они становятся любимицами публики, им присуждают большие призы. Но это большей частью лошади, бегущие на короткую дистанцию. На длинную им не хватает дыхания и выдержки. Тогда раньше незаметная, скромная лошадка приходит первой и берет приз.

Вот и я на литературных бегах такая незаметная, скромная лошадка. Но я лошадка на большую дистанцию. Короткая мне не нужна. Поэтому пускай бегут, обгоняют меня и берут призы Андреев, Чириков, даже Скиталец. Я, Машенька, свое возьму. Помни, моя дистанция длинная.

Помолчав, Александр Иванович добавил:

— Лошадка на длинную дистанцию и Бунин, но он хладнокровно к этому не относится. Он сердится, когда его обгоняют. Его это раздражает.

Куприн был полон предстоящим рождением ребенка.

— Конечно, это будет мальчик, сын, мой сын. Какое таинственное явление — рождение ребенка. Мы назовем его Алешей. Алексей — «божий человек». Он не святой, но он «божий человек» и таковым числится в святцах. Он был сыном очень богатого знатного вельможи, но уже в отроческие годы любил уединяться в лесу и молиться. По мере возмужания ему все более и более претила греховная жизнь отца и окружающей среды, и он скрылся из родительского дома. Его сочли умершим. Прошло много лет. Алексей старым нищим странником вернулся на родину и пришел в родительский дом. Никто из живших там не узнал его, и он попросил дать ему место в хлеву. Питался он из одного корыта с домашними животными. Простой народ понял, что он праведник, и стекался к нему за наставлениями. Вот в память о нем и я хочу назвать сына Алексеем.

В другой раз Александр Иванович говорил:

— Вот, Маша, если бы мы жили не в Петербурге, а в деревне Казимирке, где я подвизался в качестве псаломщика, и ты бы мучилась родами, я бы отправился

в церковь открыть царские врата. Это делается при трудных родах. Представь себе обстановку Маша; ночь, темная маленькая церковь, горит только несколько тоненьких восковых свечей, и старенький попик (я вижу его таким, как тот, у которого я в первый раз исповедовался в детстве) тихим, проникновенным голосом читает молитвы. И какие замечательные молитвы! На коленях стоит и истово молится отец, верящий, что чрево родильницы в это время раскроется так же легко, как царские двери. Правда, хорошо, Маша?!

— Ты, Сашенька, очень хорошо и трогательно рассказываешь, но меня такая возможность мало радует... Твоя мечта исполнится в том случае, если у меня роды будут очень тяжелые.

— Машенька! Здесь же все это неисполнимо. У нас громадный Владимирский собор, служит в нем протоиерей. Представь только, если бы я вдруг ночью разбудил его и попросил открыть царские двери, он подумал бы, что к нему ворвался сумасшедший или пьяный, которого следует немедленно отправить в участок. На самом же деле ты, наверно, родишь легко. Когда у тебя родится ребенок, ты сразу повзрослеешь — изменится детски-наивное выражение лица, разовьется фигура, станет плавной походка. Ты будешь красивой женщиной и очень нравиться мужчинам. И, чтобы ты заранее знала, что ожидает твоего будущего поклонника, я прочту тебе водевиль в одной сцене и двух картинах, который я заблаговременно на этот случай заготовил. Но позовем дядю Коку [1]. Он опытен в такого рода делах и выскажет свое компетентное мнение.

До болезни мой брат был «блестящим молодым человеком... с большими связями и великолепной карьерой впереди и прекрасно танцевал на настоящих светских балах, обожал актрис из французской оперетки и новодеревенских цыганок, пил шампанское, по его словам, как крокодил, и был душой общества». Вследствие болезни «он вовсе не утратил ясности и бодрости духа» и переписывал на пишущей машинке пресмешные нецензурные письма в стихах, которые сочинял Александр Иванович.

— Итак, слушайте, — торжественно произнес Александр Иванович, — водевиль в одном действии, двух картинах и трех лицах.

Действующие лица: Я — муж, Маша — моя жена, Петр Федорович — Машин поклонник.

Картина первая. Маша сидит в гостиной на шелковом канапе. Глаза ее устремлены поверх книги, которую она держит в руках, но не читает.

— Интересно, приедет ли сегодня Петр Федорович,— произносит она мечтательно.

В глубине комнаты раздвигается бархатная портьера и вырисовывается фигура Петра Федоровича. Это молодой человек в элегантном костюме, воротничок подпирает подбородок, усы колечком, пробор, как у Бунина. Он подходит к Маше, целует ей руки, одну, потом другую и опускается против нее на козетку.

Петр Федорович. Я узнал, что ваш муж уехал на бега, и поспешил к вам. Дорогая моя *(говорит козлиным голосом, как на провинциальных сценах говорят актеры, играющие первых любовников)*, он неглижирует вами, лошадей он любит больше, нежели вас. У него низменные вкусы, он вас не понимает. Он некрасив, неловок, груб. Вашу возвышенную, тонкую натуру он не в состоянии оценить.

Маша. Пьер, не говорите так о моем муже, умоляю вас. Это меня расстраивает.

Петр Федорович. Но вы же должны понять разницу между мной, мной и этим недостойным вас человеком. Мари, обожаемая, вы должны быть моей. *(Подтягивает спереди брюки, опускается на колени так, что видны пыльные подошвы и ушки штиблет, и, обняв Машу за талию, пытается покрыть ее лицо поцелуями)*.

Картина вторая. Из-за портьеры появляюсь я — Машин муж. Беру Петра Федоровича за ногу и выбрасываю его в окно.

— Ах! — вскрикивает Маша и падает в обморок.

Так как всех трех действующих лиц Александр Иванович изображал сам, причем ярко и талантливо, то эта инсценировка была очень забавна и все мы хохотали.

— Вот, Маша, что ожидает твоего будущего Петра Федоровича, — в заключение говорит Александр Иванович.

Этот водевиль он неоднократно варьировал. Сам он и Маша оставались, а Петр Федорович становился то поэтом, то художником, то гвардейским офицером. Соответственно менялся и его монолог.

Другой водевиль был посвящен дяде Коке. Там действовали дядя Кока, мадам Жоржет и ее богатый покровитель, и он предназначался вообще для очень узкого круга слушателей.

* * *

Третьего января 1903 года у нас родилась дочь Лидия. Роды были довольно тяжелые. На третий день я чувствовала себя еще очень слабой, когда в мою комнату вошел Александр Иванович.

— Маша, здесь Миролюбов, он твой старый друг и просит разрешить ему только повидать и поздравить тебя.

— Только на несколько минут, — вмешалась дежурившая при мне акушерка.

Александра Ивановича позвали в редакцию, акушерка, не желая своим присутствием стеснять нас, тоже вышла. Виктор Сергеевич, придвинув свой стул ближе ко мне, наклонился и с таинственным видом сказал:

— Вот вы теперь настоящая женщина, у вас даже родился ребенок. Скажите мне откровенно, вопрос этот меня мучает. В Религиозно-философском обществе [2] последние два месяца идут большие споры по докладу профессора богословия Тернавцева о непорочном зачатии. Скажите, как по-вашему, возможно ли, чтобы ребенок мог родиться только от близкого духовного общения супругов...

Я с детства была смешлива. Но здесь его необычайно серьезный вид, таинственный тон и вздорность вопроса до такой степени меня рассмешили, что я громко засмеялась. Смех неожиданно перешел в истерический хохот и слезы. Чем больше я старалась сдерживаться, тем сильнее становился истерический припадок. Случилось это со мною в первый раз в жизни, должно быть, вследствие большой слабости. Из соседней комнаты выбежала акушерка и, испуганная, бросилась звать Александра Ивановича.

— Что случилось, Маша, что с тобой случилось? — в тревоге спрашивал Александр Иванович. — Виктор Сергеевич, что с ней случилось?

Ответить я сразу не могла, потому что захлебывалась слезами и смехом. Виктор Сергеевич стоял

совершенно растерянный, не зная, что сказать. Да и вид Александра Ивановича, бледного от гнева и тревоги, парализовал его речь. Наконец он произнес:

— Я ведь только спросил ее, только спросил...

— О чем, о чем же?

Виктор Сергеевич был в затруднении.

— Потом, потом, Саша... — наконец выговорила я и махнула ему рукой.

Акушерка, дав мне успокоительные лекарства, попросила немедленно оставить меня одну.

Через некоторое время, когда я окончательно успокоилась, Александр Иванович вошел ко мне и сказал:

— Ну мог ли я вообразить, что этот старый осел, у которого голова забита метафизическим туманом, доведет тебя до такого нервного состояния. Ведь не придумаешь, что человеку его возраста может прийти в голову такой вздор... А ведь это, Маша, не случайно. Год назад я писал Антону Павловичу, что религиозные наклонности Виктора Сергеевича тянут его к Религиозно-философскому обществу, но в этом обществе он находит одно мракобесие отцов церкви, истерическое кривляние Мережковского и ехидное смирение Розанова. И все это не дает ему того душевного спокойствия, которого он ищет.

В начале февраля в «Знании» вышел первый том рассказов Куприна.

В ответ на поздравительную телеграмму тети Веры Александр Иванович писал:

«Дорогая тетя Вера! В свет вышли два новых произведения: Ваша внучка Лидочка и моя книга[3]. Последнее из них посылаю Вам вместе с приветом от лучшего.

Ваш *А. Куприн*»

— Теперь, Маша, я могу, наконец, исполнить совет Антона Павловича и послать книжку моих рассказов Толстому. В январе прошлого года Чехов писал мне, что Лев Николаевич читал мою повесть «В цирке»[4]. Повесть ему очень понравилась, и Чехов советовал мне послать Толстому мои прежние рассказы. Я этого не сделал. Послать Льву Николаевичу книжку «Миниатю-

ры» я не мог, очень много в ней балласта, который произвел бы на него удручающее впечатление, да и по своей внешности, с этой нелепой женщиной на обложке, у нее был слишком глупый, легкомысленный вид.

Помолчав, Александр Иванович снова вернулся к волнующему его вопросу.

— Но этот том обязательно пошлю Толстому. Теперь своих рассказов я не стыжусь. К счастью, «Миниатюры» очень быстро разошлись в железнодорожных киосках. И теперь эта книжка, слава богу, никому не может попасться на глаза.

Несмотря на то, что Александр Иванович ожидал рождения сына, а на свет появилась дочь, он был счастлив и доволен.

— Девочки добрее и ласковее мальчиков, — говорил он. — Я не раз наблюдал, с какой материнской заботливостью старшие сестры относятся к малышам в больших семьях.

«Это необыкновенный ребенок. Он уже все понимает. А какой он красивый!» — говорят все любящие родители и вытаскивают своего ребенка напоказ гостям, которые в высокой степени равнодушно созерцают бессмысленно таращившего глаза младенца, но с фальшивой улыбкой восклицают: «Да, да, замечательный ребенок». Мы, Маша, так делать не будем. Мы никому нашу Лидочку не будем показывать, хотя, — засмеялся Куприн, — наша Лидочка необыкновенный ребенок, не то что все дети. Но говорить об этом мы будем только друг с другом. Ты знаешь, конечно, я совсем не суеверен. Но... я боюсь недоброжелательного, дурного взгляда. «Ребенка недолго и сглазить», — предупреждала мамаша.

Признаться, я не люблю имя Лидия. Мелкие провинциальные актрисы часто присоединяют его к своим неправдоподобным псевдонимам. И потом, мой ранний рассказ «Лидочка»[5] я не считаю удачным. Если со временем придется его переиздавать, я, конечно, изменю заглавие. Мне бы больше хотелось назвать нашу дочь Марией. В отличие от тебя она была бы Машура. Но ничего не поделать. Раз ты уже обещала Александре Аркадьевне назвать свою дочь Лидией в память своей умершей сестры — обещание надо исполнить.

Вскоре дома у нас состоялись крестины. Крестной матерью была Ольга Францевна Мамина. Крестил, конечно, Григорий Спиридонович Петров. Когда внесли купель, то мы с Ольгой Францевной, наполняя ее водой, внимательно следили за плавающим в ней градусником. Смущенный таким кощунственным отношением к обряду, пожилой псаломщик отошел и молча сел у стенки, а Григорий Спиридонович начал любоваться видом из окна на Разъезжую улицу. Он обернулся и приступил к своим пастырским обязанностям лишь после того, как я сказала:

— Температура двадцать восемь градусов. Теперь уже можно окунать.

Петров так ловко и осторожно погружал Лидочку в купель, поддерживая ее головку над водой, что захлебнуться она никак не могла. Дмитрий Наркисович, следивший за всем с большим вниманием, говорил потом, что Петров крестил ее не по строго православному чину, а как обливанку.

Псаломщик, упаковав купель и получив надлежащее вознаграждение, уехал.

Мы сели обедать. Я совершенно упустила из виду, что сейчас пост, и, как хозяйка, не сразу заметила, что Петров только пригубил из рюмки, которую налил ему сидевший рядом Дмитрий Наркисович, и закусил кусочком селедки, а к заливному поросенку даже не притронулся. Когда подали бульон с пирогом, Григорий Спиридонович, вежливо обращаясь ко мне, сказал, что он в посту «скоромного» не употребляет. Мы с Александром Ивановичем растерялись и не знали, как выйти из положения. А Дмитрий Наркисович, который еще до крестин успел несколько подзаправиться, громко захохотал:

— Ну, что ты, батя, сотвори молитву и скажи только: порося, порося, обратись в карася. И он станет рыбой. Я из духовного звания и хорошо знаю все наши обычаи, знаю, как в пост готовят архиерейскую уху на цыплячьем бульоне.

Петров ничего не ответил Мамину, сохраняя серьезное и сдержанное выражение лица.

Десять лет спустя, когда я жила в Финляндии на даче, ранней весной ко мне неожиданно вошли три посетителя в охотничьих куртках с ружьями и ягдташами

через плечо. Это были Е. Н. Чириков, С. Г. Скиталец и какой-то незнакомый мужчина очень высокого роста с выбивавшимися из-под шапки на лоб темными волосами.

— Что, небось не узнаете, — своим частым говорком обратился ко мне Чириков.

— Ваш старый знакомый, — басом произнес незнакомец. — Григорий Петров.

— Пришли к вам, — продолжал Чириков. — Я здесь один, хозяйства нет, и я решил, что у вас найдется, чем нам, бедным охотничкам, перекусить. А вот вам наш трофей. — И он вынул из сумки большого тетерева. — По совести говоря, мы горе-охотники. Но, по счастью, встретили в лесу настоящего охотника Ионаса Кюнерайнена, и он уступил нам одного из своих тетеревов.

На даче прислуги не было. Я была одна и на скорую руку собрала на стол. Это было на четвертой неделе поста, но все трое закусывали с большим аппетитом, хотя то, что нашлось у меня (вареное мясо и какие-то консервы), никак нельзя было назвать постной пищей.

По финскому обычаю я предложила гостям после закуски тодди — горячий кофе со спиртом. Все приветствовали этот напиток.

— Знаете, Мария Карловна, нашего полку прибыло. Григорий Спиридонович теперь заправский литератор, сотрудник «Русского слова». Так-то, батя, за твое здоровье! И в честь его вспомним нашу застольную семинарскую песню, — предложил Скиталец и затянул:

Аристотель о-оный,
Мудрый философ...
Продал пантало-о-ны
За сивухи штоф...

ГЛАВА XIX

У Ростовцевых. — Воспоминания о поездке по Оке в имение Рукавишниковых — Подвязье. — Мировой судья К. Е. Ромашов.

Александр Иванович всегда обедал дома и старался не опаздывать. А если иногда и запаздывал, то ненамного, и в этих случаях приводил с собой кого-нибудь. Однажды Соня Ростовцева позвонила мне по телефону.

Она сообщила, что у ее родителей собралась целая компания приехавших на несколько дней в Петербург нижегородцев.

— Если вам будет приятно с ними повидаться — вспомнить лето, когда вы гостили у нас на даче около Нижнего, то приезжайте скорее.

Летом 1899 года по дороге из Крыма я месяц прожила на даче у Кульчицких под Нижним Новгородом («Щелоков хутор»). Соня тогда еще не была замужем, и мы очень весело проводили время. Ежедневно из города приезжали гости, устраивались поездки на пароходе по Волге и Оке, пикники. В числе Сониных поклонников имелся пароходовладелец Петр Алексеевич Корин, поэтому мы без стеснения завладели 29-го июня, в день Петра и Павла, его пароходом и отправились в трехдневную поездку по Оке. С нами поехал отец Сони Михаил Францевич, мировой судья К. Е. Ромашов, громадного роста; владелец парохода П. А. Корин, который был Ромашову по плечо, еще несколько человек и Вячеслав Рукавишников — младший сын нижегородского миллионера С. М. Рукавишникова.

В ста верстах от Нижнего по Оке, в Подвязье, находилось имение Рукавишниковых. Курс держали на Подвязье...

Через несколько часов мы сошли с парохода и веселой шумной компанией направились через великолепный парк к громадному двухэтажному дому с колоннами.

— А где Иван? — спросил Вячеслав Рукавишников сестер, которые вышли нам навстречу.

— Иван с утра куда-то ушел, — ответила одна из них.

Перед чаем гости разбрелись по парку. Мне хотелось посмотреть общий вид сверху, и я поднялась на второй этаж.

В конце очень широкого коридора с большими окнами дверь в одну из комнат была полуоткрыта. Я заглянула в нее. Перед мольбертом с кистью в руке стоял высокий молодой человек, в белой блузе.

Я вошла в комнату и остановилась перед картиной. Художник не обратил на меня никакого внимания.

Нижняя часть холста была покрыта красными и зелеными мазками. Среди зелени лежало очертание нагого тела в лиловых тонах.

— Вот гадость, — сказала я.

— Почему? — спросил художник, не оборачиваясь.

— Где вы могли видеть такое лиловое чудовище? Ведь это, кажется, женщина?

— Да, женщина.

— И вся картина мазня!

— А вы зачем здесь?

— Осматриваю дом.

— А потом?

— Потом пойду вниз пить чай.

Молодой человек отошел на несколько шагов от мольберта и, любуясь своим произведением, продекламировал:

— Лиловая женщина и белая девушка (я была в белом платье). Белая девушка и лиловая женщина. Пойду за белой девушкой вниз пить чай!

Так познакомилась я с поэтом и художником Иваном Сергеевичем Рукавишниковым.

После чая мы гуляли по роскошному парку, а за обедом началось чествование Петра. Настроение у всех было игривое, и Константин Ефимович Ромашов, шутя, публично сделал предложение Соне. Никто не возражал.

Иван Сергеевич подхватил эту шутку и предложил руку и сердце белой девушке. Его выбор все тоже одобряли.

Веселье продолжалось и на следующий день на обратном пути. К нам присоединились и братья Рукавишниковы.

Увидев на высоком крутом берегу церковь, кто-то подал мысль неотлагательно обвенчать обе пары. Петр Корин и Вячеслав Рукавишников должны были отправиться к попу на переговоры. Но Михаил Францевич Кульчицкий успел их остановить.

У Кульчицких я застала несколько человек, которых еще раньше встречала у Короленко: председателя земской управы Кильвейна, старика-нотариуса Ланина, у которого в свое время письмоводителем был А. М. Пешков. Горький посвятил ему один из томов своих сочинений. Приехал и бывший претендент на Сонину руку, нижегородский домовладелец и мировой судья Ромашов, и человек пять из молодежи, родные и двоюродные братья, — все Рукавишниковы.

Старшее поколение в гостиной вело какие-то деловые разговоры, а мы собрались в Сониной комнате и вспоминали приключения во время поездки по Оке. Время летело незаметно, и когда я спохватилась, что пора домой, то оказалось, что уже седьмой час. Я забеспокоилась: вдруг Александр Иванович пригласил кого-нибудь к обеду, а меня еще нет. Выйдет неловко, и я поспешила домой.

У нас в столовой никого не было, но стол был накрыт. Я заглянула в комнату Александра Ивановича — там было пусто. Но когда я открыла дверь в нашу спальню, то увидела Александра Ивановича, который сидел боком у моего письменного стола и даже не повернул голову в мою сторону. Со стола был сброшен на пол его большой портрет, рамка была разбита, портрет залит чернилами, а хорошая фотография, сделанная в Коломне зятем Александра Ивановича С. Г. Натом, была разорвана в клочки. Металлическую пепельницу, которая стояла у меня на столе, Александр Иванович мял в руках, вдавливая ее высокие края внутрь. Пепельница была массивная, и было заметно, что, несмотря на большую физическую силу, эта работа давалась ему нелегко.

От изумления я остолбенела. Он не произносил ни слова.

— Саша, что за погром? Что случилось?

— Где ты была? — отрывисто спросил он.

— Я была у Сони и засиделась у нее...

— Ага... Засиделась... Там был, конечно, Сонин родственник, гвардейский офицер... Соня мне рассказывала — раньше он за тобой ухаживал.

— Что за вздор, никакого там офицера не было, а были приезжие нижегородцы. Ты же знаешь, что четыре года назад я гостила у Кульчицких в Нижнем...

— Ах, вот как, нижегородцы... А кто там был?

— Могу тебе перечислить, но ведь ты никого из них не знаешь. Были старики-нотариусы, а из молодежи Рукавишниковы и бывший Сонин поклонник Ромашов — он теперь уже женат.

Александр Иванович внезапно поднял голову, уставился на меня и, еще продолжая держать в руках изуродованную пепельницу, переспросил:

— Кто, кто?

— Но я же сказала тебе — кто.

— Нет, повтори еще раз последнюю фамилию.

— Мировой судья Ромашов. Ромашов, мировой судья. Понял наконец? — повторила я сердито.

Александр Иванович вскочил, отшвырнул пепельницу.

— Ромашов, Ромашов, — вполголоса произнес он несколько раз и, подойдя ко мне, взял за руки. — Маша, ангел мой, не сердись на меня. Я всегда волнуюсь и злюсь, как дурак, ревнивый дурак, когда тебя долго нет дома. Я же знаю, что я смешной. Конечно, Ромашов. Только Ромашов... Да, именно Ромашов. Какая ты умница, Машенька, что поехала к Соне. Могло же так случиться, что никогда не узнал бы о существовании Ромашова. А теперь «Поединок» ожил, он будет жить... Будет жить!!

ГЛАВА XX

Рассказы Куприна о жизни в полку. — Столкновение с околоточным. — Экзамены в Академию Генерального штаба. — Приказ генерала Драгомирова.

Хотя Куприн и нашел фамилию для главного героя — сел он за работу не сразу.

Рассказывая по вечерам эпизоды из повести, Александр Иванович попутно сообщал мне с большими подробностями о своей жизни в полку, потому что действие в повести развивалось в той последовательности, в какой протекала его полковая жизнь.

Подробно рассказал он мне о связи с женщиной, значительно старше его. Госпожа Петерсон (под этой фамилией она фигурирует в «Поединке») была женой капитана. Сошелся Куприн с ней только потому, что было принято молодым офицерам непременно «крутить» роман. Тот, кто старался этого избежать, нарушал общепринятые традиции, и над ним изощрялись в остроумии.

Третий год Куприн служил в Проскурове, когда на большом полковом балу в офицерском собрании познакомился с молодой девушкой. Как ее звали сейчас, не помню — Зиночка или Верочка, во всяком случае, не Шурочка, по повести — жена офицера Николаева.

Верочке недавно минуло 17 лет, у нее были каштановые, слегка вьющиеся волосы и большие синие глаза. Это был ее первый бал. В скромном белом платье, изящная и легкая, она выделялась среди обычных посетительниц балов, безвкусно и ярко одетых.

Верочка — сирота, жила у своей сестры, бывшей замужем за капитаном. Он был состоятельным человеком и неизвестно по каким причинам оказался в этом захолустном полку.

Было ясно, что он и его семья — люди другого общества.

— В это время, — рассказывал Александр Иванович, — я мнил себя поэтом и писал стихи. Это было гораздо легче, чем мучиться над повестью, которую я никак не мог осилить. С увлечением я наполнял разными «элегиями», «стансами» и даже «ноктюрнами» мои тетради. В эту тайну я никого не посвящал. Но к Верочке я с первого взгляда почувствовал доверие и, не признаваясь в своем авторстве, прочел несколько стихотворений. Она слушала меня с наивным восхищением, и это нас сразу сблизило. О том, чтобы бывать в доме ее родных, нечего было и думать.

Однако подпоручик «случайно» все чаще и чаще встречал Верочку * в городском саду, где она гуляла с детьми своей сестры. Скоро о частых встречах молодых людей было доведено до сведения капитана. Он пригласил к себе подпоручика и предложил ему объяснить свое поведение. Всегда державший себя корректно с младшими офицерами, капитан, выслушав Куприна, заговорил с ним не в начальническом, а в серьезном, дружеском тоне старшего товарища.

На какую карьеру мог рассчитывать не имевший ни влиятельных связей, ни состояния бедный подпоручик армейской пехоты, спрашивал он. В лучшем случае Куприна переведут в другой город, но разве там жить на офицерское жалованье — сорок восемь рублей в месяц — его семье будет легче, чем здесь?

— Как Верочкин опекун, — закончил разговор с

* Роман с Верочкой в «Поединок» включен не был. Свое отражение он нашел уже много лет спустя в повести Куприна «Юнкера», где слова опекуна Верочки автор приписывает юнкеру Александрову. *(Прим. автора.)*

Куприным капитан, — я дам свое согласие на брак с вами, если вы окончите Академию Генерального штаба и перед вами откроется военная карьера.

Куприн засел за учебники и с лихорадочным рвением начал готовиться к экзаменам в Академию.

— С мечтой стать поэтом я решил временно расстаться и даже выбросил почти все тетради с моими стихотворными упражнениями, оставив лишь немногие, особенно нравившиеся Верочке, — рассказывал Александр Иванович.

В следующем году, летом 1893 года, Куприн уехал из Проскурова в Петербург держать экзамены в Академию.

В Киеве на вокзале Куприн встретил товарищей по корпусу, они убедили его на два дня остановиться у них, чтобы вместе «пошататься» по городу.

На следующий день утром вся компания отправилась на берег Днепра, где какой-то остроумный предприниматель на причаленной к берегу старой барже оборудовал ресторан.

В надежде позавтракать офицеры заняли свободный столик у борта и потребовали меню. В это время к ним неожиданно подошел околоточный.

— Этот стол занят господином приставом. Прошу господ офицеров освободить места.

Между офицерами и полицейскими чинами, по словам Александра Ивановича, отношения всегда были натянутые. Знаться с полицией офицеры считали унизительным, и поэтому в Проскурове даже пристав не допускался в офицерское собрание.

— Нам освободить стол для пристава? — зашумели офицеры.

— Ступай, ищи ему другой!

Околоточный держал себя нагло, вызвал хозяина и запретил ему принимать заказ.

Тогда произошло нечто неожиданное. В воздухе мелькнули ноги околоточного, и туша его плюхнулась в воду за борт. Баржа стояла почти у самого берега на мелком месте, поэтому когда околоточный поднялся, то вода оказалась ему немного выше пояса. А весь он был в песке и тине.

Публика хохотала и аплодировала. Околоточный быстро выбрался на берег и, снова поднявшись на бар-

жу, приступил к составлению протокола «об утопии полицейского чина при исполнении служебных обязанностей».

По воспоминаниям Ф. Д. Батюшкова[1], этот эпизод произошел якобы во время переезда на пароме, когда Куприн нанес оскорбление полицейскому приставу, пытавшемуся в его присутствии обидеть девушку. Для сентиментального Ф. Д. Батюшкова Куприн сочинил другой вариант. Он мог с такой же легкостью придумать и третий и четвертый. Был и такой: «Пригласив двух музыкантов из оркестра, скрипку и мандолину, мы уютно расположились неподалеку от пристани. Взошло солнце. Это раннее утро на Днепре было незабываемо прекрасным, — рассказывал Александр Иванович, — никогда больше потом не испытывал я такого глубокого чувства умиления и восторга, как тогда, когда освещенная первыми лучами солнца передо мной засверкала водная гладь Днепра. Томительные звуки скрипки и мандолины будили печаль, но она становилась легкой и радостной, когда я смотрел на пробуждавшуюся природу. Но вот непонятно зачем в этот ранний утренний час появился околоточный в сопровождении двух городовых. По всей вероятности, они возвращались после неприятного обхода трущоб. Наша группа привлекла их внимание».

Остановка в Киеве значительно подорвала скудные средства подпоручика. И, приехав в Петербург, он питался одним черным хлебом, который аккуратно делил на порции, чтобы не съедать сразу.

Он познакомился с несколькими офицерами, так же, как и он, приехавшими из глухих провинциальных углов держать экзамены в Академию, но тщательно скрывал от них свою «свирепую нищету». Чтобы иметь предлог отказываться от совместных с ними обедов и ужинов, он придумал богатую тетку, жившую в Петербурге, у которой, чтобы не обидеть ее, должен был ежедневно обедать. Свою «обеденную» порцию хлеба он съедал, сидя на скамейке в сквере, где в этот час не было гуляющей публики, а только няни с детьми.

Иногда он не выдерживал соблазна и отправлялся в съестную лавочку, ютившуюся в одном из переулков старого Невского, вблизи Николаевского вокзала.

— Опять моя тетушка попросила меня купить обрез-

ков для ее кошки, — улыбаясь, обращался к лавочнице подпоручик. — Уж вы, пожалуйста, выберите кусочки получше, чтобы тетушка на меня не ворчала.

Он платил пятачок, и хозяйка, сама любительница кошек, щедрой рукой наполняла обрезками большой бумажный пакет. Щелкнув каблуками, подпоручик вежливо прощался и не спеша выходил из лавки. Но, завернув за угол, он ускорял шаги и Знаменскую площадь пересекал почти бегом. С трудом переводя дыхание, он входил в здание вокзала. Вынув из кармана плоскую жестяную фляжку, он нацеживал в нее кипяток из громадного самовара в буфете третьего класса. Потом в дальнем углу зала, среди закусывающих своей провизией пассажиров, он разворачивал пакет с обрезками и жадно набрасывался на еду.

— Вечером, голодный и усталый, я ложился на свою узкую, жесткую кровать, стараясь скорее заснуть, — рассказывал Александр Иванович. — Теперь только во сне я бывал счастлив и радостен. Ко мне приходила мать — молодая и веселая, какой она была в дни моего детства. Она брала меня за руку, и мы шли по милым, знакомым улицам Москвы, блиставшим тем прекрасным сиянием, какое можно видеть только во сне.

Самые трудные экзамены прошли благополучно. Куприн был уверен, что так же хорошо сдаст и остальные, и он уже видел себя будущим «блестящим офицером Генерального штаба».

Но вот неожиданно его вызывают к начальнику Академии, который всего несколько дней назад присутствовал на экзамене. Довольный толковыми ответами подпоручика, он сказал ему даже несколько поощряющих слов. Поэтому приказание явиться к нему Куприна не встревожило. Но удивило расстроенное лицо начальника Академии, долго перебиравшего какие-то бумаги на своем письменном столе.

Наконец нужная бумага была найдена — она слегка дрожала в его руках, когда он читал Куприну приказ командующего Киевским военным округом генерала Драгомирова. В конце приказа объявлялось, что за оскорбление чинов полиции во время исполнения ими служебных обязанностей подпоручику 46-го пехотного

Днепровского полка Куприну воспрещается поступление в Академию Генерального штаба сроком на пять лет.

Ни о чем, кроме экзаменов, Куприн не думал последние недели и совершенно забыл о том, что произошло на барже в Киеве. Мечты о «блестящей военной карьере» рушились. Верочка была навсегда потеряна.

— На другой день, — рассказывал мне Александр Иванович, — я продал револьвер, чтобы рассчитаться с хозяйкой квартиры, которой я задолжал за комнату, и купить билет до Киева, а там немедленно подать рапорт о моем уходе из полка и о зачислении в запас. Когда я садился в вагон, в моем кошельке оставалось несколько копеек.

Что пережил я и передумал, когда за мной захлопнулась дверь Академии, как с мыслью о самоубийстве я часами ходил по улицам Петербурга, я когда-нибудь напишу, — закончил Александр Иванович свой рассказ, — и, я надеюсь, напишу неплохо...

ГЛАВА XXI

Весна 1903 года. — Работа Куприна над «Поединком». — Ошибка памяти и попытка уничтожить рукопись.

Несколько раз Куприн садился за «Поединок», но редакционные совещания и чтение рукописей отрывали его от повести, и работа поэтому двигалась медленно. Это отражалось на его настроении.

— И зачем я только связал себя с журналом, — с раздражением говорил мне Александр Иванович. — Если я сейчас на время не брошу работу в журнале и не уеду из Петербурга, который терпеть не могу, я «Поединок» не напишу. Прошу тебя, Маша, не удерживай меня и пойми, что уехать мне необходимо. Мне кажется, что и вообще мы могли бы жить без моего редакционного жалованья. В «Знании» я получил хороший гонорар. В течение года напишу еще несколько рассказов. Да и ты, как директор-распорядитель издательства, получаешь двести пятьдесят рублей в месяц. Скажи, Маша, могли бы мы существовать без моей работы журнального поденщика?

— Конечно, Саша, поезжай в Крым. Здесь и без тебя обойдутся. Твоя повесть — это главное.

Ранней весной Александр Иванович уехал в Мисхор.

Вернулся он из Крыма в сопровождении энергичного молодого человека.

— Машенька, позволь представить тебе Петра Дмитриевича Маныча — веселый, предприимчивый человек с забавной выдумкой. Врет как зеленая лошадь[1], — посмеиваясь, говорил Александр Иванович. — Но все-таки калач он тертый и держать себя в приличном обществе умеет.

В течение нескольких лет Маныч неотступно играл роль адъютанта Куприна. Он исполнял всевозможные (не только деловые) поручения, сопровождал его во все рестораны и театры.

Я этому не препятствовала, потому что Маныч был человек молодой, здоровый и чрезвычайно решительный. В случае каких-либо приключений, что иногда случалось с Александром Ивановичем, я была спокойна, — около него был телохранитель.

В доме он никому не мешал, занимался чем хотел и всегда был готов исполнить любое поручение.

Куприн вообще любил иметь при себе таких приближенных. В последние годы, перед его отъездом за границу, подобные адъютанты были из числа сотрудников мелких бульварных газет и «Синего журнала».

В Мисхоре Александр Иванович написал весной 1903 года первые шесть глав «Поединка» и считал их законченными.

Большинство эпизодов из повести были мне известны по его рассказам. Первую главу я знала от первого до последнего слова. Тогда «Поединок» начинался сценой вечернего посещения Ромашовым Николаевых. Александр Иванович долго обсуждал со мной содержание этой главы. Он обратил мое внимание на то, как слово, много раз подряд повторенное, вдруг или совсем теряет свой смысл, или приобретает новое значение.

— Когда я готовился к экзаменам в Академию, — рассказывал мне Александр Иванович, — я должен был перевести с русского на немецкий фразу «наш заграничный соперник» (unser ausländischer Nebenbuhler). Слово «unser» остановило мое внимание, и я несколько раз повторил его про себя. И вдруг оно стало представляться мне сначала как какой-то длинный, острый, колющий предмет, а потом как что-то зеленое, чешуйчатое, вроде

ядовитой ящерицы или сколопендры. Любопытно, явится ли и у тебя такое представление? Попробуй закрой глаза и повторяй.

Я зажмурилась и несколько раз повторила про себя «unser», «unser».

— Может быть, ты и прав, но свое представление ты внушил мне, и оно теперь невольно возникает и у меня.

— А случалось ли тебе самой делать такие опыты?

— Нет, но когда мне было четыре-пять лет, я путала значение простейших слов, особенно местоимений. Однажды, отправляясь гулять, я зашла к моей старшей сестре и сказала ей:

— Лидуша, я с тетей Олей пойду гулять.

— Я тоже пойду с вами, — ответила она.

— Что ты говоришь? Я говорю тебе: я пойду гулять, я, Муся, а не ты, Лида. Я — это я, Муся. А ты — ты, Лида.

Сестра рассмеялась и сказала:

— Нет, когда я говорю про себя, то я тоже я.

Я рассердилась:

— Неправда, неправда! Ты не я.

— Как это просто и как странно. Я, я, — повторил Александр Иванович. — А потом как?

— Привыкла к местоимениям так же, как и все.

— Да, понимание собственного «я» заложено в нас с младенчества.

О том, что сознание своего «я» пробуждается уже в раннем детстве, Куприн пишет в шестой главе «Поединка». Там он рассказывает о нитке, которой мать привязывала его в раннем детстве к стулу.

— По словам матери, — вспоминал Александр Иванович, — я поздно начал говорить. Но думать начал гораздо раньше. Слов для передачи своих чувств у меня еще не было, и поэтому я был угрюм — я не понимал, что угнетает меня именно нитка, лишавшая свободы движений. Теперь мне ясно, что имей я в своем распоряжении достаточное количество слов, то понял бы, что меня угнетает и подавляет чужая воля. Именно эта нитка и породила во мне дух протеста, любовь к неограниченной свободе.

Особенно долго останавливаясь на посещении Николаевых, Куприн, закончив главу, был в нерешительности — не начать ли повесть именно с этого эпизода.

Но в последующей редакции Александр Иванович переместил его в четвертую главу.

— Конечно, — говорил Куприн, — для того, чтобы привлечь внимание читателя, следовало бы начать повесть с романтической завязки. Но такое начало отодвигает на второй план мой поединок — поединок с царской армией.

И первой главой «Поединка» стала впоследствии десятая глава, начинавшаяся именно так, как и сейчас начинается десятая: «Было золотое, но холодное настоящее весеннее утро. Цвела черемуха...»

В середину этой главы, перед абзацем: «Четвертый взвод упражнялся на наклонной лестнице,» — было вставлено: «К Веткину подбежал с испуганным видом унтер-офицер Бобылев. «Ваше благородие, командир едут!»

Кончалась глава приказом об аресте Ромашова.

Вторая глава раньше начиналась с прихода Ромашова к себе домой. Здесь — разговор с денщиком Гайнаном, бюст Пушкина, получение письма от Раисы Петерсон. Лежало оно в конверте, на углу которого был изображен голубь, несущий письмо. Зимой 1906 года, когда «Поединок» вышел уже четвертым или пятым изданием, к нам зашел К. И. Чуковский.

— С каких же это пор голуби стали зубастыми? — весело спросил он Александра Ивановича.

— Не понимаю... — недоуменно пожал плечами Куприн.

— Однако голубь ваш несет письмо госпожи Петерсон в зубах...

— Не может быть, — рассмеялся Александр Иванович.

— Вы нарочно, Корней Иванович, это придумали, — сказала я. — Давайте книгу, проверим.

Я принесла книгу, и оказалось, что Чуковский прав.

— Ведь вот бывает же такая ерунда, которую сам совершенно не замечаешь, — смеялся Александр Иванович. — Да и вообще, кроме вас, пожалуй, никто бы этого не заметил.

Третьей главой была прогулка Ромашова на вокзал (теперь глава вторая).

Относительно четвертой главы (у Николаевых), как сказано выше, Куприн колебался, не начать ли с нее «Поединок», но скоро отказался от этой мысли.

Посещение Назанского во всех вариантах приходилось на пятую главу. Когда Александр Иванович рассказывал мне эту главу, была она значительно короче, чем в повести.

У Куприна была привычка, когда он читал мне что-нибудь новое, им написанное, часто взглядывать на меня, чтобы по выражению лица судить о впечатлении. Во время чтения посреди монолога Назанского вдруг появилось нечто для меня совершенно неожиданное.

«Пройдет двести — триста лет, и жизнь на земле будет невообразимо прекрасна и изумительна. Человеку нужна такая жизнь, и если ее нет пока, то он должен предчувствовать ее, мечтать о ней.

— Вы говорите, через двести — триста лет жизнь на земле будет прекрасна, изумительна? Но нас тогда не будет, — вздохнул Ромашов».

Я была изумлена, и, видимо, на моем лице отразилось недоумение. Александр Иванович остановился.

— В чем дело, Маша? Что тебе не нравится?

— Да нет, мне все это нравится, но я не понимаю, почему в монолог Назанского ты вставил Чехова.

— Как Чехова? — вскрикнул он и побледнел.

— Но это же у тебя почти дословно из «Трех сестер». Разве ты не помнишь слова Вершинина?

— Что? Я... я, значит, взял это у Чехова?! У Чехова? — Он вскочил. — Тогда к черту весь «Поединок»... — И, стиснув зубы, разорвал рукопись на мелкие части и бросил в камин. Не говоря ни слова, Александр Иванович вышел из комнаты. Домой вернулся под утро.

В течение нескольких недель я без его ведома подбирала и склеивала папиросной бумагой мелкие клочки рукописи. Это была очень кропотливая работа, требовавшая большого внимания, и удалась мне она только потому, что я очень хорошо знала содержание глав. Черновиков у Куприна не было, он уничтожал их так же, как и все варианты своих вещей, чтобы больше они не попадались ему на глаза.

— Там все-таки было кое-что недурно написано, — как-то месяца через три сказал Александр Иванович, — пожалуй, можно было не уничтожать всю рукопись.

Тогда я принесла ему восстановленные мною шестьдесят страниц. Он был удивлен и обрадован. Однако к работе над «Поединком» вернулся только через полтора

года. В течение этого перерыва он вел себя так, будто о своей повести забыл: вспоминать и говорить о ней он избегал.

В один из приездов Бунина в Петербург мы узнали от него, что в «Знании» проектируется беллетристический сборник, к которому привлекаются участники «Знания». Редактором Горький наметил сначала Л. Андреева, но тот сразу отказался. Тогда Горький поручил организацию и редактирование сборника Пятницкому.

— Пятницкий просил меня дать что-нибудь для сборника, — сказал Бунин. — Я еще не решил, дать рассказ или стихи. О повести Андреева «Василий Фивейский», которая войдет в сборник, Пятницкий отзывался с восторгом. Очень высокого мнения о ней и Алексей Максимович. Они считают, что вещь эта будет гвоздем сборника. А ты, Александр Иванович, что ты даешь?

— Я? Я не даю ничего. Пятницкому я сказал об этом.

ГЛАВА XXII

Лето 1903 года в Мисхоре. — «Конокрады». — У Чехова в Ялте. — Любовь Алексеевна Куприна о княжне Е. А. Макуловой. — «Белый пудель».

Летом 1903 года мы уехали в Крым позднее, только в июне месяце. Как и в прошлом году, к нам приехала гостить Любовь Алексеевна. Ее восхищению и радости при виде Лидочки не было конца. Мы делали вид, что восторги ее преувеличены.

— Вы еще сглазите, мамаша, нашу Лидочку, — поддразнил ее Александр Иванович.

— Я сглажу наше сокровище? Ты, я вижу, Саша, совсем охалпел.

«Охалпел» — было выражение, которое Любовь Алексеевна часто употребляла по отношению к сыну, когда на него сердилась.

За работу Александр Иванович сел не сразу. Готовиться к второму тому своих рассказов он решил не спеша. Первое время увлекался верховой ездой, часто бывал в Ялте.

Над рассказом «Конокрады» работал легко. Вначале он наметил еще одно действующее лицо — старика-нищего. До прихода Бузыги старик рассказывал мальчику Василию историю своего увечья, о том, как во время пожара в деревне, где он жил в батраках, кто-то указал на него, как на виновника пожара. Его нещадно били по голове, изуродовали лицо, и вскоре он лишился зрения.

Этот эпизод удлинял рассказ и уводил в сторону от основной темы «Конокрадов», поэтому Куприн отказался от него.

— На днях, Маша, поедем в Ялту. Хочу, чтобы ты наконец познакомилась с Чеховыми. Прошлым летом знакомство не вышло: заболела Ольга Леонардовна. А когда Антон Павлович вернулся из Москвы, то ты была больна, и я со свойственным молодым отцам эгоизмом бесцеремонно надоедал ему рассказами о твоем состоянии. Он терпеливо выслушивал и успокаивал меня. «Все это пустяки, — говорил он. — Скажите Вашей жене, чтобы поменьше читала медицинские книги о беременности и родах. Интеллигентные женщины черпают оттуда устрашающие примеры о неправильном положении ребенка, смертельных случаях и прочих ужасах. В деревне женщины ничего этого не знают и благополучно рожают здоровых детей».

Пройдя по аллее, ведущей к террасе, мы увидели всю семью, сидевшую на верхней ступеньке лестницы. Чехов был в центре, рядом с ним Ольга Леонардовна, с другой стороны от него — Евгения Яковлевна и Мария Павловна.

— А, вот и Куприн с женой, — крикнул нам навстречу Антон Павлович. — Знакомьтесь, — поздоровавшись со мной, сказал Чехов и указал рукой на Ольгу Леонардовну. — Супруга моя Ольга Леонардовна. Уверяет всех, что она урожденная баронесса фон Книппер, а на самом деле ее фамилия Книпшиц.

Ольга Леонардовна пожала плечами и снисходительно улыбнулась.

Антон Павлович был в веселом настроении, шутил, что он и Ольга Леонардовна тоже «молодые», как и я с Александром Ивановичем, только год женаты. Острил над Куприным, рассказывая, как прошлым летом будто бы присмотрел ему очень хорошую невесту — вдову лет

пятидесяти с большими средствами. При упоминании имени Александра Ивановича вдова вздыхала и закатывала глаза. Но почему-то, несмотря на все авансы этой дамы, Александр Иванович не оценил ее прелестей и капитала.

Вспомнил Чехов и еще об одной пожилой вдове, имевшей прекрасную дачу. С этой вдовой, утверждал Антон Павлович, дело было совсем на мази, к даче ее Куприн был весьма неравнодушен. Чехова, видимо, забавляла тема о вдовах, которую он подробно развивал, и то, что Куприн явно конфузился.

Я чувствовала себя очень неловко. Принимать участие в этом разговоре я не могла, так как шутки эти не казались мне особенно остроумными и при мне уместными. Сидела я молча, с безучастным видом. Это заметила Мария Павловна (мы раньше встречались у Елпатьевских) и предложила пойти осмотреть сад и новые посадки редких растений, сделанные совсем недавно. Растения я всегда очень любила, и мы более получаса провели в саду.

Когда мы вернулись, то Ольги Леонардовны и Евгении Яковлевны уже не было на крыльце. Там сидели Елпатьевский, доктор Алексин и Гарин-Михайловский. Антон Павлович громко говорил:

— Я против посвящения чего бы то ни было живым людям. В молодости я сам этим грешил, о чем теперь жалею. Некоторые любят посвящать родным. Какой в этом смысл? Мои родные знают, что я их люблю и без того, чтобы я расписывался в этом в своих книгах и рассказах. А друзья не всегда остаются друзьями. Горький просил моего разрешения посвятить мне «Фому Гордеева». Конечно, я выразил согласие и поблагодарил его за честь, хотя, по правде говоря, удивился, что он остановился именно на вещи, которую сам же считает слабой.

На прощание Антон Павлович внимательно расспрашивал меня о здоровье Лидочки, о ее весе, о том, как она переносит жару, и не советовал начинать на юге прикармливание. Осенью, когда жара спадет, Антон Павлович звал нас приехать с Лидочкой.

Когда мы возвращались в Мисхор, то Александр Иванович спросил меня:

— Как тебе понравилось у Чеховых?

— Не понравилось мне одно: ты вначале очень конфузился — не знаю кого, а потом разошелся и стал занимать общество военными анекдотами. И мне хотелось сказать тебе словами ефрейтора Верещаки:[1] «Вижу я, что ты уже начинаешь старацца». А когда ты это делаешь в обществе, то мне это неприятно.

Через три дня Мария Павловна и Ольга Леонардовна приехали ко мне в Мисхор с ответным визитом.

В это лето в Мисхоре Александр Иванович увлекался писанием шутливых стихов. Они ему хорошо удавались и часто были очень смешны. Неисчерпаемыми темами его вдохновения были дядя Кока и наша дачная жизнь. Стихов было очень много, но я, к сожалению, их не помню. Особенно забавно было содержание одной поэмы, которая называлась «Дядя Кока и кухарка Кульчицких», сводилось оно к описанию попыток моего брата завязать романические отношения с кухаркой соседей.

Некоторые поэмы Александр Иванович сочинял в комнате брата при его деятельном участии, причем в комнате присутствовал также служащий брата Макар Петрович, и оттуда раздавались оглушительные взрывы хохота. Но эти поэтические опыты были такого содержания, что мамаше и мне Александр Иванович читал только в выдержках.

— Отчего ты, Саша, не пишешь настоящих стихов? — спросила его однажды мать, прослушав эти упражнения. — Ведь раньше ты писал прекрасные стихи. Тетя Катя говорила, что ее друг, мнение которого она высоко ценила, Лиодор Иванович Пальмин, сам очень большой поэт, предсказывал тебе большое будущее.

Александр Иванович рассмеялся.

— Стихи мои, мама, никуда не годились. К счастью, я вовремя понял, что надо бросить это утлое занятие. А сам Лиодор Иванович был хороший, честный, душевный человек, но поэт и писатель вообще бездарный. Сейчас о нем совсем забыли.

Любовь Алексеевна продолжала с горячностью ссылаться на авторитет тети Кати, о существовании которой я услышала впервые. В разговорах со мной Александр Иванович раньше о ней не упоминал.

Из рассказа Любови Алексеевны я узнала, что ее двоюродная сестра княжна Екатерина Александровна Макулова была немногим старше ее. Князья Макуловы так же, как и их родственники Кулунчаковы, когда-то богатые пензенские помещики, давным-давно разорились. Катеньку захватило настроение шестидесятых годов[2]. Каким образом это случилось, Любовь Алексеевна объяснить не умела. Она знала только, что Катенька поехала в Петербург учиться. Приехала она туда из глубокой провинции, без всяких средств к существованию. Кто-то посоветовал ей обратиться к писателю Слепцову, и он действительно принял в ней участие. Его рекомендации доставили ей несколько хороших уроков. Приезд Макуловой совпал с временем, когда Слепцов организовал женскую коммуну — общежитие для трудящихся женщин. Одной из первых она поселилась в коммуне и стала деятельным ее членом. Большинство живших там женщин не имело понятия о практической стороне жизни, и только княжна Макулова оказалась в хозяйственных делах наиболее умелой, сведущей. Устроиться учиться на медицинские курсы ей не удалось.

У себя на родине Макулова не появлялась, и в течение ряда лет Любовь Алексеевна ничего не знала о ней. Когда, овдовев, она жила в Москве во Вдовьем доме, ее неожиданно разыскала Макулова, в то время уже немолодая женщина. Подробно о себе она не рассказывала, но можно было догадаться, что она была близка к революционному движению. Она возмущалась, что Любовь Алексеевна готовит своего сына к военной службе. Саша умный, способный мальчик, а она толкает его в ряды «царских опричников», душителей свободы.

Любовь Алексеевна доказывала, что ей невозможно дать Саше другое образование, кроме казенного. Если даже удастся устроить его бесплатно в какую-нибудь гимназию, то жить ему все равно негде.

После каждого такого разговора с Макуловой Любовь Алексеевна плакала и говорила: «Что же мне делать, когда мы нищие».

Сестры ссорились и снова подолгу не виделись.

Когда Саша учился в последних классах кадетского корпуса, Макулова, приехав в Москву, снова стала навещать Любовь Алексеевну. Тут она старалась повлиять на Сашу. Она уговаривала его не переходить в военное

училище, а поступить в университет, жить уроками, учиться и быть среди передовой молодежи своего времени. Она всячески пропагандировала свои революционные идеи. От нее Саша в надлежащем освещении узнал о декабристах, о деятельности революционных организаций, о революционном терроре.

Любовь Алексеевна была в отчаянии, она считала, что сестра не имеет права сбивать с толку Сашу, который с детства был неуравновешенным, вспыльчивым мальчиком. Эти разговоры только возбуждали в нем протест против жесткой дисциплины, которая царила в корпусе.

В то время Саша увлекался писанием лирических стихотворений, которые он показывал тете Кате. Она считала их талантливыми, но несодержательными и решила повести его к Лиодору Ивановичу Пальмину, с которым была в хороших, дружеских отношениях. Пальмин не видел в стихах Куприна настоящего поэтического дара и посоветовал ему попробовать себя в прозе.

По словам Любови Алексеевны, ни с кем другим из семьи Куприных Пальмин знаком не был и не встречался.

Из этого рассказа мне стало ясно, что впервые симпатии к революционному движению пробудила в душе Александра Ивановича его тетка, княжна Макулова, шестидесятница и, по-видимому, народоволка, поскольку ее хорошо знали Н. К. Михайловский и А. И. Иванчин-Писарев.

Как-то раз, когда Куприн был в редакции «Русского богатства», Иванчин-Писарев сказал ему: [3]

— А ваша тетушка, княжна Макулова, в свое время была прекрасным конспиратором, ее княжеский титул служил отличным прикрытием нашего революционного кружка.

Александру Ивановичу было очень неловко сознаться, что он ничего не знает о тете Кате.

* * *

В послеобеденное время, около двух часов, заходили к нам на дачу иногда бродячие артисты — старик с шарманкой, лет тринадцати мальчик Сережа, акробат, и с ними дрессированный белый пудель. Как только раздавались звуки шарманки, к нашей даче стягивались зрители — турки-каменщики, работавшие на соседней даче,

няньки с детьми с других дач и просто случайные прохожие.

После представления старик получал деньги, и Александр Иванович звал их обедать на террасу около кухни. Но они брали миски с едой и располагались под деревьями на берегу Салгирки. Старик был неразговорчив и старался говорить о себе как можно меньше. Зато Сережа охотно делился своими планами. В длинных путешествиях по Крыму они доходили до Одессы. Там удалось Сереже однажды побывать в цирке, и с тех пор он мечтал выучиться и стать настоящим акробатом. Рассказал он Александру Ивановичу и о том, как одна богатая барыня непременно требовала, чтобы ей продали пуделя, который очень понравился ее мальчику.

— Но разве можно нам остаться без пуделя? Дедушка отказался отдать собаку. Барыня очень обозлилась на нас. Мы боялись, что она донесет в полицию да еще скажет, что мы что-нибудь у нее украли, — рассказывал мальчик. — Поэтому мы ушли скорее из города.

Эта история послужила Куприну темой для рассказа «Белый пудель».

ГЛАВА XXIII

У Гарина-Михайловского в Кастрополе. — Табурно и посвященная ему поэма Куприна. — Рассказы Гарина. — Ужин у Ростовцевых.

Гарин-Михайловский часто, возвращаясь из Ялты в Кастрополь, где находилась его изыскательская партия, проезжал через Мисхор. Изредка он заворачивал к нам на дачу, которая была в нескольких саженях от Нижнего шоссе.

Моя приемная мать была хорошо знакома с Николаем Георгиевичем, свое путешествие по Корее «Карандашом с натуры» он печатал в журнале «Мир божий». Меня он помнил гимназисткой последних классов и потом курсисткой, когда, бывая наездами в Петербурге, появлялся на воскресных журфиксах Александры Аркадьевны. Изящный, корректный, в путейской форме, которая очень шла ему, он всегда, где бы ни был, привлекал общее внимание своей наружностью.

— Нет, вы только посмотрите на него, — громко восхищался Мамин-Сибиряк, когда в гостиной Александры

Аркадьевны неожиданно появлялся Николай Георгиевич. — Нет, только полюбуйтесь на него, какой он красавец! — восклицал Дмитрий Наркисович.

Николай Георгиевич отшучивался, освобождаясь от сжимавшего его в объятиях Мамина.

Куприн познакомился с Гариным этой весной в Ялте у Елпатьевских и в своих воспоминаниях, посвященных ему, превосходно нарисовал его обаятельный облик.

«...Я отлично помню, как вошел Николай Георгиевич. У него была стройная, худощавая фигура, решительно-небрежные, быстрые, точные и красивые движения и замечательное лицо, из тех лиц, которые никогда потом не забываются. Всего пленительнее был в этом лице контраст между преждевременной сединой густых волнистых волос и совсем юношеским блеском живых, смелых, прекрасных, слегка насмешливых глаз — голубых, с большими черными зрачками».

Несмотря на то, что знакомство было недавнее, Гарина и Куприна, несомненно, влекло друг к другу.

В июле, в один из очень жарких дней, Николай Георгиевич неожиданно предложил нам:

— Знаете что, так мы только урывками разговариваем, а хотелось бы мне вот что — приезжайте-ка вы к нам погостить в Кастрополь. Вы здесь наверху, у вас жарко, к морю приходится спускаться, а мы живем на самом берегу. Вы увидите, как у нас хорошо.

Я только хотела возразить, что кормлю и отлучаться от ребенка не могу, но Николай Георгиевич сразу прервал меня.

— Конечно, вы приедете с Лидочкой. Представьте себе, кроме моих собственных младших детей, у нас в Кастрополе оказалось двадцать два младенца. Все жены инженеров, практикантов и весь технический персонал приехали с детьми. И появились у нас и ясли и детский сад. Детей я очень люблю — не только своих, но и чужих, люблю всех детей, чьи бы они ни были. И мне пришлось пригласить в Кастрополь врача, сестру милосердия и взять двух лишних человек прислуги. Видите, вы спокойно можете приехать с ребенком и никому не доставите этим хлопот.

Условились, что через несколько дней под вечер, когда спадет жара, Гарин заедет за нами.

В Кастрополь мы приехали, когда уже было темно.

Комната для нас была приготовлена в той же даче, где жил со своей семьей Николай Георгиевич. Посреди спальни совсем так же, как у нас в Мисхоре, на коврике из бараньих шкур — защита от сколопендр и тарантулов — стояла детская коляска. Сверху она была затянута кисейным пологом. Покормив сонного ребенка, я уложила его спать.

За ужином, кроме семьи Николая Георгиевича и его знакомых — врача с женой и дочерью, были еще два молодых инженера-практиканта, которые наперебой рассказывали Гарину о том, как проходила работа в его отсутствие.

— Это будет замечательная дорога[1], — горячо закончил один из юношей.

— Наверно, вы получите за нее орден, — заметил второй.

— Я уже пожалован орденом за мои маньчжурские и корейские изыскания и знаю, чем кончаются высочайшие награды... — засмеялся Николай Георгиевич. — Вы, наверное, слышали историю о моем ордене от Сергея Яковлевича, — обратился он к Куприну. — Нет? И не знаете о докладе во дворце? Тогда, если хотите, я расскажу.

Вскоре после моего возвращения в Петербург из кругосветного путешествия я получил от министерства двора бумагу, в которой сообщалось о том, что его величество выразил желание выслушать мой личный доклад о пребывании в Корее. Я отнесся к этому делу серьезно, решил, что нужен обстоятельный деловой доклад с чертежами и цифрами, чтобы представить наглядную картину работ корейской экспедиции.

В назначенный вечер, взяв с собой портфель, туго набитый планами и чертежами, я явился во дворец. Меня провели в небольшую гостиную на половину молодой императрицы. Через несколько минут в комнату вошел государь и вслед за ним обе царицы в сопровождении нескольких дам и военных. Посреди комнаты стоял стол, за который сел государь. Мне указали место сбоку от него. Прямо передо мной в креслах расположились дамы, в центре с рукоделием в руках сидела Александра Федоровна.

Я начал с небольшого введения. Сказал о том, какое экономическое и культурное значение имело бы железнодорожное сообщение, которое связало бы Корею с Китайско-Восточной железной дорогой. Затем, развернув чертежи, я хотел приступить к их подробному разъяснению. Но государь остановил меня: «Планы передайте в комиссию. Их там рассмотрят и мне доложат».

Мне казалось, что царь внимательно слушал начало доклада. Но, случайно бросив взгляд на лист бумаги, на котором он что-то записывал, я увидел женские головки, фигурки лошадей, собак и еще какие-то рисунки, но только не деловую запись. На лицах же императрицы и окружавших ее дам я заметил откровенную скуку и понял, что деловая сторона решительно никого не интересует.

Я был в замешательстве, не зная, о чем же продолжать говорить. Но тут государь с улыбкой обратился ко мне:

— Расскажите, как к нам относятся корейцы и с какими затруднениями вы встречались в пути.

Итак, занять эту аудиторию можно было только рассказами о путевых приключениях. Вначале я упомянул о том, что наша изыскательская партия чуть было не пропустила пароход, отправлявшийся по Амуру из Сретенска в Благовещенск. Незадолго до посадки оказалось, что молодой техник Борминский на рассвете отправился на охоту и не вернулся. Я заметил, что всегда боюсь, когда в мою партию попадают молодые любители охоты. В своем азарте они способны далеко отойти от лагеря, и потом приходится их разыскивать.

— Я очень люблю охоту! — неожиданно произнес царь.

Александра Федоровна улыбнулась, на лицах ее свиты немедленно также расцвели улыбки.

Дальше все пошло как по маслу. Я рассказал о трудностях восхождения на Пектусан, о том, как на его вершине поднялась снежная буря и мы чуть не замерзли у открытых нами истоков Сунгари. Потом перешел к ночному нападению на наш лагерь вооруженного отряда хунхузов. Все это я излагал в тоне занимательного салонного рассказа. И только один вопрос за время этого «доклада» задал мне царь:

«Когда на вас напали хунхузы — Борминский был с вами или уходил на охоту?»

Я поспешил засвидетельствовать, что Борминский был с нами и как превосходный стрелок немало способствовал поражению хунхузов. Царь удовлетворенно кивнул головой.

Когда царь и обе императрицы удалились, ко мне вышел дежурный адъютант и от имени высочайших особ выразил благодарность за «приятно проведенный вечер».

Через несколько дней Борминский получил из канцелярии его величества уведомление, что за участие в экспедиции ему пожалован орден.

Вскоре из министерства двора такое уведомление получил и я. Однако на другой день после сообщения об этой царской награде я за участие в студенческих беспорядках был выслан из Петербурга и отдан под надзор полиции.

— Какой же орден был вам пожалован? — смеясь, спросил Куприн.

— Не знаю, меня это не интересовало, — ответил Гарин.

Желая нам спокойной ночи, Николай Георгиевич с улыбкой спросил меня:

— Вы читали «Fécondité»? * Так вот, завтра утром, когда вы с Лидочкой будете сидеть на берегу моря, наш пляж, наверно, напомнит вам живую картину из этого романа. Впрочем, для подробной иллюстрации достаточно было бы и одной моей семьи, если бы здесь находились не только младшие, но и старшие дети.

В Кастрополе жизнь начиналась рано. На другой день не было еще семи часов, когда Николай Георгиевич постучал к нам и осведомился, готов ли Куприн отправиться с ним на изыскания в горы.

На веранде стол был уже накрыт, и, наскоро выпив чаю, они ушли. Вскоре и я с Лидочкой отправилась к морю.

В самом деле, на мелком берегу визжало и плескалось множество детей. Матери с грудными младенцами расположились под тенью громадного полосатого парусинового зонтика, укрепленного на толстом шесте. Отсюда они могли видеть и своих детей, игравших на пляже.

Мы немедленно заговорили о том, что было для нас ближе всего: о весе детей, их росте, часах кормления,

---

* Роман Э. Золя «Плодовитость».

животиках и прочих важных вещах. Такой разговор всегда длится нескончаемо, так как каждая мать должна во всех подробностях об этом рассказать всем остальным.

Так незаметно для меня прошло время до возвращения Александра Ивановича. Вскоре раздался гонг, призывавший к обеду.

За обедом Гарин, его главный помощник, все младшие инженеры и студенты-практиканты сошлись за общим столом, накрытым в длинной аллее, затененной переплетавшимися виноградными лозами.

«Отношения у Николая Георгиевича ко всем товарищам, начиная с главного помощника и кончая последним чертежником или конторщиком, были одинаково просты, дружественны и приятны, с легким оттенком добродушной шутки», — отмечает Куприн в своих воспоминаниях.

Никого посторонних, кроме нас, не было, и, ни с кем персонально не знакомя, Гарин представил нас всему обществу. Но главный инженер подошел к Куприну и назвал себя:

— Инженер Табурно, черногорец. — Широко улыбаясь, он добавил: — Правая рука Николая Георгиевича. Я ведь тоже литератор, вашего поля ягода, — заявил он Куприну, — пишу по разным специальным вопросам статьи в газете «Новое время». Вам не приходилось встречать мое имя на ее столбцах? Или вы, может быть, как многие из здесь присутствующих, не жалуете эту газету и не читаете ее? — ядовито спросил он.

— Нет, я просматриваю ежедневно в редакции несколько газет, — отозвался Александр Иванович. — Если не ошибаюсь, не так давно я читал в «Новом времени» об американских и английских притязаниях на концессии в Корее. Статья была подписана Иероним Табурно.

— Это моя статья, — воскликнул Табурно. — У заграничных капиталистов после постройки КВЖД так разыгрались концессионные аппетиты, что, если не дать им серьезный отпор, они растащат концессии, необходимые нам самим.

— Кому это «нам»? — раздался чей-то иронический голос.

— Как «кому»? Нам, русским...

— Но вы же черногорец...

— Славянские и русские интересы мне одинаково близки, — начал горячиться Табурно. — Вы так увлекательно написали, Николай Георгиевич, — обратился он к Гарину, — какая чудесная страна Корея и какими неиспользованными лесными, рыбными и минеральными богатствами она обладает. И, конечно, у нас первым долгом зашевелились еврейские банкиры во главе с миллионером бароном Гинзбургом. Великие князья, не брезгающие наживой, также не захотели остаться в стороне. Словом, вокруг этих концессий столкнулся целый ряд интересов. У нас в «Новом времени» даже держат пари, как поделят между собой эти концессии еврейские и русские банки, великие князья и правительство. Как вы думаете, Николай Георгиевич, чье влияние возьмет верх?

— Меня этот вопрос совершенно не интересует, — сухо ответил Гарин.

В это время хорошенький мальчуган лет четырех-пяти, бежавший мимо стола, привлек внимание Табурно, и он подозвал его.

— Разрешите, Александр Иванович, представить вам моего сына. Скажи дяде, кто ты.

Мальчуган молчал.

— Скажи, кто ты, — повторил отец.

— Нянькин сын.

— Что?.. Я тебя спрашиваю — кто ты? Как тебя зовут?

— Вук Табурно — нянькин сын.

— Опять? — повысил голос Табурно. — Как я учил тебя говорить?

— Вук Табурно... — Мальчик запнулся.

— А еще как?

— Целноголец.

— То-то, не забывай, что ты черногорец, а не нянькин сын. Старуха-нянька, — обратился Табурно к нам, — в нем души не чает и по деревенской привычке называет сыночком. Вот он и решил, что он нянькин сын.

Вечером, когда мы сидели на балконе у Николая Георгиевича, не зажигая огня, в темных сумерках, когда кричали цикады и блестели при луне листья магнолий, Гарин вспоминал о своем путешествии по Корее, говорил о приветливости, гостеприимстве корейского народа и о том, как очаровательны там дети. Семи-восьми лет они

уже помогают родителям: девочки матери — дома, мальчики уходят с отцом на рыбную ловлю.

— Я очень полюбил этот трудолюбивый мирный народ, которому так тяжело под японским игом. А как хороши и поэтичны корейские сказки. Везде, где только наш отряд делал привал, я записывал сказки, которые замечательно рассказывают старики. И если они что-нибудь пропускали, то слушатели немедленно восстанавливали пропуск и часто от себя добавляли новые подробности.

И Николай Георгиевич по памяти рассказал несколько из записанных им сказок.

Было поздно, когда мы расходились, однако Николай Георгиевич хотел еще поработать. Он тогда писал роман «Инженеры».

— Не разберу, что за человек Табурно, — сказал Куприн Гарину в один из ближайших дней, когда мы возвращались после обеда. — Искренне ли он хочет всех инакомыслящих обратить в свою веру или просто любит спорить по каждому поводу? Я часто сужу людей по первому впечатлению, но проверить его можно только тогда, когда с глазу на глаз посидишь с человеком в ресторане за бутылкой вина. Мне Табурно скорее симпатичен, мне нравится его горячность.

— Он человек совсем не сложный, каким кажется вам, Александр Иванович, — ответил Гарин. — Он истинный «нововременец», сотрудник газеты «Чего изволите». Я встречался и с другими пишущими там литераторами, все они демонстрируют свой ярый патриотизм, притом, конечно, антисемиты и готовы защищать даже погромы. Недаром «Новое время» — единственная газета, которую читает царь. Я стараюсь не допускать за столом споров. Молодежь несдержанна, всегда в увлечении может сказать лишнее, что может быть превратно истолковано. Среди инженеров нашей изыскательной партии имеются и сторонники взглядов Табурно. А потом пойдет слух, что у нас ведутся революционные разговоры.

Наши убеждения с Табурно во многом диаметрально противоположны, но я не возражал, когда мне предложили взять его в качестве помощника, так как он крупный, очень знающий инженер. Если бы у него не было этих заслуг, я бы постарался уклониться, хотя мне

его упорно рекомендовали сверху. Мы ведем только деловые разговоры, и никаких трений на этой почве у нас не бывает. Личной близости между нами, конечно, нет.

Наступило молчание.

— Правда, милый веселый мальчик его сынишка Вук? — снова заговорил Гарин. — Но отец слишком настойчиво внедряет в него слово «черногорец», которое ребенку трудно произнести и содержание которого он еще не понимает. Родители часто делают такие ошибки.

Дни проходили однообразно. Чередовались утренний уход Куприна и Гарина, обед, купание и вечером беседы на балконе с Николаем Георгиевичем, его рассказы о путешествиях, импровизации сказок. Так незаметно прошло время нашего пребывания в Кастрополе.

В день прощального обеда Куприн прочитал вслух поэму «Кастрополь», в которой он юмористически описывал свое пребывание здесь. В поэме встречались самые неожиданные и забавные рифмы, вызывающие веселый смех слушателей. К сожалению, я запомнила только две строки:

Но спорит яростно и бурно
Всегда стремительный Табурно.

Табурно был в восторге и тотчас же, пообещав только переписать поэму и сразу же вернуть Николаю Георгиевичу, завладел ею.

Уезжали мы вечером, когда уже взошла луна и дорога была ярко освещена.

— Я доволен, что мы побывали в Кастрополе. Мне было приятно ближе узнать Николая Георгиевича. Когда мы бывали на работах, он говорил мне о своих изумительных планах постройки железной дороги.

«Веселый размах, пылкая, нетерпеливая мысль, сказочное блестящее творчество», — писал о нем позднее Александр Иванович в своих воспоминаниях.

* * *

Была уже осень, мы на террасе пили чай, когда пришли Ростовцевы позвать нас на ужин. При этом, обращаясь ко мне, Соня сказала:

— На днях к нам приехал гостить брат Михаила Ивановича. Помните, два года назад, когда вы жили здесь с тетей Верой и мы обе еще не были замужем, у вас был с ним флирт.

Александр Иванович изменился в лице и, взяв со стола чайную ложку, молча стал перекручивать ее в штопор. Такое настроение Александра Ивановича не предвещало ничего приятного.

Когда Ростовцевы уходили, Соня спросила:

— Так вы будете у нас вечером?

Александр Иванович молча поклонился.

— Я и не подозревал, что у тебя раньше в самом деле был «Петр Федорович», — язвительно заметил мне Александр Иванович, когда Ростовцевы ушли.

— Конечно, Саша, — живо вмешалась мамаша, откладывая вязанье, — у моей Зины до того, как она, к несчастью, вышла замуж за Ната, было много поклонников. И гораздо лучше, чем этот ее скверный Нат, — вздохнула Любовь Алексеевна. — Понятно, что и за Мусенькой ухаживали, когда она была барышней.

Александр Иванович промолчал и только исподлобья взглянул на мать.

С Дмитрием Ивановичем Ростовцевым я познакомилась у Милюковых. Профессор Милюков, статьи которого печатались в «Мире божьем», был некоторое время редактором, а затем просто сотрудником журнала. Анна Семеновна, жена Милюкова, пригласила меня к ним на квартет. Первую скрипку в квартете играл офицер Павловского гвардейского полка, москвич, Дмитрий Иванович Ростовцев.

Однажды он пришел к нам и привел с собой брата Михаила Ивановича, который только что вернулся из-за границы. У меня сидела Соня Кульчицкая.

— Вот, девицы, привел вам жениха, а вы сами делите, — сказал Дмитрий Иванович, знакомя нас с братом.

— Неказистый наш жених, — сказала Соня после их ухода.

Но Соня была практичная и через полтора года вышла замуж за М. И. Ростовцева, молодого профессора Высших женских курсов.

Летом 1901 года Дмитрий Иванович гостил в Мисхоре у Кульчицких. Со свойственными всей гвардей-

ской молодежи повадками — встречаясь с молодыми женщинами или девушками — он считал своим долгом развлекать их и ухаживать за ними. При этом, так как он был очень недурен собой и живого темперамента, он принимал красивые позы и всячески рисовался или, на нашем с Соней языке, просто «егозил». Но, ухаживая за девушками, он что-то долго примерялся, и каждый раз все расстраивалось.

Когда я спрашивала Соню: «Ну как Дмитрий Иванович?» — она отвечала: «Представь себе, он опять скопытился».

Вечером мы отправились к Ростовцевым.

За столом Соня, как назло, рядом со мной поместила Дмитрия Ивановича, а сама с Куприным села напротив нас. Дмитрий Иванович с места в карьер «заегозил». Соня веселилась и усиленно занимала разговором своего соседа. Ужин заканчивался, когда стало темно, и на столе расставили свечи в подсвечниках с круглыми стеклянными колпаками. Скоро на свет стали слетаться ночные бабочки, а мотыльки плотным слоем облепили стекло.

— Как странно, что, не сознавая опасности, мотыльки летят на огонь, обжигают свои нежные крылышки и гибнут, — всем корпусом поворачиваясь ко мне, мечтательно произнес Дмитрий Иванович.

— Что же тут странного? Явление давно и просто разъясненное естествоиспытателями, — не глядя на офицера и обращаясь к Соне, очень громко сказал Александр Иванович.

И, будто бы эта реплика не касалась его, Дмитрий Иванович продолжал, улыбаясь и глядя на меня:

— Не так ли и молодые женщины, ослепленные пламенем любви, неосторожно приближаются к манящему их огню?

— Вам нравится это пошлое сравнение, Софья Михайловна? — произнес Александр Иванович, обращаясь к ней.

— Однако, господа, из-за невинных мотыльков вы, кажется, начинаете пикироваться, — расхохоталась Ростовцева.

— Я ни с кем пикироваться не собирался. Но сравнение, которое господин Куприн считает пошлым, я не

раз встречал не в каких-то рассказиках, а в книгах известных русских писателей.

— У кого же, например? — приподнимаясь, со стаканом вина в руке, глухо спросил Александр Иванович.

Но тут я быстро встала.

— Простите, Вера Алавердовна, — обратилась я к хозяйке дома, — мне пора кормить Лидочку. Разрешите нам поблагодарить вас и удалиться.

— Михаил Иванович, у тебя мой электрический фонарь. Проводи Куприных, — приказала Соня мужу.

— Еще одна секунда, — сказал дома Александр Иванович, — и я выплеснул бы вино в лицо этому наглому хлыщу.

ГЛАВА XXIV

Возвращение в Петербург. — «Черный туман». — Редакционное совещание в «Мире божьем». — Обсуждение плана на 1904 год. — Столкновение с А. И. Богдановичем. — Выход Куприна из состава редакции «Мир божий». — Литовский замок.

Возвращение осенью в Петербург Куприн переживал болезненно. Всякий раз, когда начинались сборы к отъезду, он начинал нервничать. Так было и на этот раз, но остаться в Мисхоре еще недели на две, до конца сентября, было неудобно. Богданович писал, что материальные дела требуют моего возвращения, а присутствие Александра Ивановича в Петербурге для журнала необходимо. Летом редактор Ф. Д. Батюшков уезжал на два месяца за границу, в редакции оставался только Богданович, — накопилось много рукописей.

— Ничего не поделаешь, — жаловался Александр Иванович, — придется опять отбывать повинность на длиннейших редакционных совещаниях в накуренной комнате со спущенными темными шторами на окнах, электрическими лампами и стаканами недопитого чая на столах. Опять бесконечные словопрения, а Богданович, терпеливо выслушивая их, все равно поступит посвоему.

Я уже слышу, как Батюшков в редакции, стоя среди комнаты в своей обычной позе — расставив ноги и откинув назад корпус, — говорит, обращаясь ко мне:

«Я не возражаю против рассказа, который вы, Александр Иванович, рекомендуете, но думаю, что вам следует эпизод такой-то, впрочем, все равно какой, предложить автору изложить «ретроспективно». Рассказ от этого значительно выиграет». И, сдерживая поднимающееся бешенство, я вежливо отвечаю: «В таком случае попрошу вас, Федор Дмитриевич, взять на себя труд разъяснить это автору».

— Прямое изложение факта в художественном произведении, показанное «импрессионистически», — вмешивается Михаил Петрович Неведомский, — производит большее впечатление, нежели тот же факт, изложенный «ретроспективно».

Владимир Павлович Кранихфельд, разумеется, не может согласиться ни с одним из мнений предыдущих критиков, а должен выступить с собственным. Он говорит: «Ретроспективное изложение, отдаляя эпизод от читателя, становится менее эмоциональным, чем его непосредственное изложение. Однако импрессионистическое изложение, которое в данном случае рекомендует автору Михаил Петрович Неведомский, я считаю нездоровым течением в нашей литературе. Единственно верный путь развития литературы — это путь наших классиков-реалистов.

Богданович в это время молча протирает очки, а я возьму первую попавшуюся под руку книгу и, чтобы совладать с раздражением, начну ее перелистывать. Уходя, Неведомский несколько раз, точно насос, сильно качнет мою руку сверху вниз (такая манера теперь в моде у интеллигентов) и скажет: «Что же вы не зайдете ко мне как-нибудь вечером? Поспорим». Как будто заранее известно, что, собравшись вместе, интеллигенты обязательно должны спорить. Вот потому-то я и предпочитаю общество клоунов, кучеров, борцов и людей многих других профессий обществу интеллигентов и литераторов.

А ведь такие редакционные совещания обязательны дважды в неделю. Значит, два раза в неделю мое рабочее настроение будет безнадежно испорчено. Как только, собираясь писать, я возьму перо в руки, в ушах у меня будет раздаваться: «Ретроспективный взгляд, ретроспективный взгляд... импрессионистское изложение...» И, отчаявшись в возможности работать, мы

поедем с тобой, Машенька, на острова. Так может пройти вся зима. Когда же писать?

Однажды в начале зимы Александр Иванович рассказал мне, что случайно встретил на улице знакомого киевского журналиста. Тот уже несколько лет жил в Петербурге, но как-то нигде не мог прочно устроиться. Уезжая в столицу, он рассчитывал выдвинуться здесь на газетной работе, однако вскоре убедился, что даже в «Петербургском листке» требования, предъявляемые сотрудникам, более повышенные, чем в средних провинциальных газетах. Он перебивался с хлеба на квас и решил весной уехать в Чернигов, где, пишут ему, открывается какая-то новая газета.

— Мы долго сидели с ним за кружкой пива в маленьком ресторанчике у Пяти углов, — рассказывал Куприн, — и всячески ругали отвратительную мокрую, туманную петербургскую осень и серых, скучных людей.

Эта встреча навела меня на мысль написать небольшой рассказ о том, как провинциал-южанин, полный здоровья и жизнерадостной мечты «завоевать счастье», приехал в Петербург и как через несколько лет, разочарованный и ненавидящий Петербург, с опустошенной душой, уезжает на родину.

Рассказ Александр Иванович написал в несколько дней. По его словам, эта работа потребовала от него очень мало усилий. С торжеством показал он мне написанные им листки:

— Вот что пишу я о твоем любимом Петербурге. Это я пишу о себе...

Киевский журналист не умер, а благополучно здравствовал где-то у себя на юге. Но Александр Иванович закончил рассказ смертью героя, что должно было еще сильнее подчеркнуть его непримиримую враждебность к Петербургу.

Рассказу «Черный туман» Александр Иванович не придавал серьезного значения и ни в один из толстых журналов не дал его, а предложил только Миролюбову в «Журнал для всех». Но так как Куприн еще не был автором «Поединка», то Миролюбов вернул ему рукопись, сказав, что считает рассказ незначительным и слабым. И только в 1905 году «Черный туман» был напечатан в малораспространенном еженедельнике «Родная нива».

Надежда Куприна на то, что летом рукописей в редакцию поступит меньше, не оправдалась. Ангел Иванович очень переутомился, нервы его были напряжены до крайности.

Александр Иванович, сознавая до известной степени свою вину, принялся с большим рвением расчищать накопившиеся без него залежи рукописей и писем.

Не посоветовавшись со мной, Александр Иванович почему-то поспешил передать Михайловскому в «Русское богатство» написанный им в Крыму рассказ «Конокрады».

Вскоре вернулся в Петербург и Батюшков. Узнав, что рассказ Куприна передан в «Русское богатство», Батюшков обиделся, был недоволен и Кранихфельд. Богданович сдержанно молчал, хотя, по всей вероятности, его это тоже задело. Теперь редакция была в сборе, но бодрого настроения не было.

— Пора нам приступать к обсуждению плана на тысяча девятьсот четвертый год, — сказал однажды Ангел Иванович. — Скоро начнется предподписное время, нужно составить объявления, обсудить рекламу, посмотреть материал, которым мы располагаем, и подумать, о чем надо еще позаботиться, что и кому заказать.

В первый вторник октября 1903 года в редакции журнала «Мир божий» шло совещание. Обсуждали наступающий подписной 1904 год.

За большим столом сидели ответственный редактор Ф. Д. Батюшков, редактор А. И. Богданович, члены редакции В. П. Кранихфельд и А. И. Куприн, я — заведующая отделом переводной беллетристики и издательница журнала, все заведующие отделами и постоянные и близкие сотрудники журнала — совещание было расширенное.

Перед каждым стоял стакан крепкого горячего чаю.

О планах на будущий год докладывал Ангел Иванович Богданович.

— Объем журнала остается прежний, — сообщил он, — около тридцати печатных листов, которые всегда распределяются следующим образом: на прозу и поэзию — двенадцать — тринадцать листов, на остальные отделы (первый — «Внутреннее обозрение», второй — «Родные картинки», третий — «Иностранное обозрение»,

четвертый — «Критические заметки», пятый — «Общественно-политические и научные статьи») — шестнадцать — семнадцать листов. Приступим к обсуждению отдела прозы и поэзии. Роман займет три — три с половиной печатных листа, повесть — около трех листов, рассказы — три с половиной листа, переводная беллетристика — два листа.

Отдельно место для стихов мы выделять не будем, потому что в настоящее время стихов, которые заслуживали бы этого, нет. Бунин пишет редко, больше переводит, а модернисты нам не нужны. Стихи пойдут на подверстку, «на затычку». В первом полугодии дадим роман Потапенко.

— Опять Потапенко? — удивился Александр Иванович. — Неужели мы читателям «Мира божьего» не можем дать материал более свежий, молодой и талантливый!

— Позвольте мне привести вам один житейский пример, — ответил Ангел Иванович. — Наш читатель — это средний интеллигент, по большей части малоимущий. Его читательский обиход так же скромен и привычен, как и хозяйственный. Каждый день все мы обедаем. И обед с детства мы привыкли начинать с супа. Если же мы почему-нибудь лишаемся супа — это признак наступающей бедности. Итак, наш читатель привык начинать чтение журнала супом, каковым для него является роман Потапенко, и отсутствие старого блюда будет для него лишением.

Кранихфельд рассмеялся:

— Однако вы не слишком лестного мнения о Потапенко.

Я взглянула на Александра Ивановича и увидела, что он побледнел от негодования.

— Может быть, сравнение Ангела Ивановича и очень удачно, но я решительно против того, чтобы наш журнал открывался супом и чтобы этим супом был Потапенко. В начале литературного пути у него были талантливые, художественные вещи, но с годами он стал писать все небрежнее и слабее, а сейчас печатает по пятьдесят — шестьдесят листов в год в различных периодических изданиях. Какую же художественную ценность может иметь подобная литература? И разве у нас нет новых талантливых авторов?

— Однако не слишком ли строго, Александр Иванович, вы судите такого автора, как Потапенко? Желаю вам со временем достигнуть такого же литературного успеха, каким он продолжает пользоваться.

— Если мне предстоит то же самое, я, надеюсь, вовремя пойму это и перестану писать совсем! А если начну диктовать мои произведения стенографисту, тогда, Маша, плюнь мне в глаза и уйди от меня. Я — больше не писатель.

— В таком случае, — вставила я, — зачем же было отказывать Вербицкой?

— Как? И вы еще со своим мнением! — Ангел Иванович вскочил и неожиданно швырнул стакан в стену. Стакан пролетел над моей головой, ударился о стену и разбился. По светлым обоям потекли струи чаю.

Кранихфельд не мог удержаться и расхохотался.

Богданович отбросил ногой стул.

— Ноги моей здесь больше не будет! — крикнул он уходя.

Поднялся Федор Дмитриевич Батюшков и, после нескольких секунд молчания, сказал:

— По-видимому, наше редакционное совещание на сегодня закончено.

На другой день Богданович, как всегда, в обычное время сидел за своим письменным столом в редакции, внимательно просматривая корректурные листы.

Куприн не знал, как ему себя вести. В конце концов Богданович бросил стакан в его жену. Как быть?

— Не могу же я его, такого маленького, щупленького, побить! Нельзя. Это невозможно, — говорил он, расхаживая по комнате.

Куприн пишет Богдановичу письмо. Он желает иметь от него удовлетворение с оружием в руках за оскорбление жены. Мне он объяснил, что это символический жест.

После этого поднялся страшный шум. Находили, что поведение Куприна — поведение типичного армейского офицера, а не писателя. На осуждение не скупились. Обратились с жалобой к Короленко:[1] Богдановича он знал и любил давно, а Куприн, как я заметила раньше, особой симпатии ему не внушал. Поэтому и в

данном случае он отнесся к этому происшествию без своей обычной справедливости. Владимир Галактионович начал громить дуэли и офицерские замашки писателя Куприна. Куприн вышел из состава редакции журнала «Мир божий». Чтобы Богданович не встречался с Куприным, редакционные среды «Мира божьего» были перенесены к Ф. Д. Батюшкову, на которых я, конечно, тоже не бывала.

Спустя некоторое время Александр Иванович смеялся и говорил: «Мартин Лютер бросил в черта чернильницей, а Ангел Иванович в Марию Карловну — стаканом с чаем».

* * *

Однажды в 12 часов ночи из ресторана Палкина вышли А. И. Куприн, художник-иллюстратор Троянский, критик Петр Пильский и еще несколько журналистов.

Александр Иванович направился домой. Его провожал Троянский, бывший офицер-артиллерист, которого прозвали почему-то «юнкер Троянский», хотя в отставку он вышел в чине капитана.

На углу Литейного и Владимирской шло несколько веселых девиц. Куприн и Троянский завели с ними шутливый разговор. Место было людное, послышались свистки, и компания очутилась в окружении городовых. Кончилось дело тем, что всех отвели в участок.

Ночью старший дворник разбудил меня:

— Александр Иванович задержан. Документов у него при себе нет, и нужно удостоверить его личность. Городовой ждет внизу.

— Дай ему целковый — пусть уходит. А ты возьми извозчика и жди меня.

Была зима. Я надела шубу, накинула сверху соболий палантин и поехала в участок.

В кабинете пристава, грязном, полном табачного дыма, толпились странные личности и городовые. Я не сразу заметила сидевших сбоку у стены Куприна и Троянского. Увидев их, я громко спросила:

— Саша, как ты сюда попал? И вы, Троянский?

— Вам что угодно, сударыня? — спросил меня пристав.

— Как что угодно? Потребовали документы моего мужа. Я привезла их сама.

Александр Иванович взял у меня паспорт и молча положил на стол. Пристав, заполнив имя, звание, фамилию, передал протокол Куприну на подпись.

— Это ложь! — кричал Александр Иванович, сворачивая протокол трубочкой. — Мы не приставали, а отбивали девиц от полицейской облавы городовых!

— Подпишите! — настаивал пристав.

Александр Иванович сделал шаг вперед и ударил пристава протоколом по лицу.

— Вы ответите, господа, за оскорбление при исполнении служебных обязанностей. Я этого так не оставлю. Я передам дело в суд!

Наступил день суда. В защиту Куприна и Троянского решил выступить критик Петр Пильский — человек очень остроумный и находчивый. Он приготовил длинную, убедительную речь и начал так:

— Гидра царизма попирает...

— Довольно! Лишаю вас слова. Дело ясное.

Суд постановил: Куприн и Троянский за оскорбление чинов полиции подлежат аресту на две недели. С обоих взяли подписку, что они явятся в указанный срок в тюрьму Литовского замка [2].

Укладывая чемодан, Александр Иванович взял с собой вещей очень немного. Деньги, табак и спиртные напитки не разрешались.

Троянский поступил более предусмотрительно. На дно чемодана он положил, вместе с бельем и книгами, свою офицерскую форму. Когда их разместили на дворянской половине по отдельным камерам, выходившим в общий коридор, где у выхода на лестницу сидел унтер, к Александру Ивановичу зашел Троянский.

— Теперь надо вспрыснуть наше новоселье! — шутил художник.

Но у Куприна портсигар с папиросами отобрали, и он был не в духе.

— Сейчас все организую, — продолжал Троянский, потирая руки.

Он ушел, и через некоторое время появился в коридоре в военной форме.

— Пст! — крикнул он в сторону дежурившего в коридоре унтера.

Унтер повернулся и, увидев Троянского в форме капитана, вскочил с места и вытянулся.

— Пойди сюда! — поманил его пальцем Троянский. — Вот тебе три рубля. Купишь две коробки папирос, бутылку водки, огурцов, хлеба и селедку. Сдачу оставишь себе. Живо! Одна нога здесь, другая там. Пшел!

Так Куприн и Троянский провели две недели под арестом в Литовском замке. Вспоминать об этом Александр Иванович не любил, но и не мешал Троянскому изображать все это в лицах.

ГЛАВА XXV

Устричная лавка Денакса. — Болезнь Куприна. — Доктор С. С. Жихарев. — Рассуждение Куприна о смерти и поведении окружающих.

Когда мы жили еще на старой квартире, у столяра, Александр Иванович недалеко от Невского случайно обнаружил небольшую лавочку, торговавшую черноморскими устрицами. Разыскать ее было довольно сложно — лавочка помещалась в полуподвальном помещении. Три ступеньки вниз вели к двери. На ней была прикреплена небольшая вывеска: «Устричное заведение Г. Денакса». Чтобы заглянуть в витрину, приходилось нагибаться, и только тогда можно было увидеть различных рыб, устриц и вареных крабов.

Александр Иванович заинтересовался странным видом этого заведения, столь скрытого от покупателей, что только чрезвычайно любопытному пешеходу удавалось его обнаружить. Разумеется, Куприн сразу же устремился в эту своеобразную лавочку, напоминавшую ему матросские одесские погребки, где можно было, наспех вышибив пробку из бутылки с водкой, закусить какой-либо копченой рыбной снедью, лежавшей на грязном деревянном прилавке. В Одессе эти лавочки, торговавшие, конечно, без патента, назывались «низок».

Кроме хозяина, грека средних лет, в лавочке никого не было. Узнав, что устрицы можно есть тут же в магазинчике, Александр Иванович тотчас у стойки съел десяток. Конечно, при этом завязался разговор с хозяином. Выяснилось, что он уроженец Балаклавы, где, по его

словам, в прибрежных скалах были неплохие месторождения устриц. Стоили устрицы у Денакса необыкновенно дешево: начиная от тридцати копеек за десяток и до двух рублей самые отборные. Эту дешевизну Денакс объяснял семейным характером предприятия и не замедлил пожаловаться на убыточность лавчонки. Хозяин предложил Куприну осмотреть помещение, сообщавшееся с большим подвалом, заполненным всевозможными бочками.

— Да это же превосходный винный погреб! — воскликнул Александр Иванович. — Он будет иметь большой успех, если, кроме устриц, вы станете торговать крымским вином. Вот увидите, от посетителей не будет отбоя.

— Конечно, — согласился Денакс. — Нанимая помещение, я так и думал. Но оказалось, что это сопряжено с непосильными расходами. Существую я благодаря оптовому сбыту во второразрядные рестораны. Те редкие и случайные покупатели, которые бывают у меня, приносят вино с собой.

Александр Иванович принял это к сведению и впредь заходил к Денаксу уже со своим вином, угощая им и хозяина.

Когда мы поселились в другой части города, то знакомство Куприна с Денаксом прервалось приблизительно года на полтора. Но вот поздней осенью 1903 года Александр Иванович предложил пройтись перед сном. Мы вспомнили прежние прогулки и направились по Знаменской.

— Маша, а ведь здесь еще существует Денакс! — вдруг воскликнул Александр Иванович. — Зайдем...

Денакс обрадовался нам. Рассказал, что, закрыв, по обыкновению, весной свое заведение, все лето провел в Балаклаве.

Об этом поселке греков-рыбаков он говорил с большим увлечением. Рассказ Денакса заинтересовал Александра Ивановича.

— Было бы любопытно посмотреть, что же такое Балаклава. Я часто проезжал мимо нее, но мне не приходило в голову там остановиться.

В середине ноября 1903 года Куприн заболел. Начались головные боли и какое-то общее недомогание. Но так как единственной болезнью, которую знал Александр

Иванович, была корь (он перенес ее в детстве), то он и не верил, что может захворать по-настоящему. Меня все же беспокоило его состояние, и я просила его поставить градусник.

— Не стану мерить температуру, Маша, к черту градусник, — рассердился он. — Вот когда я лет десять — пятнадцать безвыездно проживу в этом туманном, паршивом Петербурге, то куплю себе калоши и зонтик, перестану быть здоровым мужчиной, превращусь в существо среднего пола, петербургского интеллигента-радикала, начну кашлять и чихать, как зараженная сапом лошадь, вот тогда я стану измерять температуру и говорить тебе: «А ну-ка, мать, натри-ка ты мне спинозу». А теперь у меня голова болит лишь потому, что долгое время я по ночам читал рукописи различных графоманов, бездарных, малограмотных авторов или хотя и грамотных, но безнадежно серых писателей, к которым за их гражданские чувства питает слабость Кранихфельд. Когда мозги, точно ватой, забиты этим хламом, то поневоле встаешь утром с тяжелой головой и противным вкусом во рту.

Вскоре после этого разговора я проснулась ночью от громкого голоса Александра Ивановича. Окликнула его, но он не ответил. Когда я подошла к его кровати, он лежал с закрытыми глазами и бредил. Я положила ему на голову холодный компресс. Он взглянул на меня, но не узнал.

Рано утром я позвонила доктору Жихареву. Это был пожилой, очень знающий врач и большой поклонник литературы.

С доктором Жихаревым мы встречались у Маминых. Приехал он сразу. Осмотрев больного, Степан Сергеевич заподозрил брюшной тиф, к тому же запущенный. Что болезнь запущена, меня крайне удивило. Ведь только несколько дней назад мы с Александром Ивановичем были в устричном магазине Денакса. Услышав от меня об устрицах, Жихарев сказал:

— Ну, теперь и сомнения нет! Ведь ни в одном ресторане сейчас нельзя найти черноморских устриц — они поражены какой-то болезнью, вызывающей у людей брюшной тиф.

Александр Иванович поправлялся медленно. Доктор Жихарев ежедневно навещал его и убеждал терпеливо лежать.

— Когда мне было особенно плохо, Маша, я хотел серьезно поговорить с тобой. Но я был слишком слаб и говорить не мог. В случае моей смерти прошу: во-первых, не носи траура — это ханжество. Затем исполни мою серьезнейшую просьбу, не поддавайся ничьим советам и уговорам, что такое поведение не принято и даже неприлично и мало ли что может наговорить больной человек в бреду. Но теперь я говорю с тобой в здравом уме и твердой памяти. И говорю потому, что перестал верить в то, что мой организм обладает исключительной крепостью и не поддается ни простуде, ни какой бы то ни было заразе. Эту веру болезнь моя поколебала, и разговор о смерти я считаю необходимым.

Нет ничего ужаснее, гнуснее, отвратительнее разлагающегося мертвого тела. И чем ближе человек, тем ужаснее видеть труп его. Давно кто-то из молодых медиков познакомил меня с тем взглядом, которым резекторы смотрят на чей бы то ни было труп. Кто и чем был раньше этот человек, не затрагивает их сознания. Так, например, когда умер государь Александр III, тело его должна была вскрывать целая комиссия профессоров военно-медицинской академии. Среди них находился очень известный немец-хирург. Когда комиссия прибыла во дворец, то дежурный адьютант встретил их словами:

«В бозе почивший государь император...» — «Где кадавр?» * — прервал его немец.

Вот, Машенька, во что с точки зрения науки превращается человек. Впрочем, живая собака лучше мертвого льва, сказал еще царь Соломон.

Все это рассуждение, Машенька, сводится вот к чему. Если мне будет суждено умереть раньше тебя, то, как бы я ни надоел тебе скучной и длинной болезнью своей, не бросай меня. В мои последние минуты держи меня за руку. Но как только все будет кончено, уходи от меня и не только не подходи близко — даже издали на меня не смотри, чтобы мое мертвое лицо не осталось у тебя в памяти. Все полагающиеся хлопоты передай посторонним лицам. Они со знанием дела организуют все в

---

* Труп (от *франц.* cadavre).

лучшем виде, совершенно так, как хороший повар укладывает на блюдо перед подачей на стол осетра. Я всегда любовался в хороших ресторанах, до чего красиво гарнирован холодный заливной осетр, лежащий на блюде. Кругом него перемешанные с зеленью цветы, вырезанные из свеклы, моркови, огурцов, а в рот его засунут большой пучок зеленой петрушки.

Так вот, таким образом опытные декораторы и меня уложат в гроб, окружив цветами и зеленью. Но только я прошу тебя, Машенька, сказать им, чтобы в рот мне петрушки не совали, это ни к чему. И затем уже последнее попрошу тебя. Не позволяй произносить никаких речей. Это тоже гнусный трафарет. Ежели бы покойник способен был услышать посвященные ему речи, он содрогнулся бы от их пошлости. Многие ораторы, которые не только не знали близко покойного, но даже вовсе не встречались с ним, почему-то будут обращаться к нему на «ты». Вот какой-нибудь учитель словесности подойдет к моей могиле, высморкается в грязный носовой платок, отхаркается и начнет: «Вот ты лежишь, а я стою, вот ты молчишь, а я говорю...» — и т. д. А если выступит литератор, то он захочет отличиться красноречием и сказать изобилующую красивыми образами речь, совсем такую, какую я передавал тебе незадолго до моей болезни, когда был на похоронах одного старого, давно забытого писателя: «Еще одна тяжелая утрата... Русская литература — это громадный могучий лес, среди исполинов которого мы различаем великие фигуры... Наряду с ними мы видим фигуры и более скромные. И вот перед нами в лице покойного лежит такое скромное дерево. Снимем же и перед этим скромным деревом с благодарностью шапки и скажем: «Да будет мир праху твоему, честный труженик».

Последние слова Александр Иванович произнес уже смеясь.

Куприн поправлялся, но все еще чувствовал сильную слабость. Ощущение это для него, всегда физически очень крепкого человека, было непривычно и раздражало. Каждый раз он спрашивал у доктора Жихарева, вернется ли к нему прежняя сила мускулов, выносливость, быстрота движений.

— Сразу это, конечно, не приходит, — отвечал Жи-

харев, — а вот для повышения тонуса я бы порекомендовал вам хорошо действующее средство — немного вина. Ваш организм, приученный к алкоголю, несомненно, в нем сейчас нуждается. Что же мы выберем из вин средней крепости? Такие, как коньяк, исключаются. Мадера, портвейн, херес...

— Ах, херес, — прервал его Александр Иванович, — я часто думал о нем, но пробовать его как-то не случалось. В ресторанах почему-то его никогда не оказывалось, возможно, потому, что я хотел только настоящий испанский амонтильядо — в память Эдгара По и его рассказа «Бочка амонтильядо».

— Не знаете ли вы, Степан Сергеевич, где достать этот самый амонтильядо? — спросила я.

— Очень просто. На Невском в Милютиных лавках вы достанете все, что угодно.

И в самом деле, на другой же день я достала небольшую оригинальной формы бутылку хереса с этикеткой на испанском языке и заграничной пломбой. Распечатали мы ее в присутствии Степана Сергеевича. Он распорядился подать черный кофе, небольшие рюмки и вместе с Александром Ивановичем принялся за дегустацию. Херес обоим очень понравился.

— Да, после первого живительного глотка я сразу же почувствовал себя бодрее. Многие врачи придерживаются того мнения, что вино вредно и пагубно действует на мозг. Однако если бы Эдгар По, Гофман и многие другие были трезвенниками и аскетами, то неизвестно, стали бы они писателями. Как вы считаете? — обратился Куприн к Жихареву.

— Определенно утверждать что-либо трудно. Я, во всяком случае, не берусь.

— Меня же лично интересует вот какой вопрос, — продолжал Александр Иванович. — Если писатель вообще привык к постоянному употреблению вина и потом вдруг лишит себя вина, то, слышал я, он перестает писать. Я очень боюсь этого. А вот Маша считает, что я пью слишком много, и сердится на меня.

Ну,. что же, Машенька, я на все готов для тебя, — заговорил он с лукавым блеском в глазах. — Я совсем не стану пить, никуда не буду отлучаться из дому, а когда у меня не будет никаких новых впечатлений, я просто перестану быть писателем. Я хороший счетовод

и после небольшой практики легко сумею стать бухгалтером. — Александр Иванович с довольным видом потер руки. — Знаешь, Маша, я буду таким исполнительным, честным бухгалтером вроде «брудеров» * Ольги Францевны, которых я как-то видел у нее. Я буду приходить всегда вовремя домой, снимать свой сюртучок, в котором я хожу в банк, аккуратно вешать его в шкаф и надевать другой — старенький, домашний. Потом за обедом я буду рассказывать тебе о моих сослуживцах и о том, что начальство мною довольно и к рождеству я, наверно, получу наградные. Со временем исполнительностью, а также и лестью я вотрусь в доверие на бирже. Разумеется, сначала осторожно, понемногу, рискуя только мелкими суммами, а потом и крупнее. Лет через пятнадцать, разбогатев, я смогу стать акционером и членом правления банка. У тебя появятся туалеты, свой выезд, абонемент в опере. Ты наймешь квартиру на Каменноостровском — бельэтаж в пятнадцать комнат (совсем как у твоего кузена А. А. Давыдова). Соответственно будет меняться и моя наружность. С годами я растолстею, облысею, и так как я невысокого роста, то стану очень похож на старого повытчика Кульчицкого. Да ты не смейся, Маша. Почему ты смеешься? Все это я предлагаю тебе совершенно серьезно. И наша дача тоже будет называться «Дружба» — «Добро пожаловать — посторонним лицам вход строго воспрещается». О писателях же я буду говорить, что это голоштанники и шантрапа. Хорошо, Маша, согласна? Ну, как, Степан Сергеевич, приветствуете такое превращение?

ГЛАВА XXVI

Выход первого сборника «Знание». — Премьера «Вишневого сада» в Москве. — Отъезд Куприна в Троицкий Посад. — «Мирное житие». — Возвращение Куприна в Петербург. — Рассказы «Корь» и «Жидовка».

В конце декабря Александр Иванович оправился от тифа и почувствовал новый прилив сил. Врачи утверждали, что в случае благополучного исхода болезни такой подъем вообще характерен для молодых людей.

---

* Братьев (от *нем.* Bruder).

Он был счастлив, что оказался свободным от всяких обязательств по отношению к журналу, и теперь у него было время для своей работы.

Первый сборник товарищества «Знание» вышел в начале января 1904 года. Там были помещены повесть Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского», которая имела действительно большой успех, и поэма Горького «Человек». Многие знали ее наизусть, и можно было услышать даже от гимназистов седьмого класса: «Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его медленно шествует вперед! и — выше! трагически прекрасный Человек!»

Словом, сборник понравился, и вскоре готовилось его второе издание.

Узнав от Бунина, что 17 января в Художественном театре состоится премьера «Вишневого сада» Чехова, Александр Иванович спешно собрался в Москву.

Из Москвы я получила от него письмо, в котором он сообщал, что виделся с Пятницким и Горьким. Алексей Максимович куда-то торопился, и разговор с ним был короткий. Горький недовольно заметил ему, что он ничего не прислал в первый сборник «Знания», но Александру Ивановичу удалось «выкрутиться», свалив все на неурядицы в редакции и затем на свою болезнь. Тогда Горький взял с него слово, что он немедленно сядет за рассказ для второго сборника, который должен был выйти в конце января и в котором появится пьеса Чехова «Вишневый сад».

Александр Иванович решил пожертвовать премьерой — ведь пьеса идет хоть и в первый раз, но не в последний, а выйти в одном сборнике с Чеховым когда еще представится возможность.

«Поэтому, Маша, немедленно еду в Троицкий Посад писать рассказ на давно облюбованную мною небольшую тему о богобоязненном старике-доносчике [1], — писал он мне. — Как только закончу рассказ и отошлю его в «Знание», жди от меня известий».

Вскоре я получила телеграмму: «Приезжай сюда, проведем несколько дней у Троицы».

В те дни мы много ездили по окрестностям Москвы и осматривали старинные монастыри, в которых раньше подолгу гостили митрополиты.

Александр Иванович купил у монахов несколько маленьких икон — «Нечаянная радость», «Неопалимая Купина», «Встреча Авраама с двумя ангелами».

В Петербурге Александр Иванович «для разгона» решил написать несколько рассказов, а уже потом заняться большой вещью. Два рассказа «Корь» и «Жидовка» он написал очень быстро. Вчерне они были набросаны еще в Крыму.

Я уже упоминала, что вид на море из окна нашей спальни на даче в Мисхоре Куприн описал в рассказе «Корь».

Он в известной степени списан с натуры, но на самом деле студент Воскресенский не обладал той выдержкой характера, какую в рассказе приписывает ему Александр Иванович. Госпожа Завалишина (А. Г. Карышева) была еще очень красива и Воскресенскому (не из рассказа) нравилась. Поэтому после недолгой борьбы с самим собой он капитулировал и остался учителем в этой семье.

У Карышевых было три сына: Юрий, Илья и Александр, с которыми Александр Иванович занимался (это было задолго до моего знакомства с Куприным). Анна Георгиевна Карышева влюбилась в репетитора своих сыновей. Муж Карышевой знал это, и когда Куприн подолгу не бывал в их доме, приглашал его к себе.

— Я понимаю, — говорил он Куприну, — вам это тягостно, но она больная, несчастная женщина...

С годами Карышева стала истеричнее. Она следила за каждым шагом Куприна. Если он появлялся в каком-нибудь киевском доме, где была молодая хозяйка или хорошенькая гостья, в этот дом тут же следовало письмо Карышевой, в котором она очень нелестно отзывалась о Куприне.

Куприн боялся ее. Поэтому, когда было решено, что мы вступаем в брак, о чем прослышала Карышева и прислала ему письмо, — Куприн ответил ей, что это сплетни.

Когда я ждала ребенка, на мое имя пришло от Карышевой письмо. Она обвиняла Куприна в чудовищных преступлениях, что, несомненно, было ее больным воображением.

В один из приездов в Петербург ко мне зашел брат С. А. Карышева — Николай Александрович Карышев,

профессор политэкономии Московского университета. Он раньше бывал у А. А. Давыдовой и Туган-Барановских.

— Скажите, — спросил он меня, — наверное, моя невестка засыпала вас письмами?

— Да, от нее много было писем, но, прочитав первое, остальные я отправляла нераспечатанными обратно или передавала Куприну.

В 1903 году у нас в Мисхоре гостили два сына Карышевой: Юрий и Александр. Куприну было приятно, что у него в гостях его бывшие ученики.

Следует добавить, что прототип хозяина — г. Завалишин (С. А. Карышев), которого Куприн наделил такими отрицательными чертами, в действительности совсем другое лицо. Муж «госпожи Завалишиной» на самом деле был милым и порядочным человеком.

На мой вопрос: «Зачем же ты порядочного человека так гнусно изобразил?» — Куприн ответил: «Да, но для того, чтобы студент уехал, нужна была идейная ссора, поэтому я взял тип, которого наблюдал совсем в другом месте».

Рассказ «Корь» был напечатан в апрельском номере журнала «Мир божий».

Вслед за рассказом «Корь» Александр Иванович написал менее удачный рассказ «Жидовка», и Маныч отнес его в журнал «Правда».

Мне не нравилось название рассказа, но изменить его Александр Иванович почему-то не хотел.

ГЛАВА XXVII

Весна 1904 года. — Малые Изеры. — Увлечение Диккенсом. — Рассказ «Человек с улицы». — На платформе с песком. — Утреннее купание. — Отъезд Куприна в Москву на похороны А. П. Чехова.

Весна приближалась, и надо было решить вопрос, где мы проведем лето. Жить в людных окрестностях Петербурга нам не хотелось, среди разных газетных объявлений о дачах мы нашли одно, которое нам понравилось. В нескольких верстах от Луги, близ деревни Малые Изеры, на хуторе сдавалась дача. В объявлении были обещаны лес, река, поле, пруд и другие красоты.

Александр Иванович решил съездить посмотреть. Вернулся он очень довольный. Все, что было перечислено в объявлении, действительно оказалось на месте, и он тотчас решил внести задаток хозяйке дачи — вдове Житецкой.

В начале мая мы переезжали на дачу. Стояла удушливая жара. День был воскресный, с нашим поездом ехало много дачников, вагоны были битком набиты. Мы рассчитывали, что в первом классе будет свободнее, — Лидочке было всего год и четыре месяца, днем она привыкла спать, — и ее можно будет уложить на диване. Случайно мы попали в курящий вагон. Минут за десять до отхода поезда в купе вошли два осанистых старика. Один диван был наш, они расположились на противоположном. Когда они вышли в коридор проститься с провожавшими, через открытую дверь до нас донеслось: «Как это неприятно — маленький ребенок. Позови кондуктора», — сказал один из стариков лакею. «Устрой нас, любезный, в другом отделении», — обратился он к кондуктору. «Все занято, ваше превосходительство. Местов нет, никак невозможно», — извинялся кондуктор. «Может быть, они скоро выйдут, и мы тогда устроимся здесь». — «Куда они едут?» — спросил старик. — «Билеты у них до Луги». — «До Луги? И мы до Луги».

Скоро поезд тронулся, и новые пассажиры уселись молча, с надутым видом. Через несколько минут один из них заметил:

— Купе курящее.

— Да, и весь вагон тоже, — сказал другой.

— Ну, что ж, покурим, — и вытащили каждый по громадной сигаре.

Через несколько минут все купе было полно вонючим удушливым сигарным дымом. Александр Иванович открыл окно.

— У меня ревматизм, — произнес старик, сидящий ближе к окну. — Потрудитесь закрыть окно.

— Да, но вы видите, что мы едем с маленьким ребенком...

— Зачем же вы сели в курящее купе, раз едете с ребенком?

Второй старик вышел в коридор и крикнул:

— Кондуктор, закройте окно.

Вошел кондуктор и обратился к Куприну:

— Господин, открывать окна можно только с одной стороны. Эта сторона подветренная, и если другие пассажиры заявляют претензии, окно следует закрыть.

— Хорошо, — спокойно ответил Александр Иванович. Но я увидела, что он побледнел, слегка опустил голову и, прищурившись, посматривал на стариков.

Мы подъезжали к Гатчине, где поезд стоял десять минут.

— Я выйду пройтись, Маша, — сказал мне Александр Иванович. Он скоро вернулся. В руках у него был сверток.

Поезд тронулся. Старики продолжали молча курить сигары. Когда поезд развил скорость, Александр Иванович сказал:

— Маша, выйти с Лидочкой в коридор.

«Он что-то задумал», — подумал я.

Дверь в купе оставалась открытой, и я видела, как Куприн застелил газетой преддиванный столик. Потом он размахнулся и чем-то твердым ударил по окну. Зазвенели осколки. Александр Иванович старательно вышибал стекла наружу вдоль рамы. Старики в негодовании вскочили:

— Что вы делаете?

— Выбиваю стекло.

— Кондуктор, кондуктор! — бросился на поиски один из стариков.

Когда он вернулся с кондуктором, Александр Иванович слегка поклонился:

— Благодарю, что вы привели кондуктора убрать стекло.

— Протокол, протокол надо, — шипел старик.

— Господин, стекла бить не полагается, вы за это ответите, — заговорил кондуктор.

Александр Иванович вынул бумажник и, указывая на висевшие на стене правила, сказал:

— За разбитое стекло полагается штраф пять рублей. Вот десять, другие пять отдайте за уборку.

Когда возня со стеклом кончилась, Александр Иванович обратился к утратившим от изумления дар речи пассажирам:

— Теперь продолжайте курить ваши вонючие гаваны. Ветром все выдует. А ты, Маша, укладывай Лидочку спать, только укрой ее, чтобы не дуло на нее из окна.

Года два спустя мы обедали у родителей Федора Дмитриевича Батюшкова. Отец его был старый сановник, последние годы занимавший должность почетного опекуна ведомства императрицы Марии Федоровны. Должность эта была основана еще при Екатерине, и Александр Иванович вычитал в каком-то историческом справочнике, что почетный опекун в качестве особы одного из первых двух классов имел право не только посещать институты, но и тюрьмы, пробовать там пищу и освобождать невинно заключенных. При первом же знакомстве со стариком Дмитрием Николаевичем Куприн спросил, правда ли ему присвоены такие функции в качестве почетного опекуна. Тот, не уловив юмора, с полной серьезностью ответил, что да, такие привилегии он действительно имел, но ему не приходилось ими пользоваться.

К самому обеду в гостиную вошел представительный пожилой господин. Лицо его мне что-то напоминало.

— Вот наш известный писатель Александр Иванович Куприн, с которым ты так хотел познакомиться, — произнес Федор Дмитриевич. — А это наш старый друг дядя Петя, Петр Иванович, сенатор Тавелдаров.

— Кажется, мы с вами уже немного знакомы, — сказал Куприн. — Два года назад мы с таким удовольствием ехали из Петербурга в Лугу в курящем вагоне.

— Какое приятное совпадение, — обрадованно сказал Федор Дмитриевич.

Когда мы обсуждали, что брать с собой на дачу, в Малые Изеры, Александр Иванович сказал:

— Ни в коем случае, Маша, не бери с собой книг, ни русских, ни иностранных. Ты ведь знаешь несчастное свойство моей памяти, в которой часто застревают отдельные прочитанные фразы, причем я совершенно забываю, откуда они появились в моей голове.

— Может, мы все-таки возьмем с собой каких-нибудь иностранных авторов?

— Хорошо, но ни в коем случае никого из французов — ни Мопассана, ни Флобера, ни Бальзака.

— Но нельзя же не иметь ни одной книги. А что ты скажешь об английских авторах, о Диккенсе, например?

— Диккенс? Я его совсем не знаю.

— Ну что-нибудь-то Диккенса читал, наверное?

— Нет, не помню. Не знаю почему, у меня сложилось впечатление, что все английские писатели невероятно скучны. К тому же ни в библиотеке корпуса, ни в юнкерском училище этого автора не было, также и в полковой библиотеке он не встречался.

— Тогда я возьму с собой Диккенса.

Помещение на даче было довольно большое, и Александр Иванович выбрал себе отдельную комнату с окном на север, чтобы солнце не мешало работать. Он разбил клумбу, поставил для детей качели, укрепил гамак.

— Ну что же, начну, по обыкновению, с рассказа, а потом перейду к повести.

Работал Александр Иванович с утра до двух часов. В два часа был обед. Однажды после обеда Александр Иванович сказал мне:

— Покажи-ка мне своего Диккенса. Что бы нам вслух почитать?

Я дала ему «Пиквикский клуб». Александр Иванович увлекся сразу. Нравились ему рассуждения мистера Пиквика и особенно его изречение о том, что до сих пор души кучеров еще не исследованы.

Теперь каждый день после обеда Александр Иванович читал Диккенса. Когда члены Пиквикского клуба останавливались в какой-нибудь таверне и мистер Пиквик спрашивал стакан грогу, Александр Иванович говорил:

— Что же, Маша, раз мистер Пиквик пьет, отпусти и мне на грог — в леднике у нас есть лед, а в шкафу коньяк.

Очень обрадовало Александра Ивановича появление мистера Джингля.

— Маша! — воскликнул он. — Так ведь это же Маныч! Совершенный Маныч. Даже его рубленая речь. Помнишь, как он с восхищением рассказывал о своем знакомстве с Брешко-Брешковским: «Безукоризненный смокинг. Шелковые носки. Лакированные туфли. Жемчужные запонки. Английские духи. С головы до ног джентльмен!» — Александр Иванович заливался смехом.

Конечно, от всей души полюбил он мистера Уэллера-старшего, извозчика. Восхищала его сцена появления проповедника в пьяном виде в обществе трезвости, а затем расправа с ним.

Потом мы перешли к «Лавке древностей». Здесь внимание его остановил злобный горбун мистер Квилп.

Как-то я застала Александра Ивановича сидящим за моим туалетным зеркалом, когда он растягивал рот, делая невероятные гримасы. Потом, сгорбившись, прошелся по комнате.

— Скажи, Маша, если бы я был таким, боялась бы ты меня, как жена мистера Квилпа?

— Что ты говоришь! Ты же не можешь быть таким.

— А как я хотел бы хоть один день иметь такую внешность. Как это интересно — всех пугать.

Чтение не мешало его работе над рассказом «Человек с улицы», который он по частям читал мне.

Рассказ писался легко и выходил удачным, поэтому Куприн был в хорошем расположении духа. Он решил отдать рассказ в «Журнал для всех»[1].

— Не знаю, Саша, понравится ли он Миролюбову. После Горького у тебя «Человек» звучит совсем не гордо[2]. Миролюбов может испугаться.

Рассказ в «Журнал для всех» был принят, но не напечатан.

В последних числах июня Александр Иванович поехал к Миролюбову получить аванс. Он собирался вернуться на следующий день. Но ни на следующий, ни на другой, ни на третий его не было. Появился он только на пятый день под вечер в сопровождении нетрезвой и шумной компании. Среди них был Анатолий Каменский, поэт И. С. Рукавишников, еще несколько мужчин и три дамы.

Встретив их в Петербурге, Куприн пригласил всех к нам на дачу. Купили водки, вина, пива, закуски и за определенную плату устроились на платформе с песком. В пути пьяную компанию пытались несколько раз ссадить, но при помощи взяток им удалось добраться до станции Преображенская. От станции восемь километров шли пешком.

Рано утром, как только они проснулись, послали дворника Василия в Лугу за пивом и водкой.

В доме еще все спали, а гости сидели на террасе и шумно угощались. Потом они спустились с холма к пруду, разделись и «без никому» влезли в воду. К нам доносился плеск воды, хохот мужчин и визг женщин. Словом, они вели себя как дикари на необитаемом острове.

В спальню вошла няня, Ольга Ивановна.

— Мария Карловна, что же это такое? Хозяйка все видит, дети боятся выйти из дома... Скандал на всю деревню!

— Мы отсюда уедем...

Через некоторое время в спальню вошел Александр Иванович.

— Маша, это же неприлично! В твоем доме гости, а ты к ним даже не выйдешь.

При виде нетвердо стоявшего на ногах Александра Ивановича у меня вступило в голову.

На моем туалетном столике стоял пустой графин с длинным горлышком и тяжелым фигурным дном. Я машинально схватила графин и ударила Александра Ивановича по голове. Он пошатнулся, несколько секунд смотрел на меня молча, повернулся и вышел. Я закрыла окна, спустила шторы и начала укладывать вещи. Няня собирала Лидочку.

Около двенадцати часов дня Куприн и вся компания уехали в Петербург. Это было 2-го июля 1904 года.

Через несколько часов, уложив вещи, мы выехали из Малых Изер, чтобы больше сюда не возвращаться.

Дома я прочла записку Александра Ивановича: «Между нами все кончено. Больше мы не увидимся. А. К.»

Восьмого июля 1904 года Куприн выехал в Москву на похороны А. П. Чехова [3], а затем отправился в Одессу.

Осень я решила, как в предыдущие годы, провести с Лидочкой в Крыму. Но куда поехать? Дачу в Мисхоре брат продал и жил в Симферополе, в Ялте же многолюдно и дорого. И тут я вспомнила о Денаксе и его рассказах о Балаклаве.

ГЛАВА XXVIII

Мой приезд в Балаклаву с братом Н. К. Давыдовым. — Неожиданное появление Куприна. — Вася Раппопорт-Регинин. — Мадригал. — Фельдшер Е. М. Аспиз. — Работа Куприна над воспоминаниями «Памяти Чехова». — Первые шесть глав «Поединка» во второй редакции.

Балаклава мне понравилась сразу. Я телеграфировала Николаю Карловичу, и он немедленно приехал ко мне из Симферополя. На берегу бухты в гостинице

«Гранд-Отель» мы заняли на месяц три смежных номера в бельэтаже, и так как сезон уже кончался, то это стоило нам всего-навсего три рубля в сутки.

У брата было знакомое семейство (в Севастополе), которое он навещал. Как-то в конце сентября я вместе с ним поехала в Севастополь.

Вечером мы пришли на Приморский бульвар, там играл прекрасный оркестр, и знакомые убедили нас остаться поужинать и послушать музыку.

Вернулись мы в Балаклаву поздно вечером. Я еще расплачивалась с извозчиком, когда брат вошел в подъезд гостиницы.

Из тени акаций неожиданно выступила какая-то фигура и подошла ко мне. Я услышала хрипловатый голос Александра Ивановича:

— Маша, не бойся. Я не буду тревожить тебя, позволь мне только взглянуть на Лидочку, и я уйду.

Он хотел продолжать, но перехватило дыхание, и он только тихо добавил:

— Да, была и у собаки хата...

Я взяла его за руку:

— Не будем говорить, Саша. Пойдем.

Мы не объяснялись и не упрекали друг друга, мы только плакали.

Утром половой Тимофей, всегда раньше очень почтительный, принес самовар и грубо заявил:

— Хозяин велел показать ему пачпорт того бродяги, которого вы привели к себе ночевать с бульвара.

— Хорошо, — сказала я, — приди после.

Брат расхохотался. Мы были в самом лучшем настроении, и утро было светлое и красивое, из окна виднелась вся бухта.

Мы спустили на одном окне жалюзи и стали смотреть сквозь щели вниз.

Это окно выходило на площадку перед подъездом, на которой обычно с раннего утра сидел хозяин господин Бисти со своим семейством и беседовал с прохожими, которые останавливались с ним поздороваться.

Сейчас народу там собралось порядочно: хозяева галантерейных и прочих лавок, что помещались на набережной, аптекарь, старик Ватикисти, староста города, кое-кто из пожилых рыбаков. Словом, слушала господина Бисти порядочная аудитория.

— ...Так ночью она привела к себе бродягу с бульвара и оставила ночевать. На вид такая порядочная женщина, приехала с братом, лакеем, нянькой, а под конец оказалась...

В это время в коридоре послышалось шлепанье босых ног Тимофея, мы отскочили от окна.

— Пачпорт подавайте, а не то хозяин полицию велел позвать.

Александр Иванович в другое время взял бы его за шиворот и выбросил вон. Сейчас все происходившее его забавляло. Он с растерянным видом начал шарить по карманам.

— Нету, куда он мог деться, вот странно. Как будто и некуда завалиться.

Наконец я потеряла терпение:

— Ну довольно, Саша, прекрати представление.

Так как слух о моем позорном поведении разнесся молниеносно, то, прильнув снова после ухода Тимофея к щели, мы увидели еще более увеличивающуюся толпу и подоспевшего помощника пристава. Это был франтоватый самодовольный молодой человек с красивой и пошлой наружностью местного льва, пользующегося успехом даже у курортниц. Он крутил ус и говорил, растягивая слова:

— Странно, э-э, очень странно. А она имела возможность лучшего выбора, даже я хотел с ней познакомиться, э-э. Но разве можно понять, чего хочет женщина и что ей нравится. — И он скосил глаза на старшую дочь господина Бисти.

Уже вид паспорта в руках у Тимофея заставил всех насторожиться. Это была не бумажка проходного свидетельства, а обычная дворянская паспортная книжка.

Господин Бисти хотел раскрыть ее, но помощник пристава протянул руку:

— Нет, па-азвольте, я должен удостовериться. — Он раскрыл книжку, прочитал про себя, потом, как-то крякнув, сказал: — Странно, очень странно.

— Что, что такое? — подскочил к нему аптекарь.

— Да вот написано, что это поручик запаса Александр Иванович Куприн, при нем жена Мария Карловна и дочь Лидия, постоянное место жительства — Санкт-Петербург.

Несколько секунд царило молчание. И вдруг толпа разразилась хохотом.

— Да это муж! Муж приехал, — раздались голоса.

Пристав незаметно ретировался.

Через два часа мы праздновали новоселье. На третьей улице, довольно высоко поднимавшейся над Балаклавой, мы наняли дачу у Ремизова. Это был одинокий, чудаковатый старик, родом москвич. Чем он занимался раньше, мы не знали. Теперь старик Ремизов содержал в большом порядке дачу и кусок земли, на которой делал опытные посадки цветов, и существовал тем, что с весны сдавал эту дачу на весь сезон. Жил он отдельно в избушке на краю участка.

Когда наши вещи переносили на дачу к Ремизову, хозяин гостиницы не показывался. Но когда мы уже стали выходить, он не удержался и высунулся из окна.

Александр Иванович обернулся и крикнул:

— Я еще покажу тебе, старый тарантул, как непочтительно отзываться о моей жене!

Голова тарантула поспешно скрылась. Так за господином Бисти и утвердилось прозвище «старого тарантула».

На даче внизу было четыре комнаты. В одной — большой — устроились Лидочка с няней и я, средняя стала нашей столовой, в двух других поместились Александр Иванович и Николай Карлович.

Куприн влюбился в Балаклаву.

— Какая драгоценная находка твой, Машенька, подарок мне — Балаклава. Здесь все новое, свое — природа, жизнь, люди.

В девять часов вечера в Севастополь уходил последний трамвай, увозивший военный оркестр, и вся жизнь на набережной замирала. В десять — нигде уже не было ни души.

Александр Иванович любил слушать тишину, и мы вечерами часто ходили на тянувшийся вдоль бухты бульвар. Мы садились под большими акациями на скамейки, стоявшие у самой воды.

Впоследствии в рассказе «Листригоны» Куприн писал о Балаклаве:

«Нигде во всей России, — а я порядочно ее изъездил по всем направлениям, — нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве... Тишина не нарушается ни одним звуком человеческого жилья. Изредка, раз в минуту, едва расслышишь, как хлюпнет маленькая волна о камень набережной. И этот одинокий мелодичный звук еще более углубляет, еще больше настораживает тишину. Слышишь, как размеренными толчками шумит кровь у тебя в ушах. Скрипнула лодка на своем канате. И опять тихо. Чувствуешь, как ночь и молчание слились в одном черном объятии».

До приезда Куприна знакомых у меня в Балаклаве почти не было, кроме библиотекарши Елены Дмитриевны Левенсон, бывшей «народоволки», фельдшера Евсея Марковича Аспиза и исключенного из восьмого класса гимназиста Васи Раппопорта.

Как все гимназисты его возраста, Вася жаждал познакомиться с настоящей молодой дамой, но это ему долго не удавалось, потому что все подходы его к няне и Лидочке: «Чей это такой прелестный ребенок?» — кончались неудачно: «Марья Карловна запрещает приставать к ребенку».

Тогда Вася изобрел другую, более верную тактику. Он решил познакомиться сначала с Николаем Карловичем.

Однажды, когда Николай Карлович сидел один на бульваре и у него упала палка, Вася подскочил, поднял ему палку и попросил разрешения сесть на ту же скамейку. Брат мой, очень добродушный и общительный человек, узнав, что Вася бывший гимназист шестой питерской гимназии, которую и он кончил, приветливо с ним разговорился.

При моем приближении Вася попросил: «Представьте меня, пожалуйста, вашей сестре».

Таким образом появился среди наших знакомых Вася Раппопорт, впоследствии журналист Регинин, которого Александр Иванович «натаскивал на репортаж» и другую газетную работу.

Регинин сразу понравился Куприну, которому необычайно комично изобразил в лицах происшествие с паспортом.

Однажды он признался Александру Ивановичу, что влюблен в Верочку, дочь старого заслуженного адмирала В., красивый каменный дом которого стоял у самой бухты.

Васин роман очень занимал Куприна, и он написал для гимназиста мадригал, который тот должен был поднести своей возлюбленной. Начинался он так:

Скажи, что значит Балаклава
С твоей в сравненье с красотой.
Твоих поклонников орава,
Над кем смеешься ты лукаво,
Всегда стремится за тобой.
Твоих очей горячий пламень
Мне спину иссушил и грудь.
Скажи мне, Вера, что-нибудь...
Я красен, точно три омара,
Дрожу, как зверь хамелеон.
О, выйди, Вера, на балкон,
Благоухни мне, как бутон.

Таких куплетов было штук двадцать. Запомнились мне только некоторые, и то отрывочно. Кончался мадригал строками:

Позволь к тебе проникнуть, Вера,
О Вера милая моя.

Когда эта фраза из мадригала, исполняемого Васей под Верочкиным балконом под аккомпанемент гитары, донеслась до адмирала, — «Что?! — загремел он. — Мерзавец! Я тебе покажу проникнуть!..» — Он выскочил с костылем.

И вот мы видим Васю с подбитым глазом, с разбитой об его голову гитарой и вдобавок прихрамывающего.

В Петербурге Вася часто бывал у нас в доме, и когда Александра Ивановича спрашивали: «Откуда у вас этот юноша?» — он отвечал: «А, это Вася, мы с Марией Карловной прижили его в Балаклаве».

Александр Иванович приехал в Балаклаву неожиданно. В последнее время в Одессе он очень тосковал по семье, но приехать к нам не решался. И вот накануне своего приезда он пришел на пристань и смотрел, как пароход готовится к отплытию в Севастополь.

Когда раздалась команда убрать сходни, он крикнул: «Подождите!» — и бросился на пароход.

Паспорт и бумажник были при нем, поэтому на билет ему хватило.

В Одессе Александр Иванович был очень стеснен в деньгах.

За мелкие рассказы, которые печатались в одесском журнале «Южные записки», гонорар он получил небольшой. Там появились три рассказа: «Белые ночи», «Пустые дачи» и «Бриллианты». По словам Александра Ивановича, это была попытка писать стихотворения в прозе.

Бунин отрицательно отнесся к этим вещам, так как вообще отрицательно относился к этой литературной форме и находил ее неудачной. «Проза должна быть прозой, а стихи — стихами», — говорил он.

Как только мы устроились, Александр Иванович побежал на почту.

— Бегу скорей послать телеграмму Богомольцу, чтобы он немедленно выслал мне чемодан и рукописи. Адрес теперь у нас есть.

Но работу над «Поединком» он отложил и сел за воспоминания о Чехове.

— В голове у меня весь план этой работы, — сказал мне Александр Иванович. — Буду писать не отрываясь, и, думаю, двух недель мне хватит.

Писать воспоминания об Антоне Павловиче Куприн начинал два раза, и оба — неудачно [1].

Первый вариант был начат вскоре после смерти Чехова.

— Опасаясь быть слишком сентиментальным, я писал сухо и холодно, выходило так, точно я писал газетное сообщение или казенный некролог, в котором только случайно не попадались шаблонные слова «незаменимая утрата». Мой знакомый сотрудник большой московской газеты рассказывал мне, что, когда в печать поступили сведения о болезни Толстого, сейчас же заскрипели перья и в письменный стол редактора была положена на всякий случай статья, начинавшаяся словами: «Он умер... и перо вываливается из рук...» Должно быть, статья эта по сию пору хранится в ящике редактора, терпеливо ожидая своего часа.

Позже я стал работать над вторым вариантом. Но писал в том приподнятом тоне, который был Чехову

в высшей степени неприятен. Он не любил пафоса и слишком подчеркнутого выражения своих чувств.

Тогда я оставил эти попытки. Но потом, когда был менее стеснен сроками и моя память снова возвращалась к Чехову, по мере того как время шло и я уже мог думать об Антоне Павловиче спокойно, я увидел, что теперь, пожалуй, мне удастся писать свободно, и воспоминания о нем будут проще и правдивее.

Писал Александр Иванович не отрываясь и написанного мне не читал. Он сказал, что прочтет все целиком, — эта вещь проникнута одним настроением, и писать ее надо не отрываясь и ни с кем не советуясь. Если же я случайно выскажу мнение, которое не будет отвечать его настроению, то собью его и все испорчу.

Все время думая о Чехове, Александр Иванович среди разговора со мной неожиданно спрашивал:

— А ты обратила внимание, Маша, на журавля Антона Павловича? (У Чехова был ручной журавль и две собаки). Когда Антон Павлович гулял по саду, он всегда сопровождал его.

— Не знаю уж, как мне быть с тобой, — в другой раз сказал он. — Ты же не согласишься ездить со мной в третьем классе. А мне Антон Павлович советовал ездить только в третьем. Несколько раз он настойчиво повторял мне: «Ездите в третьем классе, ни во втором, ни в первом ездить не следует. Там публика скучная и надутая, интересно только в третьем. Обещайте мне ездить только в третьем». В душе я смеялся над наивностью Антона Павловича — как будто я ездил в каком-нибудь классе, кроме третьего. Нет, еще зайцем в товарном вагоне.

А между тем он наверное знал, что заработок мой невелик и я часто сижу без денег.

— Поехала бы ты, Маша, со мной в Австралию? — спросил как-то за обедом Александр Иванович.

— В Австралию? Что за фантазия, Саша?

— Антон Павлович советовал мне поехать. Он любил давать полезные советы. «Писатель должен как можно больше путешествовать, — говорил он мне. — Вот вы и Бунин — оба молодые и здоровые. Почему не поедете, например в Австралию или в Сибирь. В Сибирь я непременно опять поеду. (Антон Павлович был там,

когда ездил на Сахалин.) Вы не можете себе представить, какая она чудесная, совсем особое государство. Советую также предпринять кругосветное путешествие. Это тоже полезно».

Я, конечно, молчал, думая про себя: какой же Антон Павлович странный в самом деле — фантазирует, зная, что, если мне из «Одесских новостей» не пришлют денег, у меня не будет и на обратный билет из Ялты в Одессу.

Впоследствии, когда при мне Александр Иванович и Бунин вспоминали об этих советах Антона Павловича, Иван Алексеевич говорил:

— Они принесли пользу только очень богатому Телешову...

* * *

Однажды Александр Иванович сказал мне:

— Теперь выслушай, Маша, что я выправил, добавил и послал в «Знание».

Глава первая. «Вечерние занятия в шестой роте приходили к концу, и младшие офицеры чаще и нетерпеливее посматривали на часы...»

Александр Иванович продолжал читать совсем новую для меня главу, но я старалась скрыть свое разочарование.

Наконец он остановился:

— Ну как, Маша, нравится?

— Не понимаю, Саша, что ты сделал. Было хорошее, красивое начало. А к чему это новое?

— Не нравится?

— Совсем не интересное занятие эта рубка чучел.

— Я долго думал, прежде чем решил написать эту новую главу. Я хорошо помню, как раскритиковал мой рассказ «На покое» Антон Павлович: «В первой главе вы заняты описанием наружности... Пять определенно изображенных наружностей утомляют внимание и, в конце концов, теряют свою ценность...» Но, вопреки совету Чехова, я прибегнул все-таки к действительно очень старому приему экспозиции. Между первой главой «Поединка» и первой главой рассказа «На покое» та разница, что в рассказе это было без действия, на

слишком ограниченном пространстве, тогда как в «Поединке» у меня будет около пятидесяти персонажей, начиная от солдат и кончая генералом Драгомировым. Поэтому в первой главе я даю только небольшую часть этой панорамы и останавливаюсь не столько на наружности персонажей, сколько показываю их в движении. Рубка чучел — удобный случай показать сразу многих действующих лиц и подчеркнуть их индивидуальность. Потом знакомиться с новыми лицами повести читателю будет гораздо легче, так как они будут представлены ему не автором, а уже знакомыми по первой главе персонажами. Глава скучновата, но в конце оживляется появлением полковника и арестом Ромашова.

После этой главы он перешел к уже знакомым мне следующим. Я увидела, что пятая глава о Назанском, куда раньше по странной забывчивости Куприна вкралась часть монолога Вершинина, была значительно изменена. В той главе, которую уничтожил Александр Иванович, после вопроса Ромашова: «О чем же вы думали перед моим приходом, Василий Нилыч?» — Назанский отвечал: «Пройдет двести — триста лет...» Теперь же после слов Ромашова следовало: «Но Назанский почти не слыхал его вопроса». И дальше Назанский начинал свой монолог о любви: «Какое, например, наслаждение мечтать о женщинах!» Потом шел рассказ о девушке за стойкой в буфете и телеграфистике, напевающем: «Любовь — что такое? Что такое любовь?»

В черновике, склеенном мною, сцена с девушкой за стойкой была помещена во второй главе и сделана так: «Ромашов не хотел возвращаться домой в свою унылую комнату. На ужин в Собрании не было денег. На днях буфетчик напомнил ему о задолженности и угрожал не отпускать даже обеда. «Спрошу только кружку пива, посижу в буфете на вокзале». И затем следовал эпизод «Любовь — что такое?».

Александр Иванович закончил вчерне седьмую главу — обед у Шульговича, и начал восьмую — объяснение с Раисой Петерсон.

Его беспокоила судьба первых шести глав «Поединка», о чем он написал Пятницкому и просил его сообщить мнение А. М. Горького [2].

ГЛАВА XXIX

Знакомство с Е. Ф. Джевецким. — Письмо С. М. Ростовцевой из Петербурга. — Возвращение в Петербург. — Комната Куприна на Казанской улице.

В Севастополе во время осмотра великолепного здания Севастопольской биологической станции к нам подошел директор этой станции Евгений Феликсович Джевецкий, с которым Куприн познакомился еще в Одессе.

В бассейне, где в проточной морской воде плавали акулы, морские петухи, скаты, Александр Иванович хотел схватить за хвост проплывающего мимо нас электрического ската. Удержал его от этой опасной затеи Джевецкий.

Евгений Феликсович был молод, красив и самоуверен. И хотя Куприн и Джевецкий по характеру были совершенно разными, они сразу подружились.

Несколько раз Джевецкий приезжал к нам в Балаклаву. Однажды поздним вечером мы вышли от нас проводить его до гостиницы «Гранд-Отель», где нередко останавливались в верхнем этаже молодые морские офицеры из Севастополя с дамами.

По дороге к нам присоединился Вася Регинин со своим приятелем.

— Посидим немного на поплавке, — предложил Александр Иванович, когда мы подошли к гостинице.

Мы перешли через мостик и сели на скамейку. Ночь была темная. Ни в одной комнате трехэтажной гостиницы не горел свет. И кругом было так тихо и так красиво, что мы разговаривали полушепотом.

И вдруг в верхнем этаже гостиницы распахнулось окно и в комнате зажегся яркий электрический свет. Луч упал на поверхность воды длинной яркой полосой на небольшом расстоянии от нас. Мы посмотрели наверх.

В окне появилась молодая женщина в очень легком костюме, точнее говоря, костюм ее просто отсутствовал. Она села на подоконник и, глядя на горы и бухту, мечтательно произнесла:

— Борис Сергеевич, ком-себо! (как красиво!)

Мы не выдержали и разразились хохотом.

— Борис Сергеевич, ком-себо! — крикнул Вася Регинин.

— Борис Сергеевич, ком-себо! — подхватил Александр Иванович.

Женщина, сидевшая на подоконнике, так растерялась, что не догадывалась ни уйти от окна, ни загасить свет, пока, наконец, не раздался злой мужской голос из глубины комнаты:

— Черт возьми, да закройте же жалюзи, Элен...

Мы хохотали.

— Ну теперь Борис Сергеевич эту дурочку возненавидит, — сказал Куприн.

На другой день, проходя мимо гостиницы, мы заметили, что у входа на поплавок к калитке приделан замок. Александр Иванович вынул калитку из пазов и бросил в море.

К этому времени Александр Иванович уже был знаком с несколькими рыбаками; впоследствии он рассказал о них в повести «Листригоны», которую начал писать в 1907 году и закончил в 1911 году.

Познакомился Куприн с Колей Констанди, Юрой Капитанаки, Юрой Паратино и другими, купил в Балаклаве сеть и мережки, вошел в пай с рыбачьей артелью, что давало ему право выезжать в море на катере Капитанаки, и начались увлекательные поездки на рыбную ловлю.

Возвращался Александр Иванович домой усталый, в разорванной рубахе, руки были в ссадинах, а однажды, когда ему пришлось тянуть сеть с рыбой, в тот раз перегруженной и чуть не упавшей в море, кожа на его ладонях была сорвана.

Кончался октябрь, когда я получила из Петербурга от моей подруги С. М. Ростовцевой письмо. Вот что писала Соня:

«Дорогая Мусенька! Только на днях видела Варвару и беседовала с ней о Вас... она находит, что Вам надлежит разводиться... Мне кажется, что она к Вам относится хорошо... говорит, что Федор Дмитриевич на Вашей стороне вполне и считает развод необходимым... что Михайловский Вас очень любил и желал Вам лишь добра... все ругают Александра Ивановича... один Миролюбов говорит о любви и прощении...»

То, что она сообщала, подействовало на меня как удар грома из ясного неба.

— Саша, мы с тобой беззаботно живем здесь и совсем не подозреваем, как сейчас о нас судят и рядят в литературных и светских салонах. Спорят о том, будем ли мы разводиться или возможно примирение.

— Словом, Саша, история в Малых Изерах получила скандальную огласку. Появиться нам теперь вместе в Петербурге невозможно.

Была уже глубокая осень. Из редакции я получила телеграмму, требовавшую моего возвращения. В тот же вечер, наскоро собравшись, я с Лидочкой и няней уехала. Куприн остался в Балаклаве работать над «Поединком».

Но долго жить без семьи он не мог и скоро вернулся в Петербург. Маныч снял для Александра Ивановича комнату на Казанской улице, недалеко от Невского.

Комната была большая, светлая, с двумя окнами, выходившими на открытый чистый двор, и «комфортабельной» обстановкой: кровать за высокой ширмой, платяной шкаф, диван с двумя мягкими бархатными креслами. Между окнами стоял письменный стол, а рядом в углу — белая гипсовая фигура девушки с корзиной цветов. Она служила Александру Ивановичу вешалкой для мелких вещей его туалета. Шляпу он вешал на голову, шарф надевал на шею, перчатки бросал в корзину. Его примеру следовали и посетители.

Комната нравилась и Александру Ивановичу и мне — «его двоюродной замужней сестре».

— Здесь мне будет спокойно и хорошо работать, — говорил Куприн, потирая руки.

Но этим радужным надеждам не сразу суждено было осуществиться. Вначале ежедневные встречи с завсегдатаями «Капернаума», а потом, когда стало известно, что Куприн поселился на Казанской улице и ведет холостой образ жизни, — ему не было покоя от друзей, которые очень мешали ему работать.

О нашем примирении в Балаклаве знали только немногие мои друзья. Для остальных — мы были в ссоре. Поэтому Александр Иванович приходил домой вечером.

Поднявшись по черной лестнице, он шел через кухню и коридор в мою комнату, чтобы не встретиться с моими знакомыми, которые могли в столовой пить чай или после театра ужинать.

Утром после завтрака он уходил на Казанскую.

Когда Александр Иванович закончил девятую главу — бал в офицерском собрании — и гостил дома, мы тоже устроили бал. Вася исполнял на пианино вальсы, кадрили и мазурки с необыкновенным чувством, я танцевала то с критиком П. М. Пильским, то с художником Троянским, оба — бывшие офицеры, а Александр Иванович замечательно дирижировал, каждый раз придумывая новые фигуры. Особенно хорошо изображал он поручика Бобетинского, который носился по залу, весь наклонившись вперед «в позе летящего архангела».

Приезжавший из Москвы Бунин рассказывал, что Алексей Максимович ему и многим другим писателям писал о том, что Куприн готовит для ближайшего сборника «Знание» прекрасную вещь.

Словом, из других источников Александру Ивановичу стало известно, что «Поединок» Горькому понравился, но сам Алексей Максимович ему не писал.

ГЛАВА XXX

«9 января 1905 года». — Неожиданный гость. — Рассказ М. П. Миклашевского. — Отношение Куприна к революционным событиям.

К Новому, 1905 году Куприн закончил в Петербурге десятую главу и внес незначительные изменения в рассказ «В казарме», который стал одиннадцатой главой повести «Поединок».

Ефрейтор Верещака, который «В казарме» «репетил словесность» с новобранцами, стал в «Поединке» ефрейтором Сероштаном. Изменил Куприн и некоторые другие фамилии действующих лиц.

К моему удивлению, в одиннадцатой главе остался вольноопределяющийся, которому Александр Иванович в повести присвоил фамилию Фокин. Вольноопределяющийся Фокин, кроме этой главы, нигде в «Поединке» не

А. И. Куприн. 1905 год.

встречается: если бы он остался, он дублировал бы Зыбина, то есть Ромашова.

— Зачем ты его оставил? — спросила я Александра Ивановича.

— Очень торопился и забыл о нем,— ответил Куприн.

* * *

В субботу, 8-го января 1905 года, Александр Иванович всю ночь где-то кутил (жил он тогда и дома и на Казанской), пришел домой на рассвете и лег спать. Около 3-х часов дня он встал с тяжелой головой и решил «пробежаться».

После его ухода ко мне зашел М. П. Миклашевский.

— Я к вам прямо с вокзала. Встречал одного моего знакомого, приехавшего в Питер из провинции. Он не может попасть на Васильевский остров к своим друзьям, у которых должен остановиться. Невский и все мосты оцеплены полицией и войсками. Я привел его сюда. Разрешите ему побыть немного на вашей половине. Оставаться в редакции ему неудобно.

В столовую вошел человек в шапке и темном пальто. Не раздеваясь и не здороваясь, он сел в конце стола.

— Постарайтесь, чтобы его никто не видел, — сказал мне Миклашевский, — я скоро вернусь.

Некоторое время мы молча сидели друг против друга. Когда мой неожиданный гость снял надвинутую на глаза шапку, я увидела его очень бледное, с серым оттенком лицо, со свисавшими на лоб до самых бровей прямыми, темными, слипшимися от пота волосами и глубоко сидевшими черными глазами. Рассматривать его очень внимательно было неудобно, так как, встречаясь с моим взглядом, он быстро отводил глаза в сторону. При каждом звуке, доносившемся из соседней комнаты, в которой болтала с няней моя двухлетняя дочь, он нервно вздрагивал. Видя его тревожное состояние, я заперла дверь в детскую на ключ. Не зная, что делать дальше с этим странным посетителем, я спросила, не проголодался ли он в дороге, и предложила приготовить ему поесть. От еды он отказался, но попросил стакан крепкого чаю.

Он молча пил чай и тревожно взглядывал на часы, стоявшие на камине, и на дверь.

Не прошло и часа — в дверях снова появился Миклашевский. Гость встал и, не прощаясь, направился к Михаилу Петровичу.

Они ушли.

Вскоре после их ухода в мою комнату стремительно вошел Александр Иванович.

— Ты не можешь себе представить, Маша, что делается сейчас на улицах. На Дворцовой площади расстреляли мирную демонстрацию рабочих! Я зашел в «Капернаум», а там творится что-то невероятное. Подумай только, какая выдумка — идти с иконами к царю! А этот дурак ничего не понял и приказал стрелять в безоружных людей... Рассказывают о каком-то священнике Гапоне, который шел во главе демонстрации... А кто у тебя был? — спросил Александр Иванович, увидев на столе пустые стаканы.

— Не знаю. Миклашевский кого-то приводил.

— С коньяком я тоже выпил бы чаю.

Когда мы узнали, что Гапон несколько дней жил у Ф. Д. Батюшкова [1], я сказала ему обидчиво в ближайший вторник на редакционном совещании:

— Говорят, у вас жил Гапон и вашу квартиру непрерывно посещали разные лица, но ни мне, ни Александру Ивановичу вы не сказали ни слова.

Батюшков улыбнулся:

— А Гапон говорил мне, что вы угощали его чаем и он выпил у вас несчетное количество стаканов чаю.

В период, предшествовавший революции 1905 года, еще до того момента, когда во всех городах народные массы с оружием в руках поднялись на борьбу с царизмом, русская интеллигенция: учащаяся молодежь, профессора, врачи, инженеры, адвокаты, учителя, писатели — открыто выражали сочувствие рабочему революционному движению. Вокруг целого ряда общественных организаций, левых издательств, редакций толстых журналов группировались отдельные кружки сочувствовавшей, а также и принимавшей активное участие в революционном движении интеллигенции.

Наиболее левые литературные силы объединялись вокруг издательства «Знание», которым руководил тогда Максим Горький, тесно связанный с рабочим движением. Его громадный моральный, политический и литературный авторитет, естественно, ставил его во главе революционной интеллигенции, и ни одно общественное выступление не обходилось без его участия, его санкции.

Из левых толстых журналов наиболее распространенными и влиятельными в то время было «Русское богатство» и «Мир божий».

Редакция «Русского богатства» во главе с В. Г. Короленко стягивала около себя остатки старых народнических сил. Около «Мира божьего» группировались социал-демократы. Многие из них работали в кружках на заводах и фабриках и были непосредственно связаны с руководителями рабочих организаций.

Еженедельные вечерние собрания сотрудников в «Мире божьем» были очень многолюдны, и случалось, что ни редактор журнала А. И. Богданович, ни члены редакции — В. Я. Богучарский, В. П. Кранихфельд, М. П. Неведомский, В. К. Агафонов, И. Э. Любарский не знали всех присутствовавших, а может быть, и просто не всегда желали называть некоторые имена. «Наверное, привел с собой кто-нибудь из сотрудников», — говорилось в таких случаях.

Иногда мне передавали на хранение пакет или говорили, что если придет неизвестное мне лицо с запиской от такого-то сотрудника, то направить его по такому-то адресу. Поэтому меня нисколько не удивила просьба Миклашевского оказать 9-го января кратковременное гостеприимство неизвестному мне человеку, который оказался Гапоном.

Много лет спустя Миклашевский, Вересаев, В. Беклемишева и я вспоминали об этих днях на квартире Михаила Петровича в Москве.

— Около полудня огромные массы народа двинулись по направлению к Зимнему дворцу с таким расчетом, чтобы к двум часам дня быть на Дворцовой площади. Рабочие действительно искренне верили в успех этого шествия. Гапон в рясе, с крестом в руках, с хоругвями, стал во главе огромной массы народа со стороны Нарвской заставы. Здесь особенно жестоко расправились с

рабочими. Но Гапон уцелел и после бойни на Дворцовой площади. Его завели в глухой двор, остригли, сняли с него священническое облачение, надели пальто и шапку одного рабочего, и стали все пробираться в город. По дороге Гапона несколько раз переодевали. В редакцию «Мира божьего» привели его из чисто конспиративных соображений. В первом этаже помещалась аптека, поэтому швейцара в подъезде не было. Второй этаж занимала редакция, где всегда было людно.

В «Мире божьем» Миклашевский еще раз переодел Гапона и отправился с ним к А. М. Горькому. Вечером Горький и Гапон выступали на митинге в помещении Вольно-экономического общества. Гапон выступал не под своим именем, а под именем какого-то неизвестного соратника Гапона. Горький говорил с хоров [2].

После собрания, ночью, Гапона привели на квартиру профессора Ф. Д. Батюшкова [3]. Батюшковы жили на Надеждинской улице. Отец Федора Дмитриевича был почетным опекуном, брат Василий — камергером, а мать — в прошлом статс-дамой. Их квартира была вне подозрений.

Гапон жил у Батюшковых три дня.

— Болтливый и хвастливый человек, — говорил Федор Дмитриевич. — Представьте себе, он все время порывался открыть моему отцу, что он — Гапон, и мне стоило больших усилий удержать его от этого. Подумайте только, что сделалось бы с отцом, если бы он узнал, кто у нас живет.

Несмотря на твердую инструкцию — никуда из квартиры Ф. Д. Батюшкова не отлучаться и ни с кем с воли не общаться, Гапон в первый же день утром исчез и вернулся в сопровождении нескольких неизвестных личностей, которые через три дня переправили Гапона в какое-то имение вдали от Петербурга, а затем и за границу.

* * *

Расстрел рабочих 9-го января 1905 года был для Куприна такой же неожиданностью, как и для большинства либерально настроенной интеллигенции. Куприн ни к какой революционной организации не примыкал [4] и о том, что готовится рабочая демонстрация, слышал толь-

ко мельком. Он сочувственно относился к революционным событиям, к жертвам реакции, был против всякого насилия, но считал, что революционная деятельность мешает писателю в работе, и непосредственного участия в революционных событиях не принимал, а когда Горький хотел втянуть его в революцию, Куприн отошел от него.

ГЛАВА XXXI

Отъезд Куприна в Сергиев Посад. — Обыск. — Возвращение Куприна в Петербург. — Арест Л. Н. Андреева.

Во второй половине января 1905 года Куприн уехал писать «Поединок» в Сергиев Посад Московской губернии.

В ту ночь, когда он ждал от меня телеграмму, к нему неожиданно нагрянули с обыском. Эпизод этот вошел впоследствии в рассказ «Мой паспорт» [1].

«За два дня до воскресения Христова, в четыре часа утра, ко мне постучались. Я побежал босиком, почти голый, по длинному, холодному коридору (ибо я ждал тогда нетерпеливо известий от бесконечно дорогого мне человека) и, доверчиво отворяя дверь, спросил в восторге:

— Да? Телеграмма?

— Да, — ответили они, — телеграмма, — и вошли.

1) Жандармский унтер-офицер Богуцкий Фома, 2) два городовых, дворники и пр. и 3) спустя десять минут местный полицеймейстер, местный жандармский ротмистр Воронов (холеное лицо, беспристрастность, небрежность и — «он все знает наперед»), чахоточный околоточный, хозяин моего дома со смешной фамилией Дмитрий Донской, понятые.

— Ты его обыскал?

— Так точно, ваше-ссс...

— Вы можете одеться.

Но я ответил, что привык всегда ходить дома только в одной ночной рубашке.

Потом он сел за мой письменный стол и начал рыться в дорогих мне письмах, карточках, записных книжках. Я сел рядом с ним на стол. Это была также моя привычка. Тогда он любезно позволил мне «взять стул».

Но я намекнул ему, что я, как хозяин дома, мог бы первым предложить ему то же самое. Словом, у нас сделались сразу довольно тяжелые отношения. Он был человек твердый и многосторонне образованный, он увидел в одной из моих записных книжек следующие знаки:

/—/—/··/··/
—/—/—/··/
/—/—/··/—/
/··/··/—/—/

Он спросил:

— Да-с, а это что?

Я ответил, болтая ногами:

— Это, господин полковник, произошло вот как. Один начинающий, но, увы, окончательно бездарный поэт принес мне стихи. И я доказывал ему на бумаге карандашом то, что он начинает хореем, переходит в ямб и вдруг впадает в трехсложное стихосложение.

— Я-ямб? — воскликнул он. — Ямб-с? Это мы знаем, какой ямб! Богуцкий, приобщи».

Насмерть перепуганный обыском хозяин потребовал, чтобы Александр Иванович немедленно освободил квартиру, и Куприн переехал в гостиницу.

И обыск и переезд выбили Куприна из рабочей колеи.

Почему пришли с обыском к Куприну — сказать трудно. Известно, что 9 февраля 1905 года в Москве на квартире писателя Л. Н. Андреева происходило заседание большевиков — членов ЦК РСДРП, во время которого девять членов ЦК были арестованы. На следующий день арестовали и Л. Н. Андреева. В Таганской тюрьме он сделал запись: «...Около восьми вечера, 10 февраля, в годовщину свадьбы, которую мы с Шурой намеревались отпраздновать в Звенигородском монастыре, за мной приехал пристав» [2].

В конце февраля 1905 года, после пятнадцатидневного пребывания в тюрьме, Л. Н. Андреева выпустили [3].

ГЛАВА XXXII

Цепочка. — Встреча Куприна с Горьким. — Последняя глава «Поединка». — Дуэльный кодекс генерала Дурасова.

Приблизительно с середины «Поединка», главы с четырнадцатой, работа у Александра Ивановича пошла очень медленно. Он делал большие перерывы, которые беспокоили меня.

— Опять не удалось сесть за работу, — жаловался Куприн.

— Ты пропустил много времени, и тебе все труднее и труднее приняться за работу. Мириться с этим я больше не могу. И вот мое твердое решение: пока не будет готова следующая глава, домой не приходи.

И повелось так, что домой, «в гости», Александр Иванович приходил отдыхать, когда у него была написана новая глава или хотя бы часть ее.

— Пишу очень медленно, Маша. Как я закончу повесть — еще не знаю, и это мучает меня. Могу приносить тебе не более двух-трех страниц новой главы.

Но написать даже две-три страницы ему не всегда удавалось. И вот однажды он принес мне часть старой главы. Утром я сказала Александру Ивановичу, что так обманывать меня ему больше не удастся.

После его ухода я распорядилась на внутренней двери кухни укрепить цепочку.

Теперь, прежде чем попасть в квартиру, он должен был рукопись просовывать в щель двери и ждать, пока я просмотрю ее. Если это был новый отрывок из «Поединка», я открывала дверь.

Прошло некоторое время, и опять случилось так, что нового у Александра Ивановича ничего не было, а побывать в семье ему очень хотелось, и он опять принес мне несколько старых страниц, надеясь, что я их забыла.

Я читала и удивлялась: «Ведь это еще балаклавский кусок «Поединка»?»

Александр Иванович ждал на лестнице.

— Ты ошибся, Саша, и принес мне старье, — сказала я, просунув ему рукопись. — Спокойной ночи! Новый кусок принесешь завтра.

Дверь закрылась.

— Машенька, пусти, я очень устал и хочу спать. Пусти меня, Маша...

Я не отвечала.

— Какая ты жестокая и безжалостная... — говорил Александр Иванович на лестнице.

Я поставила на плиту табурет, взобралась на него и через круглое окно с железной решеткой смотрела вниз.

Александр Иванович сидел на ступеньке, обхватив голову руками. Его плечи вздрагивали. Я тоже плакала: мне было бесконечно жаль его. Впустить? Тогда он решит, что меня можно разжалобить, перестанет работать, запьет... Нет, дверь не открою.

Александр Иванович поднялся и медленно пошел вниз [1].

* * *

Когда в «Знание» были отправлены пятнадцатая глава (смотр и провал Ромашова) и шестнадцатая (мысли Ромашова о самоубийстве и встреча его на железнодорожном полотне с Хлебниковым), Пятницкой известил Куприна, что Горький желает с ним повидаться.

Алексей Максимович просил Куприна прочитать вслух главы, начиная от пятнадцатой. Сначала Александра Ивановича беспокоило, что Алексей Максимович ходил взад и вперед по комнате, иногда останавливаясь спиной к окну.

— Когда я читал разговор подпоручика Ромашова с жалким солдатом Хлебниковым, было странно видеть Алексея Максимовича с влажными глазами, — вспоминал впоследствии Александр Иванович.

Я не помню, чтобы Александр Иванович рассказывал мне еще о каких-нибудь последующих чтениях.

— Какие же замечания сделал тебе Горький? — спросила я.

— Еще раньше Горький читал двенадцатую главу, где Ромашов приходит к подполковнику Рафальскому по прозвищу Брем. Его спальня описана так:

«Они вошли в маленькую голую комнату, где буквально ничего не было, кроме низкой походной кровати, выгнувшейся, точно дно лодки...» Неожиданно Горький сказал:

— У вас в пятой главе о Назанском сказано: «Вдоль стены у окна стояла узенькая, низкая, вся вогнувшаяся

дугой кровать...» Но так как у Назанского кровать была железная, она могла вогнуться, а у Рафальского — походная, с натянутым полотном. Здесь следовало сказать: полотно провисало, потому что полотно провисает, а не выгибается.

Знаешь, Маша, меня как варом обдало. Я чувствовал, что весь покраснел и вспотел от конфуза. Как глупо, конечно же, провисло!

Это было единственное указание, которое Горький сделал Куприну.

— Ты очень устал, Саша? — спрашивала я.

— Нет, Машенька. Признаюсь тебе честно, сейчас мной овладела тревога гораздо более сильная, чем тогда, когда я не находил фамилии для героя повести. «Поединок» теперь во всех подробностях, в стройной системе уложился в моей голове, но я чувствую, что закончить его буду не в силах.

И Пятницкой и Горький уверены, что конец «Поединка» будет такой благополучный, какой я и задумал вначале, — Ромашов выздоравливает от тяжелой раны, порывает с военщиной и начинает новую жизнь. Но теперь я вижу, чувствую, что такой конец невозможен. Я не видел того, о чем взялся писать, я не видел дуэли.

Мне известно, что подробно описаны дуэли Пушкина и Лермонтова, всю эту литературу я знаю, так же как и все картины, написанные на эту тему, прекрасное репинское полотно и другие. Позы, выражение лиц — все это врезалось мне в память, но это же мертвый материал, а не мои личные впечатления и переживания. Изложение же этих книжных пособий будет шаблонным и безжизненным. У меня даже не возникает ни одной свежей мысли. Не знаю, что я буду делать. Единственный выход — закончить повесть смертью Ромашова, по всей вероятности — его самоубийством.

Приближалась пасха, а Куприн все еще не мог решить, как он закончит повесть. Между тем Пятницкий поставил ему жесткий срок: во что бы то ни стало закончить роман к пасхе. Это требование диктовалось цензурными условиями того времени. Каждая книжка должна была находиться в цензуре от недели до десяти

дней. После этого срока, если цензура не выкидывала из книги отдельных фраз, не вырезывала страниц или не запрещала ее целиком, канцелярия Главного управления по делам печати выдавала типографии разрешение на выпуск книги.

Пятницкий был уверен, что цензура не пропустит «Поединок», поэтому он хотел представить книжку в субботу на страстной неделе, чтобы, пролежав там пасхальные каникулы, она проскочила комитет, не попадая на глаза цензорам.

В четверг на страстной вся книга без последней главы была отпечатана.

Александр Иванович пришел вечером домой утомленный и расстроенный.

— Прочту тебе, Маша, половину последней главы, увидишь, что продолжать ее не стоит.

Он был прав, глава не удалась. Я молчала.

И, смяв в крепкий комок два исписанных с обеих сторон листа бумаги, он швырнул его под стол.

— Пойду поброжу еще по улицам.

Выходная дверь за ним захлопнулась.

— Все-таки пришлось убить Ромашова, — на другой день сообщил мне Куприн и протянул свежеотпечатанный корректурный лист с протоколом о дуэли. — Я был в типографии и просил несколько листов оттиснуть в черной раме мне на память.

О том, как провел он ту ночь, когда, смяв написанные страницы, ушел из дому, он мне не говорил. Об этом я узнала от нашего общего знакомого Бориса Александровича Витмера, которого Куприн встретил в «Капернауме» в первом часу ночи и расстался с ним только утром.

Талантливый журналист Витмер — сотрудник «Мира божьего», а впоследствии член редакции «Современного мира», был близок к группе «легальных марксистов»: Туган-Барановскому, Струве, Потресову. Он был женат на Ольге Константиновне Григорьевой. О. К. Григорьева, Л. К. Давыдова и Н. К. Крупская учились в одном классе гимназии кн. Оболенской, вместе готовились к экзаменам и вместе закончили гимназию. Связь между ними не порвалась и после окончания гимназии, но теперь встречи с Надеждой Константиновной случались реже и с большими промежутками. Надежда

Константиновна была крестной матерью младшей дочери Витмеров — Нины.

Когда Ульяновы жили за границей, Надежда Константиновна в конспиративной переписке с закавказскими большевиками называла Бакинскую типографию «Ниной» — своей крестницей. Часто узнавать о здоровье «Нины» ей было очень удобно — это не вызывало никаких подозрений[2].

Куприн был с Витмером в приятельских отношениях и часто приглашал его к нам в дом.

— Я видел, что Александру Ивановичу очень тяжело, — рассказывал мне Витмер, — и не хотел оставлять его одного.

С двух часов ночи ресторан закрывался до семи утра.

— Посидим в сквере Владимирского собора и подумаем, что предпринять, — предложил Куприн. — Бродить по улицам я больше не в состоянии, а идти домой и мучить жену своим настроением и видом не хочу.

Был конец апреля, рано светало — наступали белые ночи, — и сидеть в сквере было приятно. В соборе всю ночь шла служба, и подъезжало много экипажей и карет, из которых выходили нарядные женщины. В четыре часа к ранней обедне ударил колокол. Собор был построен на средства купцов-гостинодворцев, поэтому среди богатых прихожан лишь изредка попадались скромно одетые молящиеся женщины.

Александр Иванович молча курил.

— Все равно, другого выхода нет, — наконец произнес он, вставая и отбросив недокуренную папиросу. — Довольно! Точка. С Ромашовым покончено... А теперь, Борис Александрович, пойдем в церковь поздравлять купеческих невест-причастниц с принятием святых тайн; я что-то все-таки продрог, попьем и мы немного теплоты * согреемся.

Мы вошли в церковь, и Александр Иванович незаметно втерся в очередь причастников. Я видел, как он оживленно нашептывал что-то стоявшей перед ним девушке, та фыркала и закрывала рот платочком.

Тут обнаружилось, что с собой у нас очень мало денег.

---

* Кагор, смешанный с водой. *(Прим. автора.)*

Подойдя к столику, где дьячок оделял причастников церковным вином, и выпив теплоты, Александр Иванович сказал:

— Маловато, отче, наливаешь. А ну-ка, налей еще.

Дьячок что-то проворчал, но так как Куприн не отходил, он налил ему вторично и при этом многозначительно постучал по подносу деньгами.

Александр Иванович выложил весь свой наличный капитал — двадцать копеек.

— У, шаромыжник, — злобно прошипел дьячок, — и пускают же таких в церковь для чистой публики.

Около шести часов дверь «Капернаума» открылась, начиналась уборка ресторана.

Куприн велел позвать официанта Прохора, который всегда ему прислуживал и держал в курсе всех капернаумских новостей. Прохора он послал к себе на Казанскую, где ночевал Маныч, за дуэльным кодексом генерала Дурасова.

При мне Александр Иванович переписал выбранную им форму рапорта о дуэли, вставив фамилии Ромашова и свидетелей.

В типографию он поехал сам, чтобы текст был набран при нем без опечаток.

Пятницкий рассчитал безошибочно. После окончания праздников в цензурном комитете царило полное спокойствие. О выходе в свет шестого сборника «Знание» с военной повестью Куприна еще не было известно[3].

— Я думаю, Маша, — сказал мне Александр Иванович, когда домой ему прислали десять книжек сборника, — теперь будем ждать выхода июньских, а пожалуй, даже июльских номеров журнала с отзывом о моей повести. Может быть, кое-где в газетах и появятся небольшие заметки, но обыкновенно, прежде чем выступить со статьями, они осторожно выжидают мнения маститых журнальных критиков.

— Да, Саша, раньше месяца, конечно, нечего и ждать каких-нибудь отзывов. Федор Дмитриевич Батюшков просил у меня книгу для Богдановича. Ангел Иванович собирается писать статью о «Поединке», но я сказала ему, что первая статья ни в коем случае не должна появиться в журнале, где издательница — жена автора, нам и без того приходится выслушивать достаточно колких намеков и разговоров.

И вдруг через пять дней из ясного неба грянул гром: в «Одесских новостях» появилась статья К. Чуковского о «Поединке»[4], а вслед за ней начался шум в поволжских и других провинциальных газетах. Успех повести был небывалый[5]. Это был не только успех — слава.

ГЛАВА XXXIII

Стихотворение И. А. Бунина «Сапсан». — Отношения между Куприным и Буниным. — Письмо В. Н. Буниной из Парижа. — Гонорар за «Поединок».

В марте 1905 года Бунин прислал на имя Куприна стихотворение «Сапсан». Александр Иванович к этому времени членом редакции журнала «Мир божий» не был и передал это стихотворение А. И. Богдановичу с просьбой напечатать его в «Мире божьем».

В нашем журнале отдела поэзии не было, и стихи мы принимали в основном для подверстки, чтобы каждый рассказ можно было печатать с новой страницы.

Сдавая материал в набор, Ангел Иванович так и говорил: «Стихи на затычку мы подберем потом, из запаса».

Такое отношение к поэзии возмущало Куприна, но бороться с Богдановичем он был бессилен.

«Сапсан» Ангелу Ивановичу не понравился. Он нехотя согласился напечатать его[1].

— Мистическое начало, — говорил Богданович, — слишком длинно. Наш читатель не ищет в журнале стихов.

— Сколько заплатите Бунину за строку? — спросил Куприн.

— В стихотворении сто двенадцать строк... По пятьдесят копеек за строку, — ответил Богданович, — наш обычный гонорар.

— По пятьдесят копеек?

— Другие получают и по тридцать пять.

— В «Знании» Бунину дают пять рублей за строку. В таком случае я уплачу ему из своего гонорара.

В разговор вмешался Ф. Д. Батюшков.

— У «Знания» другие средства. Тираж «Знания» пятьдесят тысяч, а у нас только тринадцать. Разрешите

мне, редактору, написать Бунину, что мы предлагаем ему три рубля за строку.

— Мы этого не можем, — настаивал на своем Богданович.

Через несколько дней Батюшков получил от Бунина письмо, в котором Иван Алексеевич соглашался на предложенный журналом гонорар — три рубля за строку.

* * *

Отношения между Куприным и Буниным были очень своеобразны. Успех одного восхищал другого, но в то же самое время возбуждал чувство соперничества.

Куприн завидовал блестящей находчивости, остроумию Бунина. Бунин говорил, что Александр Иванович обладает способностью необычайно яркого и выпуклого рассказа.

Дело в том, что Бунин и Куприн — писатели разного характера, разного темперамента.

Куприн долго вынашивал тему, а затем писал быстро, почти без помарок. Варианты и черновики уничтожал.

Бунин писал гораздо медленнее, много раз правил свою рукопись, появлялись варианты.

— У тебя ограниченный словарь, — говорил Бунин Куприну, — ты не работаешь над стилем...

— А ты высиживаешь каждое слово. У тебя в каждой строке виден пот, и поэтому пишешь тягуче и скучно. Меня тошнит от твоих подробностей...

— А меня, — отвечал Бунин, — когда ты в своих рассказах отходишь от художественного изображения и вставляешь целые куски из истории.

— Не сердись, Иван Алексеевич, если я скажу, что ты гораздо больше поэт, чем прозаик, и если бы ты занимался только поэзией, то стал бы большим, очень большим поэтом, а ты разбрасываешься.

Такими откровениями обменивались иногда Бунин и Куприн, и тем не менее они были искренне привязаны друг к другу.

В. Н. Бунина писала мне из Парижа 4 октября 1960 г.: «...отношения Куприна к Бунину были очень не простые, тут понадобился сам Достоевский, чтобы все понять. Диапазон был большой: от большой нежности

к раздраженной ненависти, хотя в Париже все было смягчено».

В других письмах Вера Николаевна писала:

«Ведь это он, так сказать, повенчал нас в церковном браке, он все и устроил, за что я ему бесконечно до смерти буду благодарна, так как успокоило мою маму, мое письмо о венчании было к ней последним... Он был моим шафером. Службу он знал хорошо, так как вместе с другим шафером они заменяли певчих. Он говорил, что очень любит устраивать и крестины и свадьбы»[2] (3 февраля 1961 года).

«Иван Алексеевич всегда говорил, что он радовался успехам Александра Ивановича, он высоко ценил его художественный талант, но считал, что он мало читает и живет не так, как ему надлежало бы.

Мне всегда казалось, что у Куприна была какая-то неприязнь к Бунину, но не на литературной почве[3]. Она проявлялась, когда он был нетрезв. В нормальном состоянии они были очень нежны друг к другу и, пожалуй, ближе, чем с другими писателями» (9 февраля 1961 года).

«Неприязнь» эта понятна мне.

Бунин любил похвастаться иногда своим дворянским происхождением.

Однажды у нас за столом, когда разговор шел о родовитости, Александр Иванович сказал, что и у него мать княжна Кулунчакова. На это Бунин ответил остротой:

— Да, но ты, Александр Иванович, дворянин по матушке.

Куприн, побледнев, взял со стола чайную серебряную ложку и молча сжимал ее в руках до тех пор, пока она не превратилась в бесформенный комок, который он бросил в противоположный угол комнаты.

Забыть это Бунину Александр Иванович не мог. Поэтому известная пародия на Бунина «Пироги с груздями» начиналась так:

«Сижу я у окна, задумчиво жую мочалку, и в дворянских глазах моих светится красивая печаль. Ночь. Ноги мои окутаны дорогим английским пледом. Папироска кротко дымится на подоконнике. Кто знает, может быть, тысячу лет тому назад также сидел и грезил и жевал мочалку другой, неведомый мне поэт?»[4]

* * *

В печати неоднократно сообщалось, что новая повесть Куприна «Поединок» появится в «Мире божьем».

«...искренне хотел отдать повесть в «Мир божий», — писал Александр Иванович Ф. Д. Батюшкову 25 августа 1904 года из Одессы, — отдать не для себя и не для журнала, а исключительно для удовольствия Марии Карловны и для поддержания ее добрых отношений с журналом... о перемене моего решения... я только потому не уведомил вас, что был вполне уверен, что это сделала Мария Карловна. Действительно, я отдаю повесть в другое место. Делаю это по многим причинам...» [5]

Одной из этих причин был мой разговор с А. И. Богдановичем.

Когда Куприн вел переговоры в «Знании» и уже договорился об условиях издания «Поединка», меня не покидала мысль: «Может быть, и я найду возможность протащить повесть через цензуру и напечатаю ее в «Мире божьем?»

Как-то в разговоре с Богдановичем я сказала:

— Александр Иванович может изменить свое решение и отдать «Поединок» в «Мир божий», но на гонорар меньше чем триста рублей за лист он не согласится. В «Знании» ему дают тысячу рублей с листа.

— Вы можете платить вашему мужу столько, сколько вы захотите, — сказал мне Богданович.

— Ах, если так, то, конечно, он выйдет в «Знании».

«Поединок» был напечатан в VI сборнике «Знание» и вышел в свет весной 1905 года.

Через несколько дней Ангел Иванович и я сидели в редакционной комнате и вели деловой разговор. Дверь в приемную была открыта, портьеры раздвинуты, и с моего кресла через приемную видна была передняя.

Хлопнула входная дверь. В переднюю вошел Александр Иванович. Снял летнее пальто, шляпу положил на полку, одернул пиджак. С пакетом, завернутым в газетную бумагу, он вошел в приемную. Дойдя до середины комнаты, Александр Иванович неожиданно опустился на четвереньки и, взяв в зубы веревочку, связывавшую пакет, двинулся в редакционную комнату.

— Боже мой, в таком виде, что же это такое? Только начало третьего, а он из «Капернаума» идет в редакцию?

Ангел Иванович сидел напротив меня, спиной к двери, и ничего этого пока не видел.

Между тем Александр Иванович, с поднятой головой и болтающимся в зубах свертком, вползал в нашу комнату.

Услышав сзади странный шум, Богданович обернулся и сразу отодвинул свое кресло от стола к стене.

Александр Иванович продолжал ползти. Обогнув письменный стол, он приблизился ко мне и встал на корточки.

— Гав, гав, гав, твой верный песик принес тебе свой гонорар *.

Он развязал пакет и высыпал мне на колени пачками сложенные деньги.

— А теперь, Маша, — сказал Александр Иванович, поднявшись, дай мне трешницу — я пойду в «Капернаум».

Получив три рубля и поцеловав мне руку, он вышел.

Эта сцена была разыграна для Богдановича. Некоторое время мы сидели молча.

— Что ж, Ангел Иванович, нужны нам деньги? — спросила я наконец.

— Нет, — ответил он резко, — обойдемся векселями и взносами полугодовых подписчиков.

ГЛАВА XXXIV

Лето 1905 года. — У Репина в Пенатах. — Чтение «Детей солнца». — Разговор с Горьким о «Нищих». — Разочарование Горького в Куприне после «Поединка».— Рецензии Куприна на книги Н. Н. Брешко-Брешковского.

После утомительного и напряженного последнего месяца работы Александра Ивановича над «Поединком» я решила как можно скорее увезти его на дачу, ему нужно было отдохнуть.

Мы наняли дачу в нескольких верстах от станции Сиверская на берегу реки Оредеж.

---

* Когда Куприн приносил гонорар за небольшой рассказ, он говорил: «Это — собаке на орехи». *(Прим. автора.)*

Жизнь в этой населенной местности нельзя было назвать приятной. Мы привыкли летом жить спокойно, своей семьей, с гостившими у нас Любовью Алексеевной и дядей Кокой.

Но близость Петербурга и шумная популярность Александра Ивановича расстроили наш обычный летний патриархальный быт.

В ближайшее воскресенье мы с утра отправились в дальнюю прогулку на озеро Орликово в двенадцати верстах от Сиверской. В середине дня вернулись домой и застали у себя большое общество приехавших из города знакомых и до крайности взволнованную и растерянную мамашу, которая не знала, чем и как кормить гостей — завтраком, или обедом, или просто дождаться нас.

Вскоре мы убедились, что подобные нашествия могут повторяться не только по воскресным дням, но и в течение недели.

— Меня не только не тянет работать, — говорил Александр Иванович, — но хочется и самому бежать из дому.

В июне 1905 года Александр Иванович получил письмо от Горького, в котором Алексей Максимович приглашал его и меня в ближайшее воскресенье приехать в Куоккала на чтение «Детей солнца».

На мызу «Лентула» мы приехали рано. Алексей Максимович очень приветливо встретил нас. Он должен был читать свою пьесу в четыре часа у Репина в «Пенатах», и Илья Ефимович пригласил всех собравшихся на чтение к себе обедать.

— Прежде чем отправиться в «Пенаты», мы как следует пообедаем здесь, у нас, — сказал Горький. — На всякий случай надо поесть мясца. Все-таки мы еще не лошади и питаться сеном успеем в старости *.

Мы спустились в сад и подошли к детям, игравшим в крокет. Здесь же, в конце крокетной площадки, Александр Иванович кому-то из молодежи стал показывать приемы французской борьбы. Ко всеобщему веселью, он в заключение взял «на передний пояс» своего довольно рослого партнера и понес кругом площадки.

— Вот здорово! — одобрительно крикнул Алексей Максимович, наблюдавший за борьбой.

---

* Горький имел в виду вегетарианский стол в доме Репина. *(Прим. автора.)*

— Если меня обругает Скабичевский и толстые журналы перестанут печатать, — сказал Александр Иванович, подходя к Горькому, — я стану борцом.

— А вы работайте, не давайте себе передышки — пишите. Что вы сейчас делаете? Что пишете?

— Вы ведь знаете, Алексей Максимович, — начал оправдываться Куприн, — что, кончив «Поединок» смертью Ромашова, я отрезал себе возможность в «Нищих» снова вывести его.

— Бросьте, не нужен вам больше Ромашов, — ответил Горький. — Советую приняться за «Нищих» сейчас же, не откладывая.

От ворот к даче быстро приближались две фигуры велосипедистов.

— Это Леонид с «дамой Шурой», — сказал Алексей Максимович, и мы направились им навстречу.

Алексей Максимович снял Александру Михайловну с седла и шутливо слегка приподнял ее.

— Вот и «дама», вот и «Шура», — повторил он, ставя ее на землю. Видно было, что Горький очень сердечно относится к ней.

Андреев в белой вышитой украинской рубашке был очень живописен.

— Правда, Леониду очень идет эта рубашка? —спросила меня Александра Михайловна, когда мы входили в дом. Я, конечно, согласилась с ней. — Пожалуйста, скажите это Леониду, — попросила она. — Я вышила ему две рубашки, а он не хочет носить, говорит, что пестрота не в его стиле.

В большой комнате, выходившей на террасу, на круглом столе лежали газеты и журналы. Кто-то, из не особенно тактичных людей, спросил Леонида Николаевича, видел ли он сегодняшний номер юмористического журнала (не помню какого), и протянул его Андрееву. Алексей Максимович недовольно поморщился, но было уже поздно. Леонид Николаевич взял журнал. Там была карикатура, изображавшая стоящий на высоком постаменте бюст Горького в лавровом венке и маленькая фигурка Андреева, взобравшегося по лестнице к его голове, который пытается не то повалить бюст, не то сорвать

венок с головы Горького. Подпись под карикатурой соответствовала рисунку и была очень нелестной для Андреева. Леонида Николаевича передернуло.

— А... Это я уже видел, — сказал он с деланной небрежностью и положил журнал на стол. Но ясно было по тому, как сразу изменилось его лицо, что карикатуры этой он не видел.

Все сразу заговорили о том, что выходка эта очень пошлая и глупая, но эти уверения только еще сильнее задевали самолюбие Андреева.

Раздался звонок к обеду.

С Марией Федоровной я раньше не встречалась, и ее красота меня поразила. В моей жизни я знала только четырех очень красивых женщин: В. И. Икскуль, А. М. Коллонтай, Е. П. Эдуардову и М. Ф. Андрееву. Они были так хороши, что оставалось только на них смотреть, как на прекрасное произведение искусства.

Заметив, что я с нескрываемым восхищением смотрю на нее, Мария Федоровна спросила:

— А как вы думаете, сколько мне лет?

В этот яркий солнечный день не только без грима, но даже без следов пудры на лице, она была такой очаровательной и молодой, что я затруднялась ответить на ее вопрос.

И когда она, смеясь, сама сказала: «Я старушка, мне уже тридцать пять», — этому трудно было поверить.

Ранний обед был веселый, все друг над другом подтрунивали и острили. Алексей Максимович усиленно угощал всех, советуя есть как можно больше и не рассчитывать на «обед из сена» у Репина.

Зашел разговор о последней повести Арцыбашева «Смерть Ланде», появившейся в «Журнале для всех».

Скиталец бранил ее, не нравилась она и Алексею Максимовичу, а я, собравшись с духом, сказала:

— Нет, вы несправедливы, Алексей Максимович. Мне она понравилась.

— Не могу понять, что там могло вам понравиться, — ответил Алексей Максимович. — Уж такой кислый дурак этот Ланде, что его даже медведь не съел, а прошел мимо.

Все засмеялись.

После обеда стали собираться в «Пенаты». Это было довольно далеко от мызы «Лентула», и те, кто хотел идти пешком и не ждать извозчиков, за которыми послали на станцию, должны были двинуться в путь.

— Вы сейчас или позже поедете? — обратилась я к Леониду Николаевичу.

— Мы с Шурой поедем домой, — ответил Андреев. — Вы, кажется, думаете, что Горький сегодня в первый раз читает «Детей солнца», — слегка прищуриваясь, с оттенком иронии спросил он. И так как он угадал мою мысль, продолжал: — Он в пятый раз читает сегодня свою пьесу. В его чтении я уже слышал ее два раза, а раньше читал в рукописи, по его просьбе. С меня довольно, — усмехнулся он. И, попрощавшись со всеми, Андреевы уехали.

В «Пенатах» чтение происходило на громадной стеклянной веранде, которая летом служила Репину мастерской.

Три ступеньки вели на деревянную площадку. Там возвышался на мольберте большой портрет Марии Федоровны, над которым Репин еще продолжал работать.

Сбоку, за столиком, устроился Алексей Максимович с рукописью.

Во время чтения Репин то отходил от мольберта, долго смотрел на портрет, то подходил к нему и делал какие-то поправки.

У слушателей внимание рассеивалось, и ни от чтения Горького, ни от работы Репина целого впечатления не осталось.

Вечером, когда после чтения «Детей солнца» мы возвращались в город, Александр Иванович делился со мной впечатлениями дня.

— Репин спросил меня, — рассказывал мне Александр Иванович, — «Как вам понравился портрет Марии Федоровны? Меня интересует, какое впечатление он производит на человека, который видит его в первый раз?»

Вопрос застал меня врасплох. Ты же видела портрет, Маша, он неудачен, и как он не похож на Марию Федоровну. Эта большая шляпа бросает тень на ее лицо, и потом он придал ее лицу такое отталкивающее выражение, что оно кажется неприятным.

Я почувствовал себя очень неловко, сразу не нашелся, что сказать, и молчал.

Репин внимательно посмотрел на меня и проговорил: «Портрет вам не понравился. Я согласен с вами, — портрет неудачен».

В вагоне было темно, и мы не сразу заметили, что на диване около окна, закрывшись газетой, дремал какой-то пассажир.

— Надо говорить тише, — шепнула я Александру Ивановичу.

— А Скиталец сказал сегодня интересную вещь, — вспомнил Александр Иванович. — Горький предлагал ему быть на «ты», но Скиталец ответил: «Мы с вами не пара. Я горшок глиняный, а вы — чугунный, если слишком близко стоять с вами рядом — разобьешься».

— Да, конечно, — вздохнул Александр Иванович, — а как ты думаешь, Маша, мне Горький предложит быть с ним на «ты»?

— Нет, Саша, не предложит.

— Так что же, по-твоему, я горшок глиняный?

— Нет, не в этом дело... Ведь Алексей Максимович уже раз сказал тебе, когда вы говорили о дуэлях, и сказал, как ты передавал мне, с раздражением: «Однако крепко сидит в вас, Александр Иванович, офицерское нутро!»

Некоторое время мы молчали.

— Ну что же, — наконец произнес Куприн. — Пусть будет так. Может быть, оно и лучше.

Мы подъезжали к Петербургу.

Спавший пассажир сбросил газету на пол и, направляясь к двери, раскланялся с нами.

— Всего хорошего, — сказал он.

Это был Леонид Борисович Красин, с которым перед обедом нас познакомил Горький, сказав, что это его близкий друг и правая рука во всех важных делах.

Больше я в Куоккала не ездила. Это было слишком далеко и утомительно. Но Александр Иванович продолжал один заезжать туда по дороге в Териоки, где жил его приятель — критик Петр Пильский.

— Все не удается как следует поговорить с Алексеем Максимовичем, — каждый раз после возвращения от него говорил Куприн. — У Алексея Максимовича было много народу, но все не писатели. Было ясно, что мое присутствие неудобно. Мне же Алексей Максимович бросил только: «Все еще продолжается передышка?

А когда же начнется работа?» Хорошо Горькому говорить: «Не давайте себе передышки», когда я не могу еще оторваться от Ромашова.

Я вижу, как, выздоровев после тяжелой раны, он уходит в запас, вижу, как на станции Проскурово его провожают только двое его однополчан — Бек-Агамалов и Веткин. Он садится в поезд и, полный надежд, едет, как кажется ему, навстречу новому, светлому будущему. И вот он в Киеве. Начинаются дни безработицы, скитаний, свирепой нужды, смены профессий, временами прямо нищенства — писем к «благодетелям» и «меценатам» с просьбой о помощи. А теперь Ромашов — мой двойник — убит, а писать «Нищих» без него не могу. Я говорил об этом Алексею Максимовичу, но он заявил мне: «Вы — писатель, а не нервная дама, вы должны работать, преодолевая все трудности. По руслу автобиографического течения плыть легко, попробуйте-ка против течения»

— Знаешь, Маша, — сказал мне как-то Александр Иванович, — я чувствую, что Горький во мне разочаровался. Он — человек быстро увлекающийся и так же быстро охладевающий к предмету своего увлечения. Я перестал интересовать его. Он считает, что он меня исчерпал.

Когда я заговаривал с Горьким о теме моего романа «Нищие», он рассеянно слушал меня, и разговор обрывался. В последний раз, когда я виделся с ним, я решил заставить его наконец высказать о «Нищих» свое мнение и начал с того, как трудно мне приступить к этой работе без Ромашова.

И вдруг Алексей Максимович вспылил:

— Да что это такое! Что вы все оплакиваете своего Ромашова! Умно он сделал, что наконец догадался умереть и развязать вам руки.

Скажите, что бы он делал в вашем романе, зачем бы там существовал этот ни к чему не способный, кроме нытья, интеллигент, по-видимому, духовный наследник Надсона на тему «Брат мой, страдающий брат...»

Неужели вам кажется, что главным действующим лицом большой и, как вы считаете, значительной вещи может быть сейчас подобный герой? Вы все ссылаетесь на то, что он ваш двойник, но вы-то сами, кроме смены различных профессий, вплоть до мозольного оператора

и собачьего парикмахера, как вы мне очень занятно рассказывали, какую работу, какое более интересное дело могли для себя придумать?

Не будь у вас таланта писателя, что бы вы предприняли? Боролись за свое существование? Только свое?

По вашим словам, вам ближе не интеллигенты, а люди физического труда. Но вы говорили не о рабочих и людях, с ними соприкасающихся, а о людях, случайно взявшихся за физический труд.

И вот стержня романа я не вижу, не вижу основной, объединяющей все его содержание идеи.

Я понял, что у Алексея Максимовича накопилось против меня раздражение и сейчас он не мог или не хотел больше его сдерживать.

Горький рассчитывал, что мое новое произведение, как и «Поединок», вскроет язвы нашего общественного строя и приведет сознание читателя к неизбежности революционного пути.

Он надеялся сделать из меня глашатая революции, которая целиком владеет им. Но я не проникнут боевым настроением и, по какому руслу пойдет моя дальнейшая работа, заранее предвидеть не могу.

Видишь, Маша, больше говорить нам с Алексеем Максимовичем не о чем, друг друга мы все равно не поймем.

* * *

Когда Куприна слишком осаждали репортеры, Александр Иванович, чтобы не сказать им, над чем он работает, говорил: «Пишу роман «Нищие», — и каждому из них сообщал разное.

Когда я спрашивала его, зачем он это делает, он отвечал: «Надо же дать человеку заработать. Сам был репортером».

Ни одной страницы романа «Нищие» Куприным написано не было. Для него самого было неясно, хочет ли он писать о людях, «нищих духом», или о тех, кто вынужден вести нищенский образ жизни. Духовный мир «нищих духом» был Александру Ивановичу мало знаком. Для этого он должен был вращаться в кругу людей другого культурного уровня, чем тот, который он

знал. Борцы, клоуны и ресторанная богема, окружавшие его, не могли служить прототипами для романа «Нищие».

Нищих в прямом смысле слова он наблюдал очень много, но это была тема Горького. И так Александр Иванович оказался в тупике, из которого не видел выхода.

Так же обстояло дело и с романом «Желтый монастырь», и некоторыми другими произведениями, известными только по названию.

* * *

Однажды на столе Богдановича Александр Иванович увидел книгу Н. Н. Брешко-Брешковского «Опереточные тайны» [1].

— Ангел Иванович, дайте мне эти «тайны» на рецензию. Еще раз вспомню старину...

Год назад, летом 1904 года, Александр Иванович писал рецензию на сборник рассказов Брешко-Брешковского «Шепот жизни» [2]. Он сидел в моей комнате, перелистывал сборник и хохотал.

— Нет, это замечательно, Маша, — обратился он ко мне, — прямо замечательно, замечательно смешно, до какой степени неискоренимы пошлость и шаблон. И сам я, конечно, в моих первых повестях и рассказах грешил этим. Но сейчас вижу, что писатель, который старше меня (положим, в большую литературу он не вхож), переплюнул меня. Когда я только начинал литературную деятельность и был совсем еще неловким и глупым щенком, я давал своим рассказам подзаголовки — «Ноктюрн», «Элегия». Я привык думать о себе казавшимися мне красивыми, пошлыми фразами. И нравились мне звучные иностранные слова, вплетавшиеся в русскую речь. Так, в своей первой повести «Впотьмах» Аларин идет не по платформе, а по дебаркадеру. И вот сейчас, раскрыв книгу Брешко-Брешковского, я подумал — а ведь он переплюнул меня... У меня черные кудри живописно обрамляли лицо героини, а у Брешко-Брешковского «ее волосы упругими волнами обрамляли бледное лицо». Так вот, видишь ли, Машенька, то, что было простительно мне, когда я только начинал свою работу на заре туманной юности, то было бы непростительно для

меня сейчас, через одиннадцать лет литературной работы. Брешко-Брешковский появился в литературе более пятнадцати лет тому назад, но тем не менее выпущенный им сборник рассказов носит название «Шепот жизни». Он не только не оставил свою старую пошлую манеру, но, по-видимому, окончательно сросся с ней. Чего стоит одно название сборника!

От новой книги Брешко-Брешковского Александр Иванович получил максимум удовольствия.

Когда после выхода книжки «Мира божьего» с рецензией Куприна на «Опереточные тайны» я зашла в редакцию, то застала там необычно веселое настроение. Все громко смеялись, даже Ангел Иванович протирал очки и улыбался, а Федор Дмитриевич Батюшков, стоя посреди комнаты, в чем-то оправдывался, что вызывало новые взрывы смеха.

— Представь себе, Маша, что сделал Федор Дмитриевич, — встретил меня в редакции Александр Иванович. — Я, как ты знаешь, написал в своей рецензии о Брешко-Брешковском, что черного кобеля не отмоешь добела. Федор Дмитриевич, которому уже в верстке попалась моя рецензия, решил, что слово «кобель» неприлично и в солидном журнале появиться не может. На самом же деле фраза эта вполне прилична, и существуют гораздо более соленые народные пословицы, которые неоднократно цитируются в печати. Из этой же моей фразы, исправив ее, Федор Дмитриевич сделал такое неприличие, до коего я сам никогда не мог бы додуматься. Вот посмотри...

Александр Иванович подошел ко мне с журналом.

— «Черного... не отмоешь добела», — пробежала я глазами. — Что ж тут такого? Обыкновенно, когда не кончают фразу, то ставят три точки.

Тут раздался такой хохот, что я вовсе перестала что-либо понимать и лишь растерянно смотрела на Александра Ивановича.

— О санкта симплицитас! * — воскликнул он.

---

* О святая простота! *(лат.)*

При случае рассказали об этом В. Г. Короленко. Он засмеялся.

— На Федора Дмитриевича это похоже. Он иногда уподобляется питомицам института благородных девиц. Когда у меня было расстройство желудка, один наш общий знакомый спросил Батюшкова, что со мной. Федор Дмитриевич решил, что слово «живот» произносить неприлично и сказал: «У Владимира Галактионовича болит «ж».

ГЛАВА XXXV

Балаклава. — Мамин-Сибиряк в Балаклаве. — Куприн и Мамин о литературных планах и критиках. — «Песнь песней». — Отъезд Маминых из Балаклавы.

В середине августа пора было собираться в Балаклаву. Провести эту осень в Крыму решили и Мамины. В последний раз Дмитрий Наркисович и Ольга Францевна были в Ялте в 1900 году. Поездка эта была неудачной: в Ялте было многолюдно, Дмитрий Наркисович хворал, гостиничная обстановка его раздражала, а частые посетители тяготили.

Теперь Аленушка стала взрослой девушкой и захотела тоже побывать в Крыму.

Куприн посоветовал Маминым поехать в Балаклаву, небольшой рыбачий поселок, который только осенью ненадолго превращается в скромный дешевый курорт.

За эту мысль они ухватились, взяв с нас обещание, что жить мы будем вместе и к их приезду все подготовим.

Мы опять поселились на даче Ремизова. Здесь в предыдущем году Куприн работал над «Поединком», писал воспоминания о Чехове.

Скоро в Балаклаву приехали и Мамины. Александр Иванович встретил их в Севастополе и, усадив в коляску, ждавшую на вокзале, привез к нам на дачу.

— Хорошо здесь, очень хорошо, — говорил Мамин в этот день за обедом. — Попробую и отдохнуть и писать...

Дмитрий Наркисович просыпался очень рано и отправлялся на базар. Ему нравился яркий колорит южного приморского рынка с его изобилием фруктов, рыбы,

грудами всякого морского улова, еще копошившегося на столах. Он любил сам выбирать к обеду дыню или особенно крупные овощи, которые в корзине нес ему мальчик, сын нашего знакомого рыбака. С забавной гордостью хвалился передо мной и Ольгой Францевной своими покупками.

Позавтракав и немного отдохнув, Мамин шел в городскую библиотеку. Здесь его уже ждали. Заведующая библиотекой Елена Дмитриевна Левенсон, большая почитательница Мамина-Сибиряка, гордилась его посещениями, заботливо откладывала для него свежие газеты, журналы, книжки-новинки. Дмитрий Наркисович с удовольствием беседовал с ней, разрешал представить ему некоторых балаклавских и приезжих интеллигентов, стремившихся с ним познакомиться.

Сидя на веранде, выходившей на набережную, в специально для него поставленном удобном плетеном кресле, он оживленно разговаривал, шутил, что-нибудь рассказывал. В эти утренние часы он чувствовал себя бодрым, бывал всегда в хорошем настроении.

Просмотрев газеты, он на набережной встречал Ольгу Францевну с Аленой, гулял с ними по бульвару, сидел на скамейке в тени акаций на берегу бухты.

После раннего обеда в два часа Мамин ложился отдыхать и остальное время дня проводил у себя.

В семь часов мы ужинали, а в девять Дмитрий Наркисович и Алена ложились спать.

Только при таком санаторном режиме можно было надеяться, что развитие склероза у Дмитрия Наркисовича несколько замедлится.

Все, что увлекало в Балаклаве Куприна, было недоступно для Мамина вследствие его болезни. Каждый из них жил своей обособленной жизнью. И встречались они обычно лишь во время завтрака, обеда и ужина. Рыбная ловля была их общей страстью. Когда Куприн вечером с рыбаками уезжал далеко в море, Мамин с грустью вспоминал Урал и свою молодость, о том, как и он когда-то любил ночью бить рыбу острогой, а на рассвете, усталый и счастливый, разложив костер на берегу, варил уху.

Если ночью он хорошо спал и ранним утром просыпался бодрым и свежим, он шел со мной на набережную встречать возвращавшихся в бухту рыбаков. С жадным любопытством он рассматривал попавших в сети больших камбал, морских петухов, скатов, громадных крабов и всяких необыкновенных рыб и ракообразных. Потом, за утренним завтраком, он подробно обсуждал с Александром Ивановичем улов, преимущества ловли сетями перед вентерями, мережками и прочей рыбачьей снастью. Оба с жаром углублялись в вопрос, на какую приманку охотнее всего идет рыба, и часто спорили о свойствах той или иной наживки. Под конец Мамин говорил Куприну:

— Нет, не люблю я вашу морскую рыбу, совсем она не рыба, а неизвестно что... Настоящая рыба только наша сибирская — осетр, нельма, муксун. А хваленая ваша белуга, сами же рыбаки рассказывают, во время бури то ревет, то хрюкает — ни рыба, ни мясо...

Когда как-то поймалась трехпудовая камбала и, перекатываясь со спины на брюхо, быстро двигалась вперед по набережной, а вслед за ней с визгом и смехом бежали дети рыбаков, Дмитрий Наркисович перестал шутить и в грустном раздумье смотрел на их веселье.

— Как бы радовалась моя Алена, если бы пришла сюда со мной, — обратился он к Александру Ивановичу, стоявшему в группе рыбаков. — Но ей нельзя вставать рано. У нее начинается головная боль, и тогда она весь день плачет. Лучше даже не рассказывать ей о камбале.

Куприн о чем-то пошептался со своим приятелем — хозяином баркаса Колей Константи, тот в ответ, слегка подмигнув ему одним глазом, кивнул головой.

Возвращаясь домой, Александр Иванович намеренно замедлял шаги, останавливался поговорить со встречными, задерживая и Дмитрия Наркисовича. Тем временем Коля Константи и Юра Паратино незаметно боковыми проулками пронесли камбалу и положили ее под навесом у нас в летней кухне, устроенной на вырубленной в скале площадке, высоко над дачей.

В обычное время все собрались к завтраку.

— Мои товарищи рыбаки, — несколько торжественно заговорил Куприн, обращаясь к Мамину, — просили меня передать вам, Дмитрий Наркисович, что в знак своего особенного к вам уважения они принесли вам в подарок камбалу. Она наверху под навесом.

Мы вышли во двор, чтобы подняться в кухню. И вдруг, грузно шлепая по ступенькам лестницы, нам навстречу двинулась какая-то темная живая масса. Мы бросились от нее в разные стороны. Это была камбала. Несмотря на то, что рыба несколько часов была без воды, она оказалась такой живучей и сильной, что внизу еще долго продолжала, переворачиваясь, кружить по двору. Алена была в восторге — сюрприз удался более, чем ожидал Александр Иванович.

За ужином Куприн отсутствовал. До поздней ночи из кофейни внизу, на второй улице, к нам на дачу доносились песни, музыка, топот пляски, взрывы хохота. Это гуляли поймавшие камбалу рыбаки, которых угощал Куприн.

Болезнь отгораживала Мамина от многих сторон жизни, интересовавших его как писателя, замыкала в узкий круг повседневных впечатлений. Сознание своей слишком рано для его возраста наступившей немощности по временам остро тяготило его. В такие моменты он обычно за показной веселостью, скрывавшей перед другими его переживания, горько жаловался мне на несправедливость судьбы, однообразие и скуку жизни.

Радовала его только Алена, поздоровевшая и загоревшая, как «арапка», на южном солнце. Глядя на оживленное лицо дочери, прояснялся и Дмитрий Наркисович.

В очень жаркие дни Дмитрию Наркисовичу после обеда не спалось. Тогда он приходил к нам на веранду выпить чаю. Если Мамин и Куприн бывали в настроении, они говорили о литературе, о современных писателях, о своих творческих планах.

— Просматривал я в библиотеке последние партии присланных из Петербурга книг, — говорил однажды Дмитрий Наркисович. — Совсем нет новых больших вещей — все сборники рассказов. Молодежь вслед за Чеховым пишет только рассказы, редко повести. Правда, все пишут хорошо, свои рассказы старательно отделывают. Вот только Леонид Андреев тщится прыгнуть выше головы, и ничего из этого не выходит.

— Вы несправедливы к нему, Дмитрий Наркисович, — возразил Куприн, — Андреев — очень большой талант.

— Талант! А какой же толк от его таланта, если он то лезет на стену, то ночь у него «оскаливает зубы и воет, сидя на корточках». Это как, по-вашему? Очень талантливо?

Алена, сидевшая рядом с отцом, громко захохотала. Засмеялся и Дмитрий Наркисович.

— Теперь отношение критики к молодым писателям иное, чем в мое время, — помолчав, заговорил он. — Теперь даже о небольшом рассказе начинающего автора пишут статьи—приветствуют появление молодого таланта.

А кто из критиков «приветствовал» меня в начале моего литературного пути? Никто... Я сам прокладывал себе дорогу к читателю. Я показал ему Урал таким, каким я знал его, с его дикой красотой, неисчислимыми природными богатствами, свободолюбивым русским народом, но ограбленным и закабаленным хищниками-капиталистами. Таким был мой родной край, о котором я писал в романах. Внести свой вклад в родную литературу было моим долгом русского писателя. И я работал годами над своими уральскими романами. В них я вложил мою горячую любовь к обездоленному трудовому народу, мое преклонение перед его мудростью и творческими силами.

И как же оценила критика появление моих романов? Да очень просто, никак... Она прошла мимо них, как мимо пустого места.

Дмитрий Наркисович говорил медленно, с передышками, видно было, что тема его волновала, но он все же продолжал говорить:

— Влиятельная столичная пресса молчала, а в провинциальных газетах появлялись снисходительные отзывы, в которых мне приклеивали ярлык «писателя-областника».

— «Писатель-областник», — с горечью повторил Мамин, — как будто я писал о чем-то, имевшем только узкое, местное значение, а не о больших социальных явлениях!

Даже в художественном даровании мне отказывали.

Как-то, упоминая обо мне, Скабичевский сказал, что я вовсе не беллетрист, а «трудолюбивый этнограф». Нет, лучше не говорить, — махнул рукой Мамин.

— Вы забываете, Дмитрий Наркисович, — сказал Куприн, — что не только к вам несправедливо отнеслась

критика. Вспомните Чехова, вспомните, как травили его. Ведь тот же «мудрый» Скабичевский пророчил Антону Павловичу, что он в «пьяном виде умрет под забором»[1]. А статьи Михайловского...[2] Разве не он приклеил Чехову ярлык «беспринципного писателя», ярлык, который преследовал Антона Павловича не только при жизни, но и теперь, после его смерти. Нередко эти отзывы повторяют некоторые либеральные критики. Однако ни развенчать Чехова, ни умалить значения Мамина-Сибиряка никому не удалось. Решающее слово о своих любимых писателях — гордости нашей родной литературы—сказал читатель, понявший и высоко оценивший их произведения.

— Ты бы отдохнул до ужина, Митя, — сказала мужу Ольга Францевна, все время с тревогой следившая за ним. Она боялась разговоров на литературные темы, волнующие Мамина.

— Оставь, Ольга, — недовольно ответил Мамин.

— Но ты совсем не спал после обеда, — настаивала Ольга Францевна.

Александр Иванович понял ее настроение.

— Под занавес надо всегда рассказать что-нибудь веселое, — обратился он к ней, — поэтому разрешите мне рассказать один забавный случай, о котором я только что вспомнил.

Начну издалека. В прошлом году летом мы жили на хуторе около деревни Малые Изеры, в десяти верстах от Луги. В начале мая мы уже переехали на дачу, и я немедленно засел за работу.

Маша взяла с собой несколько томов Диккенса, каждый день, после обеда, я читал ей вслух «Записки Пиквикского клуба». К своему стыду, должен признаться, что я до тех пор почти не знал Диккенса. Его тонкий юмор восхищает меня.

По поводу своеобразной езды английских кучеров Диккенс замечает: «Души кучеров еще не исследованы...» Не правда ли, какой замечательный остроумный афоризм? Наверное, Дмитрий Наркисович, вы не раз наблюдали, как идущую хорошей рысью лошадь кучер ни с того ни с сего принимается нахлестывать, и она начинает скакать галопом. Один кучер медленно спускает лошадей с горы и гонит их на гору. Другой спускается карьером, а в гору поднимается шагом. Как правило, кучера без толку задергивают лошадей и портят их.

— Да, вы это хорошо подметили, — засмеялся Мамин.

— Итак, если разрешите, продолжаю. Купеческая вдова, у которой мы нанимали дачу, сорокапятилетняя рыхлая женщина, с лицом, похожим на сдобный блин, находилась в полном подчинении у своего кучера Василия. Это был ражий мужчина, мрачной цыганской наружности, буйный во хмелю. Так как на хуторе имелась только одна водовозная кляча, то вдова задумала купить выездную лошадь, чтобы по праздникам ездить на станцию в церковь. Василий был решительно против этой затеи, однако вдова на своем настояла, и из соседнего имения однажды утром привели статного вороного жеребца. Из окна моей комнаты я видел, как по двору прогуливали коня, а затем, когда его поставили в конюшню, принялись вспрыскивать покупку, а я продолжал прерванную работу над своим рассказом «С улицы». Прошло порядочно времени, когда от работы меня отвлек какой-то странный, слышавшийся из конюшни шум. Раздавались чьи-то выкрики, частые удары копыт о деревянный настил и не то хрип, не то ржание лошади.

«В конюшне что-то случилось», — подумал я и выбежал во двор. Распахнув двери конюшни, я увидел, как Василий, перегнувшись через переборку, длинным колом остервенело бил запертую в стойле лошадь.

— Что ты делаешь, мерзавец! — крикнул я.

— Воспитываю коня, чтобы он меня уважал и слушался, — повернулся ко мне Василий.

— Сию минуту брось кол и проспись, собачий сын, — взглянув на Ольгу Францевну, с заминкой произнес Александр Иванович.

— Уходи, пока цел, господин, а то... — Василий с колом двинулся на меня.

Но скажу без ложной скромности (Александр Иванович расправил свои широкие плечи), я очень неплохой борец, а как боксер могу поспорить с любым профессионалом. Испытанным боксерским приемом я ударил его в челюсть, потом в переносицу и третьим ударом под ложечку свалил с ног, а затем выбросил из конюшни. И все время, пока мы жили на даче, он лошадь больше не «воспитывал».

Вы, наверное, недоумеваете, Дмитрий Наркисович, к чему я рассказал вам все это?

А вот к чему. Во время нашего разговора мне пришло в голову, что души критиков так же не исследованы, как и души кучеров, но воспитательные приемы их часто бывают одинаковыми. Критики так же, как кучера, воображают, что если они будут задергивать, всячески измываться над писателями, то те станут уважать их и слушаться. Жаль только, что здравых понятий им нельзя внушить таким же приемом, как кучерам.

— Где вы пропадали эти дни? — спросил как-то Мамин Куприна.

— Уходил с рыбаками в море, а потом разгружал баркас, — ответил Куприн. — Я люблю физический труд: он бодрит и освежает. После тяжелой работы вплотную засесть писать легче, чем после так называемого «отдыха», когда без дела шатаешься по набережной или сидишь за кружкой пива на поплавке с знакомыми. А поднимать из глубины тяжелую сеть — труд не легкий, требующий большого внимания и напряжения. Чтобы отправляться в море с рыбаками не в качестве пассажира, желающего совершить морскую прогулку, а равного с ними в труде товарища, я вступил в рыболовецкую артель.

Предварительно жюри, состоявшее из старосты и нескольких выборных, испытало мою сноровку в работе и мускульную силу, а уже затем меня приняли в артель. И теперь, когда нужно, я наравне со всеми тяну сети, разгружаю баркас и с Колей Констанди мою палубу после очередного рейса.

— Да, хорошо, очень хорошо быть молодым и здоровым, — грустно заметил Мамин. — А я, — продолжал он, — думал о том, как, отдохнув, вернусь домой и с новыми силами сяду за работу. Но больших вещей для толстых журналов я писать не буду. Последние годы моей жизни я решил посвятить детям — писать только для них. Для подростков я хочу написать повесть о Ермаке и о первых русских поселенцах, обосновавшихся на берегах Иртыша. Жизнь русских людей, селившихся на Урале и проникавших дальше в глубь Сибири, была полна неутомимой борьбы с девственной природой и дотоле не виданными дикими зверями. В этой борьбе гибли многие смельчаки, но из других выковывался

закаленный, кряжистый и своеобразный сибирский народ.

Да, о многом, очень многом интересном можно еще написать — было бы только время... и силы. А что вы сейчас пишете, Александр Иванович?

Куприн крепко потер лицо ладонями.

— В том-то и дело, что я еще ни на чем не могу остановиться. Просматриваю мои записи, раньше начатые отрывки и вижу, все не то. Ни за что браться не хочется.

Чувствую, что над романом «Нищие», который задумал как продолжение «Поединка», я работал бы легко — материала у меня много. Но после гибели Ромашова центральная фигура, органически связанная с «Поединком», выпала. И эта утрата для меня барьер, который я пока не в силах взять. Это меня сердит и выбивает из намеченной колеи...

Есть у меня тема, которая давно меня пленяет, — продолжал, немного помолчав, Куприн, — это «Песнь песней». Она пленяет меня силой чувства, поэзией и высоким творческим вдохновением. И я хотел бы, чтобы это замечательное художественное произведение стало достоянием многих читателей, которые его совсем не знают.

— Так вы, что же, думаете написать лучше Соломона? — заметил Мамин.

— Да, это вопрос коварный, — несколько принужденно засмеялся и Куприн. — Но я его предвидел и готов на него ответить.

Текст «Песни песней», разумеется, останется неприкосновенным. Но я хочу показать образ Соломона, этого мудреца и поэта, который всем прекраснейшим и мудрым, как царица Савская, женщинам предпочел простую бедную девушку из виноградника и ее единственную воспел в своем бессмертном произведении. Кроме того, меня привлекает, похожее на сказку «Тысячи одной ночи», великолепие его жизни.

Но эта тема — дело будущего, пока я еще только внутренне ее переживаю, — она требует большой подготовки, знания многих работ исследователей древнего Востока, с которыми я ознакомился только отчасти.

Вот как рисуется мне эта тема, в которой поэтическое произведение отражает и страсть, и характер, и глубину мысли величайшего человека своего времени, и нежный женский образ Суламифи.

Теперь что вы мне скажете, Дмитрий Наркисович?

— Скажу, что я в своей литературной работе никогда не отвлекался от близкой мне родной, русской почвы. Экзотические сюжеты меня не соблазняли, и увлечения ими я не разделял и не разделяю.

— Да-а, — разочарованно протянул Куприн. — Я надеялся, что вы, знаток и любитель библейской старины, заинтересуетесь моей темой, а вы отнеслись к ней так же, как Горький. Летом я часто бывал в Куоккале у Алексея Максимовича, и, когда однажды заговорил с ним о «Песни песней», он нахмурился и сказал мне:

— Перепевать «Песнь песней» — ненужная и лишняя затея. Держитесь крепко того, что вы хорошо знаете, не погружаясь в глубь веков.

И он оборвал разговор.

Недавно получил письмо от Пятницкого. Он спрашивает, как идет работа и над чем, — думаю, что это нужно ему для Горького.

Горькому я обязан очень многим. Он не только сердечно и внимательно отнесся ко мне и к моей работе, но открыл мне глаза, по-новому осветил жизнь, разъяснив многое, что было раньше для меня непонятно, заставив задуматься над тем, о чем я прежде не думал.

— Да, в настоящее время самый большой русский писатель — Горький, — сказал Мамин. — У него неисчерпаемый запас свежих творческих сил, великолепное знание жизни и людей. В своей работе он еще не достиг зенита, а как много уже дал прекрасных произведений и сколько, с его громадным талантом, даст в будущем.

Пять лет назад я жил весной в Ялте в одно время с Горьким. Я захворал и больше недели не выходил из дому. Алексей Максимович навещал меня, и мы подолгу с ним беседовали. Он простой, доброжелательный, чуткий человек — с ним легко и приятно говорить. В нем нет высокомерия знаменитости. Он с уважением относится к старым писателям, на своем веку много поработавшим для родной литературы.

Горького Мамин-Сибиряк любил и всегда говорил о нем с теплотой. Но о Чехове отзывался сдержанно или ядовито и зло.

По рассказам Ольги Францевны, весной 1900 года в Ялте произошло следующее: в начале апреля Мамины

приехали в Ялту и разместились в гостинице «Гранд-Отель». Дмитрий Наркисович очень устал от дороги, и Ольга Францевна уложила его в постель. Только на третий день он почувствовал себя крепче, и они днем вышли на набережную.

День был нежаркий, и Дмитрий Наркисович был в хорошем настроении. Около книжной лавки Синани они остановились посмотреть выставленные в окне новые книги. Другое окно лавки было завешено афишей о спектакле «Дядя Ваня» в исполнении артистов Московского Художественного театра. В это время дверь лавки открылась, и вышел улыбающийся Антон Павлович Чехов.

— А, Дмитрий Наркисович, здравствуйте! И вы с супругой приехали посмотреть Художественный театр! Почему так поздно? Теперь торопитесь. Билеты можете не достать.

Дмитрий Наркисович молча приподнял шляпу и под руку с Ольгой Францевной пошел дальше.

В гостиницу он вернулся молчаливый и расстроенный.

— Уедем отсюда, Ольга, завтра же уедем. Какой самоуверенный болван!

Через час явился Немирович-Данченко.

— Мы только что узнали от Антона Павловича, что Вы здесь. Будем счастливы, если вы с супругой придете на наш спектакль. Он оставил Ольге Францевне два билета...

В конце сентября Мамины уехали из Балаклавы.

ГЛАВА XXXVI

Чтения отрывков из «Поединка» на благотворительном вечере в Севастополе. — Знакомство с лейтенантом Шмидтом. — Корреспонденция Куприна «События в Севастополе». — Высылка Куприна из Балаклавы.

Хорошо, что Мамины уехали. Через несколько дней после их отъезда заболела Лидочка. У нее оказалась тяжелая форма скарлатины.

В этом году популярность Александра Ивановича очень мешала ему. Незнакомые люди останавливали его

на улицах, в пивной, на бульваре. Единственным спасением было уходить в море с рыбаками.

Отцы города, рыбаки и почтенные владельцы домов и виноградников нашли, что для процветания Балаклавы было бы важно залучить Куприна в постоянные жители.

Поэтому через Колю Константи они начали дипломатические переговоры и обратились к Куприну с предложением приобрести участок городской земли, расположенной против генуэзской башни в балке «Кефало-Вриси». Цена была назначена низкая, но, по правде сказать, земли там было чрезвычайно мало — только узкая полоска вдоль дороги, остальное же — голая скала.

Однако мысль поставить там хотя бы временную глинобитную постройку и, несмотря на все трудности, обработать бесплодный каменистый участок, превратив его в бахчу, фруктовый сад и виноградник, увлекла Куприна.

Он завел переписку с садоводами Массандры относительно посадки декоративных и фруктовых деревьев, покупал саженцы у местных садоводов, составил план дома, дорожек, сада и сразу же сговорился с артелью рабочих, которые начали взрывать скалу и ставить подпорные стенки для дома.

Было начало октября 1905 года. В эти предреволюционные дни в Севастополе устраивались благотворительные вечера. Большая часть сборов шла на нужды революционных организаций.

На одном из таких вечеров, главным устроителем которого формально считался отставной генерал Лескевич, Куприн согласился выступить с чтением отрывков из повести «Поединок».

Когда мы с Александром Ивановичем приехали, зал был переполнен. Публика собралась разная, было много военных.

Нас провели незаметно боковым ходом. Александр Иванович читал в конце вечера.

Когда он начал монолог Назанского «Наступит время, оно уже у ворот...», среди офицеров, сидевших в первых рядах, началось волнение, послышались выкрики: «Безобразие!», «Довольно!», «Долой!» Другая часть зала устроила шумную овацию. Разгорался скандал. Продолжать чтение было невозможно.

К Куприну подошел морской офицер и отрекомендовался: лейтенант Шмидт.

Ему удалось внести успокоение и убедить большинство офицеров прекратить споры и разойтись.

Уезжая, Александр Иванович, оставил Лескевичу свой адрес, чтобы считавшие себя оскорбленными офицеры могли потребовать от него удовлетворения.

Через два дня к нашему дому подъехал экипаж. Из него выскочил человек в военной форме.

Александр Иванович и я после обеда оставались еще за столом. В столовую вошел лейтенант Шмидт. Его беспокоило, все ли обошлось благополучно после благотворительного вечера. Беседа продолжалась не более четверти часа.

Лидочка настолько поправилась, что с нею уже можно было двинуться в путь. Богданович давно настаивал на моем возвращении, и через несколько дней после благотворительного вечера в Севастополе я с ребенком и няней выехала в Петербург.

Куприн утверждал, что ему понадобится, по крайней мере, еще месяц для работ в саду и подготовки к весеннему сезону. Раньше этого срока уехать из Балаклавы он не соглашался.

Казалось, к литературной работе Александр Иванович временно охладел и не торопится к ней вернуться.

В Балаклаве он написал лишь очерк «Сны» для «Одесских новостей».

Таким образом, в этот приезд в Балаклаве, кроме этого очерка, Александром Ивановичем ничего написано не было.

О волнениях на Черноморском флоте, начавшихся уже после моего отъезда из Балаклавы, и восстании на крейсере «Очаков» я узнала из писем Александра Ивановича [1]. Вторично читать в Севастополе отрывки из «Поединка» в декабре месяце Куприн не мог: [2] 15 ноября 1905 года лейтенант Шмидт был арестован, и началась жестокая расправа над восставшими.

Первого декабря в Петербурге в газете «Наша жизнь» была напечатана корреспонденция Куприна «События в Севастополе», после чего адмирал Чухнин

отдал приказ о выселении его из пределов Севастопольского градоначальства в двадцать четыре часа.

От Александра Ивановича я получила письмо, в котором он сообщал, что выезд ему отсрочили и за это время он постарается ввести в курс своих дел по саду фельдшера Е. М. Аспиза, которого просил присматривать за работами на участке.

ГЛАВА XXXVII

Возвращение Куприна в Петербург. — «Штабс-капитан Рыбников». — Стол Куприна с автографами. — Вилла Роде. — Куприн в «Плодах просвещения». — Визит офицеров Семеновского полка.

Вернулся в Петербург Александр Иванович в состоянии нервного возбуждения. Дома и в редакции он вспоминал все новые и новые подробности очаковской трагедии.

Но о том, какую помощь он сам оказывал матросам, укрывавшимся в Балаклаве, о том, как переправлял их в безопасные места, никому, кроме меня и еще очень немногих друзей, не рассказывал.

Узнала я от него тогда, что его корреспонденция о севастопольских событиях в более расширенном виде, чем в «Нашей жизни», была напечатана в керченской газете, редактором которой был Кристи [1].

Серьезного значения распоряжению Чухнина Куприн не придавал, рассчитывая, что к весне удастся уладить дело и мы снова поедем в Балаклаву.

В редакции журнала настроение было тревожное. Большинство типографий бастовало. В редакцию заходили только ненадолго, чтобы поделиться новостями о забастовке.

Вся обычная работа была заброшена. От заведующих отделами статей не поступало, и на выход первого номера журнала в январе не было никакой надежды. В таком положении, по-видимому, находились все редакции.

По-прежнему самые последние новости приносили из «Капернаума». Там горячо обсуждались события в Москве, вооруженное восстание, отправка Семеновского полка для подавления восстания.

В памяти Куприна еще свежи были воспоминания о минувшей русско-японской войне. В юности его увлекали военные повести и рассказы, где появлялся романтический герой — военный шпион времен наполеоновских войн и последней франко-прусской войны.

«Ромашов поедет военным шпионом в Германию. Изучит немецкий язык до полного совершенства и поедет...

Какая упоительная отвага! Один, совсем один, с немецким паспортом в кармане, с шарманкой за плечами. Обязательно с шарманкой. Ходит из города в город, вертит ручку шарманки, собирает пфенниги, притворяется дураком и в то же время потихоньку снимает планы укреплений, складов, казарм, лагерей. Кругом вечная опасность».

Мысль написать рассказ о военном шпионе не оставляла Куприна и во время русско-японской войны, но война кончилась, а эта тема так и не нашла художественного воплощения в произведениях Куприна.

Однажды Александр Иванович пришел домой очень взволнованный. Это было через несколько дней после его возвращения из Балаклавы.

— Знаешь, Маша, что я скажу тебе? Сегодня я познакомился с японским шпионом.

Я пошел в «Капернаум» и, прежде чем пройти в кабинет, где сидела вся репортерская компания, остановился у стойки. Я спросил себе рюмку водки и миногу и обратил внимание на оказавшегося рядом армейского офицера. Он тоже закусывал водку миногой. Лицо его меня поразило.

«Какое странное лицо, — подумал я. — Нерусское». А какое, сразу не пришло мне в голову. И только потом я подумал: а ведь он похож на японца, и нет ничего невероятного в том, что это японский шпион, переодетый в армейскую форму.

Он, видя, что я пристально рассматриваю его, заговорил со мной. Сообщил, что приезжий, всего несколько дней в Петербурге и теперь только начинает знакомиться с городом.

— Правда, это хороший дешевый ресторан? — спросил он меня. Я ответил, что да и что я обычно в это время здесь закусываю. Если завтра я встречу его опять, значит, он стремится со мной познакомиться. Как думаешь, Маша, правдоподобна моя догадка?

Я почувствовала, что мысль о японском шпионе захватила Александра Ивановича и он ищет у меня поддержки. Куприн любил приписывать малознакомым людям какие-то необычные душевные свойства, которые почему-то его привлекали, и часто наделял ими первого встречного.

Я знала, что если сразу скажу ему, что эго чистейший вздор, то лишу его радостной надежды на открытие.

— Это очень, очень возможно, Саша, что этот человек переодетый японский шпион. Выяснить это было бы, конечно, очень интересно.

— Я непременно этим займусь, Машенька, непременно. Ведь сколько раз во время войны я говорил тебе, что наша русская публика в учреждениях, в общественных местах, в ресторанах ведет себя необдуманно. Неоднократно приходилось слышать, как в ресторане Палкина офицеры после достаточной зарядки громко обсуждали последние военные известия и делились тем, что еще не было опубликовано и считалось тайной. И в такой обстановке, конечно, ловкий японский шпион всегда мог почерпнуть богатый материал.

На другой день было воскресенье.

— Сегодня, Маша, непременно поеду на бега, — сказал мне утром Александр Иванович. — На днях я встретил на Невском мистера Митчела, он пригласил меня сегодня посмотреть «Стрелу», новое приобретение князей Абамелек-Лазаревых.

Я помню, тебя занимали в прошлом году рассказы мистера Митчела о бегах, о том, каким опасностям подвергается рысак — любимец публики, и о том, как их владельцы, соперничающие между собой, прибегают ко всяким уловкам, подкупают не только наездников, но и конюхов и так называемых «конюшенных мальчиков», которым часто бывает за сорок.

В самом деле в прошлом году Александр Иванович пригласил к завтраку мистера Митчела. Его познакомил с ним на бегах сын писателя Достоевского — Ф. Ф. Достоевский, у которого была беговая конюшня.

— На бегах меня, по обыкновению, будут ждать Вася Регинин, Маныч и юнкер Троянский, я прихвачу их с собой к обеду.

Александр Иванович часто приводил с собой к обеду кого-нибудь из случайно повстречавшихся ему в «Капернауме» знакомых, поэтому сообщение его меня не удивило.

Стол был накрыт, когда Александр Иванович появился в сопровождении шумной компании, в которой выделялся среднего роста незнакомый мне армейский офицер.

— Позволь тебе представить, Машенька, штабс-капитана Рыбникова.

Офицер щелкнул каблуками и, когда я протянула ему руку, поцеловал ее.

Куприн посадил Рыбникова возле себя и оказывал ему за столом особое внимание.

По наружности и по говору, по некоторым особым ударениям, которые он делал, Рыбников был типичным сибиряком. В разговоре это подтвердилось, и выяснилось, что он воспитывался в Омском кадетском корпусе и служит в войсках Омского военного округа. Был ранен под Мукденом.

По всей вероятности, Куприн что-то говорил о Рыбникове Манычу. И тот, со свойственной ему бестактностью, после нескольких рюмок водки неожиданно спросил:

— А как на фронте, вас тогда не принимали за японца? У вас ведь такая экзотическая наружность.

Рыбников пожал плечами:

— У нас в Сибири давно, еще со времен предков, первых поселенцев, случаются смешанные браки с местным населением: якутами, башкирами, монголами.

Маныч, видимо, желал развить эту тему, но Куприн вмешался:

— Да, то же самое наблюдается и на Урале: среди оренбургского казачества чистые великоруссы встречаются редко...

К концу обеда, за десертом, художник-иллюстратор Троянский, бывший офицер-артиллерист, которого почему-то капернаумская компания газетчиков прозвала «юнкер Троянский», хотя в отставку он вышел в чине капитана и не был слишком юн, спросив у Рыбникова разрешения, вынул блокнот и начал его зарисовывать.

— Сейчас будет готова и моментальная фотография, — захохотал Маныч.

Александр Иванович поморщился.

— Кофе пить я приглашаю вас в мой кабинет. Посмотрите, штабс-капитан, какой у меня альбом. Патент этого изобретения принадлежит мне, — сказал он, указывая на письменный стол.

Это был длинный березовый стол. Крышка у него была из хорошо пригнанных толстых досок, настолько гладко оструганных, что казалась полированной.

— Здесь все, кто бывает у меня, пишут мне что-нибудь на память [2].

Куприн показал Рыбникову автографы Вересаева, Арцыбашева, Евг. Чирикова, Семена Юшкевича, Серафимовича, поэтов Бунина, Федорова, В. Ладыженского, Ивана Рукавишникова и других.

Приятели Бунин, Федоров и В. Ладыженский обменивались здесь ядовитыми эпиграммами...

Скиталец написал Куприну:

А. Куприн! будь дружен с лирой
И к тому — не «циркулируй»!

Сам Александр Иванович написал следующее изречение: «Мужчина в браке подобен мухе, севшей на липкую бумагу: и сладко, и скучно, и улететь нельзя». А рядом, сбоку, он потребовал, чтобы написала что-нибудь и я. И тогда наш семейный цикл я закончила фразой из «Белого пуделя»: «И сто ты се сляесься, мальцук? Сто ти се сляесься? Вай-вай-вай, нехоросо...»

Были здесь, рядом с шутливыми стихотворениями К. Чуковского, Осипа Дымова, и религиозно-нравственные поучения священника Г. С. Петрова.

В общий шутливый тон надписей диссонансом врывались два стихотворения Ивана Рукавишникова.

Кто за нас — иди за нами,
Мы пройдем над головами
Опрокинутых врагов.
Кто за нас — иди за нами,
Чтобы не было рабов.

Это стихотворение очень нравилось Александру Ивановичу. Он считал, что его нужно положить на музыку и петь, как марш.

Нравилось ему и другое, мрачное стихотворение «Город», из которого мне запомнилась только первая строфа:

Город, — сны и сновиденья,
Мгла молчащих площадей.
Тихо крадется безумье
В черепа живых людей...

— Оставьте и вы свой автограф, штабс-капитан, — сказал Александр Иванович.

— Что же могу я написать на вашем столе, — сконфузился Рыбников.

— Ну, все равно, если вы втайне не поэт, скрывающий плоды своего вдохновения, то просто распишитесь, это будет напоминать мне о нашем знакомстве.

И мелким, но четким почерком около длинного стихотворения А. М. Федорова Рыбников написал: «Штабс-капитан Рыбников».

— Вечер предлагаю провести на островах в театре «Аквариум», — обратился Александр Иванович к присутствующим. — Сегодня там выступает цыганский хор со старинными песнями, интересно было бы послушать. Поедем, Машенька, с нами.

— В «Аквариуме», Саша, ты, наверное, встретишь своих знакомых артистов и режиссеров, образуется шумная и малознакомая мне компания. Лучше я останусь дома, обед меня все-таки утомил.

Вернулся Александр Иванович поздно.

— Как понравился тебе Рыбников? — спросил он у меня на другой день.

— Мне показалось, что он очень конфузился в незнакомой обстановке. За обедом все обращали на него слишком большое внимание.

— Да, конечно, больше говорить о Рыбникове не стоит, — сказал Александр Иванович беззаботно-наигранным тоном, не глядя мне в глаза. — Пойду разберу свои старые записные книжки и заметки в письменном столе, — сказал он, уходя в свою комнату. — Может быть, мне что-нибудь пригодится для работы.

А через неделю Куприн прочитал мне рассказ «Штабс-капитан Рыбников» [3].

— Ну, как ты находишь, удался мне Рыбников? — спросил он, кончив читать. — Верно я подметил характерные черты шпиона?

— Рассказ мне, конечно, понравился, Саша, но как ты назовешь его? Ведь нельзя же оставить его с фамилией находящегося на военной службе офицера, которому в рассказе приписана роль шпиона. Когда выйдет «Мир божий» и Рыбников прочтет его, он, конечно, очень обидится. Это может повлечь за собой крупную неприятность.

— Так и оставлю — «Штабс-капитан Рыбников». Я могу объяснить ему, что рассказ этот написан еще в прошлом году, и совпадение фамилий — простая случайность, которая встречается сплошь и рядом в жизни и в литературе. Примеров этому очень много.

В середине февраля 1906 года вышел январский номер журнала «Мир божий» с рассказом «Штабс-капитан Рыбников».

И так как события рассказа относились к предыдущему военному году, то объяснение, которое Александр Иванович давал совпадению фамилий действительного штабс-капитана Рыбникова и героя рассказа, было для всех убедительным.

Успех рассказа «Штабс-капитан Рыбников» поднял рабочее настроение Куприна.

— Пора перестать бездельничать, — решительно сказал он однажды. — Вот только не знаю, за что взяться, — давно манит меня мысль написать о беговой лошадке, но ведь о чем интересном ни подумаешь, обо всем написал великий старик. Пожалуй, напишу об одесском кабачке «Гамбринус». У меня о нем хорошие воспоминания. Придется поехать к Щербову в Гатчину и пожить у него *. Или эти две темы пока отложу и посмотрю мои киевские заметки. Они давно ждут очереди. Здесь, в Петербурге, мне напомнил о них Денакс. В Киеве, недалеко от пристани, в довольно большом полуподвальном помещении, находилась закусочная «Низок». Мы, грузчики, — в то время я работал в артели, разгружавшей баржи с арбузами, — мастеровые, преимущественно рабочий люд, заходили туда поесть и выпить кружку пива. Бывали там иногда и служащие.

---

* Последние два года Куприн дружил с известным художником Щербовым, у которого был большой дом в Гатчине. Одну комнату он предоставил в распоряжение Александра Ивановича. *(Прим. автора.)*

Сюда потихоньку забегали и девушки из дешевого публичного дома напротив. Выходить днем им было строжайше запрещено: хозяйка боялась, как бы они не напились к приходу гостей. Поэтому до вечера девушки должны были сдавать платье экономке. И все-таки, несмотря на бдительный надзор, в утренних линялых блузах они прибегали опохмелиться. Случалось, что некоторые из них и в самом деле напивались, несмотря на то, что за это их, нещадно избив, выгоняли из заведения и только в лучшем случае штрафовали.

Александр Иванович увлекся этой темой.

— Пожалуй, уезжать в Гатчину не стоит. Если ты никого из редакции не будешь ко мне пускать, даже Федора Дмитриевича, я могу работать и здесь.

Однако вплотную за эту повесть он не садился. Каждый день он с новыми подробностями обрисовывал мне всех действующих лиц повести «Низок».

— Ты невнимательно слушаешь меня, Маша, — както оборвал он свой рассказ.

— Я подумала, Саша, что «Низок», наверное, войдет в твой роман «Нищие»?

— Нет. «Нищих» я решил отложить. Это материал, который еще не созрел, к которому я не подготовлен. Я задумал «Нищих» как вторую часть «Поединка».

«Поединок» — это поединок Ромашова, то есть мой, с царской армией. «Нищие» — мой поединок с жизнью, борьба за право быть свободным человеком. Но как эта тема осуществится, я точно себе не представляю. И Горький с безжалостной правдивостью доказал мне это. Тогда я был оскорблен, не встретив у него дружеской поддержки, но потом, когда я вновь и вновь думал над его словами, я почувствовал в них правду. Пока буду писать о другом.

Занимала Куприна затея артистки Л. Б. Яворской поставить с благотворительной целью (с отчислением сборов в пользу революционных организаций) на сцене «Плоды просвещения» Толстого в исполнении только писателей. Яворская утверждала, что участие писателей увеличит интерес публики к спектаклю, хотя большинство из них не умело как следует ступить на сцене.

В самом деле, за несколько дней до спектакля не было ни одного билета, а в день спектакля в зале Павлова на Мойке шумела и ломилась во все двери толпа.

Александр Иванович играл повара. Он лежал на печке и кряхтел, время от времени поворачиваясь с боку на бок.

Неопытные артисты-литераторы невыносимо замедляли действие, а когда кто-нибудь из них поворачивался спиной к публике или шел не в ту сторону, раздавался возмущенный шепот В. В. Барятинского, мужа Яворской: «Куда! Куда!» Зал разражался бурным смехом и аплодисментами.

Куприну лежать на печи надоело. Он сел, свесил ноги, обутые в штиблеты, и как бы про себя произнес: «Покурить бы». Затем вынул из кармана серебряный, с модной тогда золотой монограммой портсигар и начал прикуривать. Зал загрохотал.

Очень хорошо играл Чириков мужичка, который приехал к барину с жалобой: «Куренка выпустить негде».

Таким образом, «силами писателей» спектакль окончился в два часа ночи.

Но настроение у публики и артистов было самое веселое.

— Хорошо бы сейчас проехаться по островам,— предложил Александру Ивановичу Барятинский.

— Да, конечно,— поддержала Лидия Борисовна.

У подъезда стояло много лихачей. Александр Иванович заметил знакомого.

— Егор Иваныч!— окликнул его Куприн.— Едем!

Александр Иванович, я, Барятинский, Яворская, Щепкина-Куперник и присяжный поверенный Карабчевский отправились на острова.

— Я очень проголодалась,— сказала Лидия Борисовна, когда мы возвращались. — Кажется, здесь на Каменноостровском есть ресторан, который открыт всю ночь. Да вот этот ресторан,— указала она на дом с ярко освещенным подъездом и велела остановиться.

— Сюда нам нельзя,— возразил Барятинский.— Это же вилла Роде. Дамам бывать здесь неудобно.

— С мужьями — ничего,— вмешался Куприн.

В вестибюль вышел хозяин. Он раскрыл перед нами дверь в громадный зал и провел нас в большой отдельный кабинет.

Поэтому зал со стоящими вдоль стен столиками, эстрада с оркестром и танцующие посреди пары только мелькнули перед нами.

В глубине кабинета мы увидели арку, плотно задернутую темно-малиновым плюшевым занавесом.

— А что там? — заинтересовалась Яворская.

— Ничего интересного — зеркало и умывальник, — ответил ей муж.

Но она все-таки встала и дернула за кисть шнура.

Занавес раздвинулся. Там оказалась огромных размеров низкая кровать с откинутым одеялом, застланная белоснежным бельем. Лидия Борисовна молча задернула занавес.

Ужин подходил к концу, выпита была не одна бутылка шампанского, когда в дверях неожиданно появилась женская фигура.

— Можно войти? — спросила она.

— Женя! — с изумлением воскликнула Яворская.

— Я сразу узнала тебя, Лидия, как только ты появилась. Я бываю на всех пьесах, в которых ты выступаешь, и восхищаюсь твоей игрой. У нас в гимназии все ведь говорили, что ты будешь известной артисткой.

— Моя гимназическая подруга Н., — обратилась Лидия Борисовна к присутствующим. — Ты, конечно, с мужем, Женя. Познакомь и его с нами.

— Нет, я одна, и только хотела сказать тебе, как счастлива ты, что у тебя такой талант. Прощай.

* * *

В январе 1906 года, когда Куприн после «Поединка» стал знаменит, к нам неожиданно явились два офицера Семеновского полка: Назимов и князь Касаткин-Ростовский. Они вернулись из Москвы после подавления в Москве и Голутвине декабрьского восстания. Беседа продолжалась более двух часов. Назимов был очень взволнован.

— Только вы — автор «Поединка», поймете меня. И с вами я могу быть откровенным, — обратился Назимов к Куприну. — Наш полк внезапно отправили в Москву, где мы узнали о восстании. Знаю, что такое война, когда перед тобой враг и ты обязан в него стрелять, если не хочешь быть убитым. Но стрелять в людей, непричастных к военным действиям, стрелять в женщин и детей — это ужасно!

— Ты помнишь, — повернулся Назимов к Касаткину, — как выволокли и расстреляли девушку только за то, что из ее дома восставшие открыли огонь!

Касаткин-Ростовский старался успокоить Назимова. Куприн предложил ему стакан сельтерской с коньяком.

— Александр Иванович, — продолжал Назимов, — я день за днем записывал все в отдельную тетрадь. Хочу принести ее вам. Мы вместе прочтем и тогда решим, что делать дальше...

Куприн долго ждал Назимова с этой тетрадью, но Назимов не появлялся.

Весной 1906 года, случайно встретив Касаткина-Ростовского в вагоне-ресторане, Александр Иванович спросил о Назимове.

— Назимов болен, у него тяжелое нервное расстройство, — сказал Касаткин, — его отчислили на год из полка и отправили лечиться за границу. Конечно, он в полк больше не вернется.

Рассказывая мне о встрече с Касаткиным-Ростовским, Александр Иванович очень жалел, что не познакомился с записями Назимова.

ГЛАВА XXXVIII

Лето 1906 года в Даниловском. — Е. М. Гейнрих. — Отъезд и устройство в имении Ф. Д. Батюшкова. — Письма Куприна из Даниловского. — Визит баронессы Штемпель. — Нога предка. — Осмотр окрестностей. — «Река жизни». — «Обида». — Куприн о любви. — Приезд Батюшкова в Даниловское. — У Сипягиной-Лилиенфельд. — Кесьма. — Запрещение «Мира божьего». — Возвращение в Петербург.

Ранней весной, как обычно в это время, возник вопрос, куда ехать на лето.

Я намеревалась поселиться опять около Луги, но Ф. Д. Батюшков в чрезвычайно соблазнительных красках рисовал Куприну свое имение Даниловское в Новгородской губернии, отстоящее в девяноста верстах от ближайшей железнодорожной станции. Он рассказывал, что это такой глухой угол, где еще водятся медведи и средь бела дня можно повстречаться с волком.

— Вот уж туда ко мне никто не приедет, — обрадовался Александр Иванович. — И там, хочешь не хочешь, а писать будешь. Поедем туда, Маша.

У меня большой охоты ехать в Даниловское не было, но я знала, что, если Александр Иванович забрал себе что-нибудь в голову, он не даст мне покоя. Но так как его весной обычно начинало тянуть к морю, он отправился сначала в Одессу погостить у художника П. Нилуса.

В конце апреля ко мне зашла Елизавета Морицевна Гейнрих. С Лизой я была дружна в детстве, когда она жила у нас.

Ее старшая сестра Мария Морицевна Абрамова, гражданская жена Д. Н. Мамина-Сибиряка, после тяжелых родов, просила А. А. Давыдову быть крестной матерью родившейся у нее девочки Аленушки [1]. На следующий день Мария Морицевна в больнице умерла, и Александра Аркадьевна, как крестная мать, взяла Аленушку к себе. Ее воспитательницей стала Ольга Францевна Гувале (с 1900 года жена Мамина-Сибиряка).

Вскоре Мамин сказал Александре Аркадьевне, что у него есть еще один ребенок — младшая сестра Марии Морицевны — Лиза. До девяти лет она воспитывалась в деревне у бабушки, а с переездом Марии Морицевны в Петербурге жила у Мамина-Сибиряка.

— Привезите девочку к нам, — сказала Александра Аркадьевна [2].

Лиза стала жить у нас. Ей было тогда десять лет, но ни читать, ни писать она не умела.

Лидия Карловна Туган-Барановская начала готовить ее в гимназию [3]. Учеба в гимназии давалась Лизе с большим трудом, и учиться она не хотела.

Когда Мамины переехали в Царское Село, Ольга Францевна устроила ее в профессиональную школу, где обучали кройке и шитью и давали общее образование в объеме четырех-пяти классов [4].

После профессиональной школы Лиза поступила в Георгиевскую общину на Суворовском проспекте и стала сестрой милосердия.

Началась русско-японская война. В феврале 1904 года Георгиевская община направила Елизавету Морицевну на фронт [5]. В Маньчжурии она влюбилась в военного врача, грузина, и стала его невестой.

Война кончилась. К зиме 1905 года Елизавета Морицевна вернулась в Петербург и поступила медицинской

сестрой в одну из больниц, ожидая жениха, который должен был приехать в Петербург, познакомиться с ее родственниками и жениться на ней. Но он не приехал.

Отношения с Ольгой Францевной и Аленушкой у Лизы были натянутые, моральное состояние подавленное. И вот в один из апрельских дней 1906 года она пришла ко мне с просьбой взять ее к себе на дачу.

— Мы собираемся в Даниловское, если хочешь, едем с нами.

— Я могу помогать тебе по хозяйству и присматривать за Лидочкой, — сказала Лиза. — И думаю, тебе не трудно будет платить мне двадцать пять рублей в месяц.

В первых числах мая я с Лидочкой, Лизой, няней и дядей Кокой поехали в Даниловское.

Вскоре, заехав в Москву за Любовь Алексеевной, в Даниловское прибыл и Александр Иванович.

Даниловское сразу мне не понравилось. С одной стороны к дому примыкал липовый парк. Деревья в нем были очень старые, громадные. Солнечный свет сквозь листву почти не проникал, и даже днем там было сыро и мрачно. Вода в пруду, расположенном в центре, казалась совершенно черной.

Много лет имение было в аренде у богатого священника соседнего уезда. Когда закончился арендный срок, он выкопал и перевез в свое имение всю белую акацию и декоративные кусты, оголив таким образом ветхий забор, который отделял парк от кладбища и старинной церкви.

Из дома он вывез обстановку карельской березы и красного дерева, бронзовую люстру, подсвечники, горку с фигурками из старинного фарфора, все сервизы, туалет, зеркало.

В имении давно никто не жил, в доме было неуютно, пахло сыростью и мышами. Комнат было много, но почти все проходные, и разместиться большой семье было трудно. Заколотив и завесив часть дверей, нам все же удалось выделить помещение для мамаши, дяди Коки и детской.

Библиотека Федора Дмитриевича была светлой комнатой с большими окнами в палисадник. Здесь он жил во время своих недолгих приездов на охоту. Занимать ее нам было неудобно.

— Нет, здесь я работать не смогу, — сказал Александр Иванович. — Библиотека — слишком большой соблазн. С работой будет покончено. Я устрою себе кабинет в чердачном помещении.

Тут же Александр Иванович заказал плотнику белый стол, такой, какой был у него в Петербурге.

Когда стол был помещен на чердаке, Александр Иванович писал Ф. Д. Батюшкову:

«Дорогой Федор Дмитриевич,

У Вас здесь великолепно. Низко Вам кланяемся и благодарим. Реку ищу второй день, но не могу найти. Впрочем, не отчаиваюсь.

...Внизу цветет сирень, в саду кричат птицы, — чудесно...

Жму Вашу руку.

Ваш *А. Куприн*»[6].

Первую неделю Александр Иванович за работу не садился, занимался хозяйственным устройством, о чем подробно информировал Федора Дмитриевича.

«...На пруду, что за скотным двором, я из Вашего материала... устроил купальню с длинными мостками на ней, а вместо стен оплел ее березовыми ветвями. Вышел премилый островок посередине пруда...

Также наладилось у нас с мясом, пивом и прочими прелестями. Словом — все образовалось. Теперь у меня остановка только за работою...

В субботу мы купим лошадь, а также возьмем напрокат шарабан в Устюжне. Это все будет стоить пустяки, а лошадь покормится, и потом ее можно будет продать с барышом даже...

Жена и дочь шлют Вам поклон. Я крепко, крепко жму Вашу руку. Приезжайте! Ваш *А. Куприн*».

Получив это письмо, Ф. Д. Батюшков счел своей обязанностью устранить те неудобства нашей жизни в деревне, о которых он раньше не подумал. Он занялся приобретением выездной коляски, лошади, купил новую упряжь и прислал Александру Ивановичу охотничье ружье.

Такая щедрость начала раздражать Куприна, и он в шутливой форме писал ему:

«Дорогой Федор Дмитриевич!

Пощадите!

Вы положительно изливаетесь на нас дождем из ружей, экипажей, консервов, конфет, бисквитов и т. д. Мария Карловна делает мне за это сцены. (При чем здесь я?) А я все думаю: вот Вы из-за нас разоритесь, будете жить в одной комнате наверху 6-этажного дома под железной крышей (ход через жильцов), будете готовить себе сами обед на керосинке и вести дела литературного фонда при свете стеаринового огарка. Даниловское перейдет в руки лавочника Образцова из с. Никифоровского. Пруды заглохнут, парк вырубят. И все это из-за Вашей бесконечной любезности.

Нет, Федор Дмитриевич, будемте умереннее и бережливее. Очень Вас прошу об этом...

Кончится тем, что мы с женой рассердимся и вдруг сразу пришлем Вам фортепьяно, фребелевский билиард, лаун-теннис, телескоп, pas des géants *, автомобиль, и все это — наложенным платежом!!!..

Ваш *А. Куприн*».

В пяти-шести верстах от Даниловского находилось большое имение барона Штемпеля, немца, женатого на русской. Штемпель был образцовым хозяином. Его лес был расчищен с немецкой аккуратностью, и на всех больших деревьях определенного объема, в нескольких местах на коре, были выбиты машинкой номера, чтобы после порубки леса можно было сразу обнаружить вора.

Барон давно обращал внимание Батюшкова на то, что имение его не только не дает дохода, но приносит ежегодно убыток. Чтобы привести Даниловское в порядок, он порекомендовал Федору Дмитриевичу в качестве управляющего немца, знающего сельское и лесное хозяйство.

Немец-управляющий сразу начал вводить новые порядки. Он нанял сторожа-лесника и выстроил в лесу сторожку. Фруктовый сад сдал в аренду устюженскому лавочнику, а тот привел овчарок.

Но при первой же попытке препятствовать рубке леса крестьяне избили лесника и грозились сжечь сто-

* гигантские шаги *(франц.)*.

рожку. А когда овчарки искусали в фруктовом саду нескольких мальчишек, Федор Дмитриевич просил управляющего не нарушать привычных патриархальных порядков в его имении; но немец не обращал на его распоряжения никакого внимания. Тогда Ф. Д. Батюшков был вынужден с ним расстаться.

Затея барона Штемпеля сделать имение доходным кончилась тем, что Батюшков вернул лавочнику деньги за аренду сада.

Мы застали уже другого управляющего, молодого, доброго, флегматичного И. А. Арапова. Хозяйства никакого не велось — почти вся земля сдавалась в аренду крестьянам, — а яблок, груш и слив хватало и на управляющего, и на деревенских ребят.

Батюшков успокоился, и все были довольны. Сохранилось только стадо коров. Оно существовало, видимо, для ландшафта, — так же, как и русская рубаха и высокие сапоги, в которые переодевался по приезде в деревню Федор Дмитриевич. Молоко отправляли по баснословно низкой цене на сыроварню барона Штемпеля.

В мае к нам в Даниловское заехала с коротким визитом баронесса И. П. Штемпель с сестрой и племянником-лицеистом.

«...Они застали нас одичалыми, растолстевшими от деревенского воздуха и деревенского молока, вялыми, сонными, почти разучившимися говорить, распоясавшимися от жары и от лени...» — сообщал Александр Иванович Батюшкову.

Перед отъездом баронесса Штемпель пожелала посмотреть нашу дочь. Елизавета Морицевна привела Лидочку.

— У нашей Лидочки хороший слух, — сказал лукаво Александр Иванович.

— Люлюша, спой частушку.

У меня есть папа,
У меня есть мама.
Папа много водки пьет,
Его за это мама бьет.

Эта частушка Александра Ивановича была для меня неожиданностью.

В Даниловском песни не пели, а только частушки, смешные, нелепые, глупые, но они нравились Куприну. Он в большом количестве выдумывал их сам и пел под аккомпанемент гитары.

* * *

Однажды, рассматривая книги в библиотеке Федора Дмитриевича, мы с Александром Ивановичем заметили на нижней полке какой-то длинный ящик. Когда мы выдвинули его, оказалось, что он заколочен.

— Посмотрим, что в нем, сейчас принесу молоток.

— Да зачем же, — отговаривала я, — что за любопытство.

Но Александр Иванович уже отбивал крышку.

В ящике оказалась деревянная нога — гигантский протез, который мог принадлежать человеку огромного роста.

— Вот так штука, — присвистнул Александр Иванович. — Даже нога предка имеется тут.

Оказалось, что это действительно был протез кого-то из семьи Батюшковых, лишившегося ноги в 1812 году[7].

— Следовало бы, однако, предать ее христианскому погребению. Поговорим в воскресенье с нашими иереями, — весело сказал Куприн, потирая руки.

По старому обычаю, по воскресеньям после обедни духовенство обедало в помещичьем доме.

Обычай этот захотел восстановить Александр Иванович, несмотря на то, что в церкви у обедни мы не бывали.

Тем не менее в первое же воскресенье Александр Иванович послал слугу дяди Коки — Якова Антоновича — пригласить к нам на воскресный пирог не только батюшку и дьякона, но и псаломщика.

Поданные для водки рюмки отец дьякон сразу отверг и сказал:

— Нам бы другую посудину. Здесь и выпить-то всего ничего.

Недоволен он остался и стаканами и просил дать чашки.

Когда пирог был съеден, а влаги выпито весьма достаточно, Александр Иванович обратился к священнику:

— А что, батя, не предать ли ногу христианскому погребению? Ведь нехорошо, что покойник лежит в могиле без ноги, а нога в доме. Вот как раздается ночью стук и треск полов, супружница моя пугается. Будит меня и говорит: «Саша, это что же, «скарлы-скарлы, нога липовая» ходит?»

— Нда-а, — протянул священник, — соблазн, соблазн. Может, оно и ходит.

Но тут появились празднично одетые молодые девушки, посланные матушками за отцами, которые, чтобы вернуться к себе на Попиху, нуждались в поддержке.

* * *

Сразу после приезда Александр Иванович приступил к осмотру окрестностей.

«Вчера я ездил в Высокий лес с управляющим, — писал он Ф. Д. Батюшкову. — Там чудесно. Миллиарды ландышей. Огромные кулики, каких я никогда в жизни не видал. Они даже парят в воздухе, держа крылья неподвижно несколько секунд. Говорят, есть там также рябчики, тетерева, бекасы и утки. Я с лесником Иваном уже подружился».

Во время прогулок, после утреннего чая, мы обошли с ним деревни Никифорово, Трястенку, Круглицы, Козлы, Звонцы, отстоявшие недалеко от усадьбы. Решались мы и на далекие путешествия. Ходили на мельницы, стоявшие на реке Звони и лесных речонках, Ижени и Ворожe.

— Вот что, Маша, — сказал как-то Александр Иванович, — теперь жара и, говорят, везде сухо. Болото возле Высокого, наверное, подсохло, и можно пробраться в глубь этого таинственного, как называет его Федор Дмитриевич, «девственного» леса.

Дороги на Высокое мы не знали, поэтому Куприн решил зайти сначала в лежавшую на пути деревню Бурцево и расспросить там лесника Ивана, как пройти дальше. Ивана мы не застали. Он, по словам жены, ушел к свояку в Окунево, где в тот день варили пиво. Но она подробно объяснила, у какой березы надо повернуть на тропинку через поле и где дальше, у большого камня, будет поворот на правую руку, а тут тебе и Высокое.

Мы добрались до леса. Он был очень запущен. Всюду виднелись неряшливые порубки. Лес никем не охранялся, и крестьяне беспрепятственно вырубали его не только на дрова, но и на постройки.

Соседние помещики не раз указывали на это и Батюшкову, но он отвечал, что на доходность своего имения давно махнул рукой, предпочитая мир ссоре с крестьянами.

Мы шли дальше по едва заметной, заросшей тропинке. Лес становился гуще. Скоро тропинка заглохла, и сквозь чащу пришлось пробираться с трудом.

Солнце сюда не проникало, было сумрачно.

Я устала, хотелось отдохнуть, но сесть было негде.

— Пройдем еще немного, может, там будет полянка, и ты отдохнешь, — сказал Александр Иванович.

Но вышли мы совсем не на полянку, а к стоящему высокой стеной бурелому. Вперед и влево за ним ничего не было видно. Справа тянулось болото, затянутое ряской и водяными растениями. Конец его также где-то терялся. Пахло гнилью, и пронизывало холодной сыростью.

Мне казалось, что в этом буреломе скрываются звери. Они притаились и следят за нами.

— Какая жуть, Саша, уйдем скорее, я боюсь.

— Да, действительно, веселенькое местечко это Высокое. Пойдем, Маша, а то ты, пожалуй, схватишь малярию.

Теперь, кажется, спустил с себя не только семь потов, но и чуть ли не семь петербургских шкур и с завтрашнего дня начну на своем чердаке работать.

— Я бы чего-нибудь еданул, Маша, — на другой день после чая сказал мне Александр Иванович. — Хорошо немного заправиться перед работой. — И он с большим аппетитом съел яичницу и холодное мясо.

Через несколько дней, когда Александр Иванович после завтрака собирался идти наверх, я заметила, что блуза на нем странно топорщится спереди. Я подошла и одернула ее. И вдруг оттуда вывалилась небольшая подушка.

— Это что же такое?!

— На табурете сидеть слишком жестко, так я беру с собой подушечку.

— А вот я посмотрю сейчас, как ты там устроил свой рабочий кабинет.

— Да нет, зачем, лучше не ходи, Маша.

Но я уже шла по лестнице.

Оказалось, что около стены было густо уложено сено, покрытое каким-то рядном.

— Вот так рабочий кабинет!

— Видишь ли, я лежу, когда обдумываю, а потом незаметно засыпаю. После завтрака работа идет туго.

И со следующего дня с завтраками было покончено.

Теперь Куприн работал по-настоящему. Но на какой из прежних тем он решил остановиться, я не знала. Об этом он молчал. Когда мамаша его спрашивала: «О чем ты сейчас пишешь, Саша?» — он сердился.

Мне очень нравилось читать произведения Тургенева, Достоевского, Толстого в старых журналах «Современник» и «Отечественные записки», казалось, что они только сейчас написаны и изданы. Перечитывала также писателей и поэтов восемнадцатого века.

— Сегодня, Маша, я начну учить тебя играть в преферанс, — сказал Александр Иванович, входя в библиотеку. — На лужайке перед балконом, под тенистой березой, я приготовил ломберный стол. В ящике оказались мелки от попа-арендатора, и даже щетка, чтобы стирать записи после игры. Я понимаю, тебе не хочется уходить из библиотеки, но мама скучает без преферанса. Здесь не Крым и не дача под Петербургом, где у нас целые дни толкались гости, развлекавшие ее. Читать она долго не может — слишком слабы глаза. И единственное развлечение, к которому она привыкла во Вдовьем доме, — это преферанс. Что ты читаешь? — взял у меня из рук книгу. — А, Державин, — «старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил» [8].

Он захлопнул книгу и, сказав, «открою что-нибудь наугад», прочел:

Река времен в своем стремленье
Уносит все дела людей.
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей... [9]

— Какое великолепное стихотворение! Звучное, торжественно пышное, и в то же время полно глубокого со-

держания. Думал я о том, как назвать мой новый рассказ. Все казалось мне мелким и некрасивым. «Река жизни» — так он будет называться. На днях перепишу его еще раз и тогда прочту тебе, Маша.

В один из ближайших дней, когда мамаша после обеда пошла к себе отдыхать, Александр Иванович спустился сверху в нашу комнату и запер дверь на ключ.

— Сначала я прочту «Реку жизни» только тебе, Маша. А завтра буду читать для всего семейства.

Александр Иванович великолепно читал вслух. Слушать его доставляло большое наслаждение.

Мне казалось, что я вижу мадам Зигмайер и все ее семейство, особенно младших мальчуганов — Адьку и Эдьку, когда он читал: «Вон отсюда, разбойник, вон, босявка! Я все кровные труды на тебя потратила! Ты моих детей кровную копейку заеда-а-ешь!..» — «Нашу копейку заедаешь!» — орал гимназист Ромка, кривляясь за материной юбкой. «Заеда-аешь!» — вторили ему в отдалении Адька с Эдькой».

Когда Александр Иванович дошел до сцены, где поручик Чижевич явился с повинной, принеся с собой букет сирени, он на несколько секунд замолчал, а потом воскликнул:

— Ах, черт возьми, ведь вот что я упустил!

— Что?

— Вот, послушай. — И он, взяв со стола перо и чернильницу, сверху вписал: — «...принеся с собой букет наломанной в чужом саду сирени».

Александр Иванович весело смеялся.

— Понимаешь, Маша, какая разница?! Букет — это прилично. Это действительно букет. А представляешь себе, как он лез в чужой сад, ломал поспешно и беспорядочно ветки, как потом удирал. И ведь это был не букет, а просто веник, наломанный в чужом саду.

Часто взглядывая на меня и замечая, что мне особенно что-нибудь нравится, Александр Иванович охотно останавливался и снова прочитывал абзац. Видно было, что эти строки ему и самому нравятся.

— Что та-ко-е? Кто это вам здесь за Нюничка! — презрительно обрывает его хозяйка. — Всякий гицель, и тоже — Нюничка! — прочитывал он сначала ворчливо, а потом смеясь.

Последнюю главу, где появляется студент и близится трагическая развязка, Александр Иванович дочитал, нигде не останавливаясь. Он кончил. Мы молчали.

— Так что же, Маша? — наконец нетерпеливо спросил он. — В чем дело?

— Ты отлично знаешь сам, в чем дело. То, что ты пишешь о детстве, о своей матери, для нее оскорбительно. Она не виновата. Ей, урожденной княжне Кулунчаковой, пришлось выйти замуж за мелкого чиновника, после его смерти она осталась без копейки; ей пришлось сломить свою гордость, свой прямой, независимый характер из-за детей. Их надо было воспитывать и учить на казенный счет: твоих старших сестер поместить в институты, а тебя в Разумовский пансион, где воспитывались сироты заслуженных военных, и затем в корпус и военное училище. Только материнская любовь поддерживала ее. А ты — ты думаешь только о себе, о своих детских обидах. У тебя хватило духу написать: «Я проклинаю свою мать». А мелкий эпизод со старым портсигаром, где она прикладывает его к лицу и говорит: «А вот нос моего сыночка Левушки». О нем знаем ты, я и сама мамаша. Она сразу поймет, что ты рассказываешь о ней. Это невозможно.

Ты должен все смягчить так, чтобы это не носило портретного сходства.

Александр Иванович ходил по комнате. Я плакала.

Следующее чтение рассказа Александр Иванович на время отложил. И после обеда мы подологу играли в преферанс. Игра шла на деньги, но с тем расчетом, чтобы выигрыш или проигрыш не превышал тридцати пяти копеек.

В чем заключался этот расчет и «по какой» мы играли, я и посейчас понять не могу — таким сложным мне это казалось. Но так играли во Вдовьем доме.

Любовь Алексеевна всерьез сердилась и бросала карты, когда Александр Иванович школьничал, — вдруг под конец игры из колоды отыгранных карт незаметно вытаскивал козырного туза и шел с него.

Так неторопливо шли дни.

— Что же, Саша, когда, наконец, ты прочтешь нам свой рассказ? — спросила Любовь Алексеевна.

— Рассказ? Хорошо, я прочитаю его сейчас.

Вычеркнул Александр Иванович из рассказа очень мало. Только фразу, что он проклинает свою мать, и еще одну о том, что после посещения богатых подруг мать была ему настолько неприятна, что он вздрагивал от звука ее голоса.

Эпизод с портсигаром он оставил. И когда после него он продолжал читать дальше, у Любови Алексеевны затряслась голова, она поднялась с кресла и вышла из комнаты.

Когда я укоряла Александра Ивановича, что он почти ничего не изменил, он говорил:

— Я должен был написать об этом подлом времени молчания и нищенства и этом благоденственном мирном житии под безмолвной сенью благочестивой реакции. Дать правдивую картину этого прошлого я не мог, не описав того, что пережил сам.

Долго сердиться на сына Любовь Алексеевна не могла. Для своего Саши она готова была перенести все. Он уверил ее в том, что ему воспоминания эти были так же тяжелы, как и ей, но вновь пережить это ему — писателю — было необходимо.

Возобновился наш послеобеденный преферанс, сопровождавшийся веселыми шутками и карточными фокусами Александра Ивановича.

Вспомнив, что среди Лидочкиных игрушек имеется подаренный ей Федором Дмитриевичем музыкальный ящик, Александр Иванович заводил вальс, и мы танцевали. Я была мадам Зигмайер, а Александр Иванович то поручик Чижевич, то околоточный. И тот и другой удавались ему превосходно.

Шестнадцатого июля 1906 года я выслала в «Мир божий» «Реку жизни». «...Заглавие несколько пышное, но рассказ удачен... Александр Иванович просит скорее набрать и выслать корректуру для правки», — писала я.

— Теперь напишу что-нибудь веселое, — сказал Александр Иванович, отправляясь к себе наверх.

На этот раз работа заняла у него мало времени.

— Хотите послушать мою новую вещь — «Обиду»? — предложил он.

Содержание рассказа состояло в том, что делегация воров от местной одесской организации является в комиссию адвокатов, которая бесплатно ведет дела жителей, пострадавших от последнего еврейского погрома.

Председатель делегации выступает с речью, в которой с большой горячностью опровергает от лица своих товарищей обвинение в участии воров совместно с полицией в еврейском погроме.

«Нет, господа, — это клевета, колющая нас в самую душу с нестерпимой болью, — восклицает он, — ни деньги, ни угрозы, ни обещания не сделают нас наемными братоубийцами или их пособниками...»

— Что же, Маша, хочешь этот рассказ, как и «Реку жизни», для «Мира божьего»?

— «Река жизни» хороша, и после нее печатать «Обиду» не стоит. Лучше отдай в какой-нибудь еженедельник [10].

— Так вот как... Значит, рассказ не нравится.

— Нет, он мне нравится, но сравнивать его с «Рекой жизни» нельзя. Скорее, это фельетон, а не рассказ.

— Ты угадала, Маша. Это газетный материал. Я прочитал небольшую заметку о подобном случае в одной из одесских газет и, представив себе это забавное зрелище, сел за рассказ. Я люблю старинное слово «самовидец». Теперь вместо него в официальных бумагах пишут — «свидетель». Будь я «самовидцем» этого заседания, рассказ вышел бы иным. Но и этот, признаться сказать, все-таки неплох, хотя ты и отвергаешь его.

Однако рассказ имел успех, в чем я убедилась впоследствии.

Когда мне приходилось куда-нибудь ехать в поезде, то почти не было случая, чтобы какой-нибудь словоохотливый пассажир не говорил: «А вот я расскажу вам замечательный случай». И он своими словами пересказывал «Обиду», что-то пропуская или добавляя от себя.

* * *

Летом 1906 года Ф. Д. Батюшков приезжал в Даниловское несколько раз.

Первый раз он «гостил» у нас вскоре после нашего переезда.

Когда Батюшков уехал, Александр Иванович писал ему:

«Без Вас, Федор Дмитриевич, очень стало скучно. Вы нас всех взвинчивали. Я в Ваше отсутствие распустился, и меня все упрекают, отчего я не держусь так,

как при Вас. И в самом деле, отчего бы Вам, Федор Дмитриевич, не приехать недели на 3—4? Журнал ведь учреждение незыблемое, и только Ваша щепетильность заставляет Вас быть так постоянно на страже его интересов. Между тем это дело божие, и растет оно, как трава, само по себе...

Теперь о любви. Я раньше всего скажу, что никаким афоризмом этого предмета не исчерпать...

Лучше всего определение математическое: любовь — это вечное стремление двух равных величин с разными знаками слиться и уничтожиться (прибавлю от себя — в сладком безумии). Когда Вы говорите + 1 и рядом думаете о—1, то не чувствуете ли Вы между ними какого-то неудержимого безумного тяготения? Но глубочайшая тайна любви именно и заключается в том, что в результате получается не 0, а 3.

Любовь — это самое яркое и наиболее понятное воспроизведение моего Я.

Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте, не в голосе, не в красках, не в походке, не в творчестве выражается индивидуальность. Но в любви. Ибо вся вышеперечисленная бутафория только и служит что оперением любви...

Что же такое любовь? Как женщины и как Христос, я отвечу вопросом: «А что есть истина? Что есть время? Пространство? Тяготение?..»

Но для того, чтобы за одной из деталей скрыться от целого, и у меня есть афоризмы:

Любовь похожа на цветы: только что сорванные — они благоухают, но назавтра их надо выбросить.

Или: Больше, чем все другое в мире, любовь заключает в себе полюсы уродства и красоты.

Или: В любви бесстыдство и стыдливость почти синонимы. И т. д.

Предоставляю Марии Карловне слово из боязни заболтаться.

Ваш душевно *А. Куприн*».

* * *

Во второй половине июля Ф. Д. Батюшков опять ненадолго приехал в Даниловское.

Недалеко от Даниловского находился небольшой ху-

Лидия Куприна 5-ти лет. Фото А. И. Куприна.

тор «Свистуны», принадлежавший Вере Уваровне Сипягиной-Лилиенфельд, известной пианистке, профессору Петербургской консерватории, которую она окончила во время директорства моего отца К. Ю. Давыдова. Она изредка навещала мою мать. Но после смерти Александры Аркадьевны наше знакомство прервалось. Узнав от Батюшкова, что я с семьей поселилась на лето в его имении, она приехала в Даниловское возобновить знакомство.

Ей было далеко за сорок лет, а личная жизнь ее сложилась неудачно. Брак с морским офицером бароном Лилиенфельдом окончился трагически. После первой брачной ночи Лилиенфельд вышел из спальни Веры Уваровны и тут же застрелился. Вторично она замуж не вышла.

И вот теперь, когда она была некрасивой пожилой женщиной, она снова полюбила. Несмотря на большую разницу лет, она была со мной откровенна. «Он» был значительно моложе ее, настолько, что годился ей в сыновья, рано женился и обзавелся большой семьей. Владелец полуразоренного соседнего имения, он был малообразованным человеком, знал только сельское хозяйство и ни литературой, ни музыкой не интересовался. Но он был молод, красив, статен. С ее стороны это была любовь без настоящего и без будущего.

Когда мы бывали у нее, она всегда играла нам Шопена, Листа, Чайковского, Рубинштейна.

Через несколько дней Батюшков, очень рассеянный человек, вспомнил, что сестра Сипягиной просила его как можно скорее передать Вере Уваровне какой-то пакет.

— Поедемте в «Свистуны», — предложил он. — С Верой Уваровной разговаривать довольно скучно, но зато мы послушаем настоящую хорошую музыку, она замечательная пианистка.

В «Свистунах» мы застали и соседа Сипягиной — молодого помещика Н.

— А теперь, — обратился к хозяйке после вечернего чая Федор Дмитриевич, — мы нижайше просим доставить нам удовольствие послушать вас.

— Что же сыграть вам? — спросила она, садясь за рояль.

— «Аппассионату», — ответил Батюшков.

— «Аппассионату», «Аппассионату, — повторила она. — Я много лет ее не играю. Но, все равно... Попробую...

Я слушала ее игру и раньше — в концертах и здесь, дома. Исполнение ее при безукоризненно высокой технике было бездушно и не трогало. Поэтому я не ждала от нее проникновенного исполнения «Аппассионаты». Но в этот вечер она вложила в свою игру то трагическое чувство, каким была ее последняя безнадежная любовь, страдание, которое она должна была глубоко от всех таить. Так, как в этот вечер, никогда раньше она не играла. Ее лицо, освещенное свечами, стоявшими на рояле, было бледно, по щекам катились слезы.

Ее игра потрясла всех. Федор Дмитриевич сидел с низко опущенной головой.

В этот вечер Вера Уваровна больше не играла. Скоро мы попрощались с ней и уехали. Возвращались домой молча. Все были под тяжелым впечатлением большой трагедии, невольными свидетелями которой мы оказались.

Дома Александр Иванович долго ходил по комнате из угла в угол.

— Музыка, какая великая и жестокая сила, — наконец заговорил он. — Она помимо воли человека будит в нем забытые воспоминания и чувства, заставляет страдать или плакать от восторга.

Великий Старик все видел, все знал, все понимал и написал непревзойденную по силе «Крейцерову сонату».

— Сегодня вечером музыка как-то особенно подействовала на меня, — помолчав, продолжал Александр Иванович, — спать совсем не хочется. Ночь слишком светлая, лунная — пробегусь несколько раз по парку. А ты, Маша, ложись скорее и не жди меня — у тебя очень усталый вид.

Я проснулась около шести утра и с изумлением заметила, что одеяло и подушка на постели мужа даже не примяты, а самого его в спальне нет.

Торопливо надев капот, я хотела пройти на балкон, когда в комнату вошел Александр Иванович.

— Ты, наверное, после моего ухода сразу заснула, Маша, — сказал он. — А я встретил в парке Федора Дмитриевича, и мы с ним долго говорили. Он был со мной очень откровенен, и, не удивляйся, Маша, мы решили перейти на «ты»...

Даниловское Ф. Д. Батюшков унаследовал от своего дяди Помпея Николаевича Батюшкова. В 15-ти километрах от Даниловского, по другую сторону Мологи, в Кесьме находилось родовое имение Батюшковых. Федор Дмитриевич предложил нам поехать в Кесьму. Александр Иванович от этой поездки отказался.

— Я занят, пишу, Мария Карловна, может быть, поедет?

— Отчего же, можно поехать, — согласилась я.

Мы взяли с собой Николая Карловича и его слугу Якова Антоновича.

Из Кесьмы Федор Дмитриевич срочно выехал в Петербург.

В августовском номере «Мира божьего» Н. И. Иорданский поместил статью о Выборгском воззвании[11]. Журнал правительством был закрыт, а Ф. Д. Батюшков, как ответственный редактор «Мира божьего», привлечен к суду[12].

* * *

Лето подходило к концу, когда совсем непредвиденное обстоятельство нарушило беззаботное течение нашей жизни.

У моего брата была привычка не расставаться с заряженным револьвером. Его не останавливало даже то, что ему случалось неловким движением зацепить гашетку и револьвер начинал стрелять у него в кармане.

Однажды Николай Карлович предупредил Якова Антоновича, что собирается с его помощью после обеда почистить револьвер. Он спал дольше обычного, и Якову Антоновичу пришло в голову сделать ему сюрприз.

Он не знал, что, когда у браунинга бывает вынута обойма, одна, последняя пуля может остаться в дуле.

Поэтому, взяв браунинг со столика Николая Карловича, он стал его поворачивать, обернув дулом на себя.

Раздался выстрел. Пуля, задев бедро, вонзилась в стену.

Кровотечение удалось остановить. Александр Иванович немедленно поехал в Устюжну за врачом. Там в аптеке ему назвали двух лучших врачей — доктора Рябкова и еще одного — фамилию я забыла.

Захватив медикаменты, Рябков немедленно выехал с Александром Ивановичем в Даниловское.

Так началось знакомство Куприна с доктором Рябковым.

Доктора Рябкова и устюженское общество он описал в рассказе «Черная молния».

— Приготовь нам с доктором, Машенька, закусочки, — сказал Александр Иванович, потирая руки. — Доктор говорит, что ранение самое благополучное, какое могло быть, и Яков Антонович гораздо сильнее напуган, чем ранен. Надеюсь, у тебя найдется в погребе запас вина.

Доктор оказался весьма остроумным собеседником. Услышав о нашем семейном преферансе, он выразил желание принять в нем участие.

Преферанс длился до ужина. Кончилось дело тем, что Рябков так засиделся у нас, что остался ночевать.

Не торопился он уезжать и на следующий день. И только на третьи сутки за ним приехали жена и дочь. Но и все вместе они прогостили у нас еще два дня.

Незадолго до нашего отъезда из Даниловского Куприн начал писать «Как я был актером». Но заканчивал его в Петербурге.

ГЛАВА XXXIX

«Современный мир». — Балаклава. — Неожиданное появление Ф. Д. Батюшкова в Балаклаве. — Алушта. — «На глухарей». — Поэт А. Рославлев. — Знакомство с Сергеевым-Ценским. — «Профессорский уголок». — Возвращение в Петербург.

Сентябрьская книжка «Мира божьего» не вышла: журнал был запрещен. Но мы получили разрешение на издание с октября месяца журнала с новой программой. Нужно было придумать ему название.

На редакционном собрании присутствовал Куприн и Ф. Д. Батюшков, который, находясь под судом, ответственным редактором этого журнала быть не мог.

Придумать название было нелегко. Мы сравнивали, как из подобного положения выходили другие редакции. Например, «Русское богатство» с января 1906 года выходило под названием «Современные записки». А газета «Свободный народ» стала называться «Народная свобода».

— Последуем и мы их примеру, — сказал Кранихфельд, — и назовем наш «Мир божий» — «Божий мир».

— А я прочитал в «Новом времени», — вмешался

владелец типографии Монтвид, — что газета «Свободный народ» будет называться «Народный свобод».

— Тогда «Мир божий» можно назвать «Мир жобий» или «Жир мобий», — сказал, улыбаясь, Александр Иванович.

Все захохотали. Богданович постучал чайной ложкой по стакану и сказал:

— Товарищи, это совсем не смешно. Положение тяжелое.

— В таком случае можно «Рим жобий», — продолжал комбинировать Куприн.

— Александр Иванович, ты бы был серьезнее, — остановил его Батюшков.

Все переглянулись: Федор Дмитриевич впервые при всех обратился к Куприну на «ты».

Когда решили остановиться на «Современном мире», Богданович предложил:

— В первом номере необходимо написать, что мы удовлетворяем подписчиков «Мира божьего».

— И обязательно нужно написать — «вошодши в соглашение с «Современным миром», — сказал Монтвид.

— Если это писать, тогда «вошодца», — предложил Куприн.

Все, кроме Ангела Ивановича, не могли удержаться от смеха.

— Очень странно, что Александр Иванович наше серьезное и тяжелое положение превращает в балаган, — произнес серьезно Богданович.

Готовился первый номер «Современного мира». Подписка на журнал резко упала. В редакцию зашел Монтвид.

— Мария Карловна, сколько печатать «Современного мира»?

— На пять тысяч меньше, — ответила я.

— Вот и «вошодши в соглашение», — сказал Александр Иванович, — пока думали да гадали, подписчик тем временем и ушодца...

* * *

Куприн считал, что адмирал Чухнин, подав на него в суд за напечатанную в газете «Наша жизнь» корреспонденцию о севастопольских событиях, этим удовлетворился [1].

Он торопил меня с отъездом в Балаклаву.

Балаклавский кусок земли был куплен на мое имя.

— У нас будет не так, как у всех, — говорил Александр Иванович. — Мы сначала обработаем участок, разведем сад, а когда он разрастется — поставим дом.

В Балаклаве мы только успели на поплавке перед гостиницей «Гранд-Отель» заказать обед и послать сына Коли Констанди за Е. М. Аспизом, как появился пристав и объявил Куприну, что запрещение о въезде его в Балаклаву остается в силе и он немедленно должен выехать.

Но после переговоров с Е. М. Аспизом пристав согласился отсрочить отъезд на два часа.

После обеда Александр Иванович, Аспиз и я прохаживались по набережной и думали, куда же нам ехать.

Вдруг недалеко от нас остановился экипаж. Из него вышел Ф. Д. Батюшков с букетом цветов.

Разговор продолжался недолго. Мы выбрали Алушту. Тут же на набережной я сфотографировала Батюшкова, Куприна и Аспиза.

По пути в Алушту мы заехали в Мисхор, где в это время снимала дачу баронесса В. И. Икскуль. По моей просьбе она написала письмо адмиралу Чухнину. Это письмо я опустила в почтовый ящик в Ялте, но оно осталось без ответа.

В Алуште ни Александр Иванович, ни я раньше не были. Погода стояла холодная, и мы сняли комнату не у моря, а над шоссе на даче Юрковской.

Высылка из Балаклавы нарушила план, увлекавший Куприна, поздней осенью отправиться с рыбаками далеко в море за белугой, чтобы потом с новыми впечатлениями и силами начать писать. Заменить Балаклаву Алуштой не удалось — она не понравилась ни Александру Ивановичу, ни мне.

Здесь Куприн написал рассказ «На глухарей», который хотел выслать в керченскую газету как благодарность за опубликование в прошлом году его корреспонденции о севастопольских событиях в более подробном изложении [2]. Но сел он за этот рассказ не сразу: в Алуште находился поэт Рославлев — здоровенный верзила, пьяница и хулиган. Разъединить их было невозможно.

На берегу моря, у подножья горы Кастель, жила в своем громадном имении с великолепным парком и фонтанами Серафима Владимировна, единственная дочь московского миллионера Спиридонова, вдова моего дяди, Ивана Юльевича Давыдова. Рядом с ее имением стояли дачи профессоров, поэтому это место называли «Профессорским уголком» (ныне «Рабочий уголок»).

Куприна дома не было, и я решила навестить Серафиму Владимировну. По пути в «Профессорский уголок» я вспомнила, что в Алуште поселился Сергеев-Ценский. Несколько его рассказов печатались в «Мире божьем», но лично мы знакомы еще не были.

Узнав, что Сергеев-Ценский живет недалеко от «Профессорского уголка», я написала ему записку, в которой сообщала, что мы в Алуште и хотели бы с ним повидаться.

— Тетя, вот он сам идет! — сказал мне мальчик и побежал с запиской к Ценскому.

По улице навстречу шел человек высокого роста, в белой блузе с расстегнутым воротом и копной черных волос. Взяв записку, Ценский круто повернулся и пошел обратно. Я шла за ним.

— Сергей Николаевич! — крикнула я.

Он ускорил шаг, я за ним. Наконец мне это надоело, я села на низкий каменный заборчик и громко крикнула ему вслед:

— Дурак!

Ценский остановился, захохотал и медленно стал приближаться ко мне.

— Почему вы бежали? — спросила я, когда он поравнялся со мной.

— Почувствовал робость перед издательницей толстого журнала.

— Что за глупость. А как вы узнали меня?

— Догадался. Сейчас на набережной познакомился с Александром Ивановичем. Он сказал, что приехал с женой.

Ценский проводил меня до «Профессорского уголка» и просил на следующий день зайти к нему с Александром Ивановичем.

Сергеев-Ценский был холост, жил в недостроенном одноэтажном доме из трех комнат. Две были светлые, а третья, между ними, темная. Здесь висел во всю стену

его портрет, написанный маслом. В темном помещении это производило неприятное впечатление.

— Зачем вы при жизни поместили себя в склеп? — спросила я.

Ценский промолчал.

После осмотра дома он повел нас в сад. Террасы еще не было, и мы вышли прямо на дорожку, посыпанную гравием. Сад был совсем молодой, и угостить нас фруктами из собственного сада хозяин не мог.

Визит был коротким. Общих знакомых у нас не было: Ценский еще ни разу не был в Петербурге. В саду за столом Александр Иванович рассказал о литературных и издательских делах, я пообещала Ценскому издать его рассказы. Прощаясь, просили его — пока мы в Алуште — заходить к нам запросто, и, конечно, будем рады видеть его в Петербурге [3].

Ценский ни разу к нам на дачу не зашел. Но мы ежедневно встречались на набережной. Нужно сказать, что Куприн и Ценский с первой же встречи почувствовали друг к другу неприязнь. Поэтому, когда фотограф сделал снимок — Куприн и Сергеев-Ценский на набережной в Алуште, — Ценский немедленно выкупил у фотографа негатив и уничтожил его. В моем альбоме этот снимок некоторое время находился, но потом затерялся.

Возвращение в Петербург было невеселым.

— Черный туман Петербурга поглощает мои творческие и жизненные силы, — говорил Александр Иванович. — Чтобы сесть за письменный стол в этой угнетающей меня серой мгле, я должен делать героические усилия воли.

ГЛАВА XL

Три пародии. — Приезд в Петербург Сергеева-Ценского. — Чтение «Штабс-капитана Рыбникова». — Отъезд Куприна в Даниловское. — Портрет Л. Н. Толстого. — Переписка Куприна с Ф. Д. Батюшковым. — «Гамбринус». — «Путешественники». — Возвращение в Петербург.

В одно из воскресений 1906 года (кажется, это было в ноябре месяце) Александр Иванович после завтрака в веселом настроении сказал мне:

— Маша, я тебе немного подиктую.

Он принес бумагу, чернила и, расхаживая по комнате, начал диктовать. Это были три пародии, посвященные Бунину, Горькому и Скитальцу [1].

Когда Александр Иванович диктовал мне с листа посвящение Скитальцу, в столовую вошел Илья Василевский — редактор газеты «Понедельник».

Александр Иванович махнул рукой: «Не мешай, сейчас кончим».

Я колокол! Я пламя! Я таран!
Безбрежен я и грозен, точно море!
Я твердый дуб! Я медный истукан!
Я барабан в литературном хоре!

Я вихрь и град! Я молния и страх!
Дрожите ж вы, наперсники тиранов!
Я утоплю вас всех в моих стихах!
Как в луже горсть презренных тараканов!

— Вот видите, я предчувствовал, что мне нужно к вам зайти, — сказал Василевский, прослушав все три пародии.

— Это шутка. Александр Иванович не собирается их печатать.

— Нет, почему же? — улыбался Куприн. — Сколько дадите? Двести рублей дадите?

— За штуку? — спросил Василевский.

— Да.

Редактор вынул из кармана бумажник, отсчитал шестьсот рублей и положил на стол.

— Возьми, Маша, — сказал Александр Иванович, — купишь себе разной хурды-мурды.

Так впервые в газете «Понедельник» появились купринские пародии на Бунина, Горького и Скитальца [2].

Бунин при встрече с Куприным молчал. А мне горько выговаривал: «Почтеннейший друг мой, как вы это допустили? Это же свинство».

— Не только допустила, но всячески поощряла и делала вид, что очень радуюсь. Только теперь, когда Александр Иванович отомстил вам за вашу остроту, что он дворянин «по матушке», у него отлегло от сердца и он любит вас по-прежнему.

Бунин кивнул головой и сказал: «Так, теперь я все понял».

* * *

Зимой 1906 года Сергеев-Ценский впервые приехал в Петербург и остановился в гостинице «Пале-Рояль».

В один из декабрьских дней мы пригласили к обеду гостей. Стол был накрыт на двенадцать персон. Пришел и Сергеев-Ценский.

После обеда Александр Иванович читал «Штабс-капитана Рыбникова».

Ценскому рассказ показался незаконченным, половинчатым, и он, показывая на стол, сказал:

— Это все равно, если бы вы подали к столу только хвост или одну голову от селедки.

Куприн пришел в бешенство, схватил край скатерти и сбросил всю сервировку на пол.

* * *

Вскоре Александр Иванович уехал в Даниловское, откуда писал, что в доме очень холодно, и просил прислать ему печку.

У нас гостил приехавший в отпуск из Балаклавы Е. М. Аспиз. Батюшков и я решили отправить Евсея Марковича в Даниловское и послать с ним от Федора Дмитриевича волшебный фонарь для школы, от меня — печку.

За два дня до отъезда Аспиза в Даниловское в редакцию «Современного мира» зашел неизвестный приезжий. Он хотел видеть Куприна, но, узнав, что Александра Ивановича в Петербурге нет, оставил в редакции пакет для передачи мне. В пакете лежал только портрет Л. Н. Толстого с надписью: «А. И. Куприну. Лев Толстой».

Куприн, получив портрет Толстого, волшебный фонарь и печку с моей запиской, писал Ф. Д. Батюшкову:

«Дорогой Федор Дмитриевич.

...Я чувствую себя недурно, хотя молчание Марии Карловны или, что все равно, ее коротенькие бессодержательные записочки — меня немного волнуют и беспокоят, и я не могу приняться за работу (...).

Напиши мне, прошу тебя, о Марии Карловне. Ты знаешь все, что меня интересует. Потому что я, вопреки моим героическим решениям [3], уже тоскую и скулю. В Даниловском мне все-все напоминает лето, и ее, и

Люлюшку. Ты ведь понимаешь всю горькую сладость и неисходную тихую печаль этих воспоминаний... Фонарь и все прочее получил...

...Брюсов прислал мне стихи, и отличные. Ради бога, повлияй на редакцию, чтобы их приняли. Я их завтра пересылаю в Спб (...).

Целую тебя. Твой сердечно

А. Куприн».

В последних числах декабря 1906 года Ф. Д. Батюшков уехал на юг Франции.

Куприн сообщал ему из Даниловского в январе 1907 года:

«...Живем скучно. Я кое-что пишу. Написал для «Тропинки» детский рассказ «Слон». Пишу теперь для «Мира божьего»...

У меня ревматизм в костях, Кикин[4] отморозил ухо, Яков[5] — палец, Евсей[6] — щеку. Мороз доходит до 35°».

Я приехала в Даниловское в середине января. Александр Иванович заканчивал для «Мира божьего» рассказ «Гамбринус». Евсея Марковича Аспиза в Даниловском уже не было. Оставался здесь мой больной брат, Николай Карлович Давыдов, и его слуга Яков.

Погода стояла морозная, и в те часы, когда Куприн работал над рассказом, Николай Карлович и я сидели рядом в комнате и играли в «Путешественники». Маршруты выбирали по немецкому железнодорожному справочнику «Reichskursbuch», в котором сообщались все необходимые для путешественника сведения о железнодорожных станциях, населенных пунктах и городах не только Германии, но и тех стран, с которыми Германия имела прямое сообщение.

Николай Карлович до болезни часто бывал за границей.

После смерти отца (Карл Юльевич умер без завещания), он получил по наследству около 50 000 рублей, сдружился с сыном миллионера, князем Демидовым-Сан-Донато, и этих денег ему хватило ненадолго.

Окончательно запутавшись в долгах, Николай Карлович в 1895 году уехал в Зайсан Семипалатинской области, где служил начальником таможенного округа.

Спустя два года, на масленицу, его пригласили на блины за 50—60 верст. Ехать нужно было через озеро

Зайсан. Не доезжая до противоположного берега, сани попали в полынью. Кучер Надырбай, молодой, сильный киргиз, вытащил Николая Карловича в намокшей дохе из воды и положил на ледяную кромку. Лошади и сани ушли под лед. Мой брат не мог вымолвить ни одного слова: его разбил паралич. Ему было двадцать семь лет.

Николай Карлович долго лечился, но свободно передвигаться не мог и теперь путешествовал со мной в воспоминаниях.

Наша игра с братом в Даниловском послужила Куприну темой его рассказа «Путешественники».

Когда Куприн закончил «Гамбринус», мы уехали в Петербург.

Двадцать восьмого января 1907 года А. И. Богданович оставил мне записку: «Многоуважаемая Мария Карловна!.. Рассказ Александра Ивановича очень хорош, и вчера в $2^1/_2$ дня он уже сдан в типографию. Корректуру Александр Иванович получит завтра днем или не позже вечера. Так я писал в типографию... Завтра буду в редакции между двумя и пятью.

Федор Дмитриевич (Батюшков) приехал и тоже обещал быть в это время. Пока все. Ваш. *А. Богданович*».

Ф. Д. Батюшков приехал из Франции с подарками. Мне он подарил севрский голубой туалетный прибор, Александру Ивановичу — настольные английские часы, величиной с книгу, на бронзовом постаменте. Через толстое прозрачное стекло футляра был виден весь механизм часов. На постаменте надпись: «Александру Куприну — «искрометному тож» [7].

Я поставила часы на камин.

— Идиотская надпись, — сказал Куприн, рассматривая часы.

ГЛАВА XLI

Премьера «Жизни Человека» в театре Комиссаржевской. — «Клоун». — Отъезд Куприна в Гельсингфорс.

Двадцать второго февраля 1907 года в театре Комиссаржевской, на Офицерской улице, шла премьера «Жизни Человека» Л. Н. Андреева.

Ф. Д. Батюшков и я поехали в театр. Александр Иванович остался дома: произведения Леонида Андреева ему не нравились.

Пьеса имела успех. Замечательной была мейерхольдовская полька — наивный мещанский мотив, который подчеркивал примитив всей пьесы. Звуки шли от самого высокого до баса:

Танцевальщик танцевал,
А в углу сундук стоял,
Он его не увидал,
Спотыкнулся и упал.

Позднее в Художественном театре звучала другая полька, более изысканная и нарядная[1]. Она казалась мне менее удачной.

Когда я вернулась из театра, то сидевший у Куприна И. А. Бунин спросил меня с иронией:

— Ну как пьеса? Понравилась вам? Правда, что смерть сидит в уголке и кушает бутерброд с сыром?

Я ответила совершенно серьезно, что вещь мне очень понравилась и у публики она имела большой успех.

Мой ответ взбесил Куприна. Он схватил со стола спички, чиркнул, дрожащей рукой прикурил и бросил горящую спичку мне на подол. Я была в черном газовом платье. Платье загорелось.

У Александра Ивановича начались приступы неврастении. Врач рекомендовал поместить его в больницу, но Куприн лечиться в Петербурге не хотел и выбрал частную лечебницу близ Гельсингфорса.

Перед отъездом он передал мне в полную собственность, нотариально, первые три тома своих рассказов. Купчая совершалась в нотариальной конторе Тыркова, на углу Владимирской и Невского.

Написав в Петербурге рассказ «Клоун», Александр Иванович в марте 1907 года уехал в Гельсингфорс. С ним поехала и Е. М. Гейнрих. До лечебницы провожал их Ф. Д. Батюшков.

С этого времени наши пути с Куприным разошлись, но мы с дружеским доверием и откровенностью продолжали относиться друг к другу[2].

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Лето 1907 года в Мартышкине. — Куприн в Кесьме. — «Мелюзга». — Приезд Буниных в Петербург.— Встреча с Куприным.— «Суламифь».

Лето 1907 года я с Лидочкой, Николаем Карловичем и бонной Александрой Егоровной Мерлекер, пожилой женщиной, которую мой брат, шутя, называл «страховкой после пожара», жили в Мартышкине, на берегу Балтийского моря.

Александр Иванович после Гельсингфорса уехал на юг, а потом поселился в Кесьме — родовом имении Ф. Д. Батюшкова.

20 июня 1907 года Ф. Д. Батюшков писал В. Г. Короленко:

«...Живу теперь в деревне с неделю, ничего не делаю, но на ногах с раннего утра. Выехал, получив телеграмму от Куприна, что ему живется «кисло» в Гурзуфе. Съехались в Бологом, и вот мы в Кесьме, при весьма примитивной обстановке жизни, скудном продовольствии, восполняя припасы рыбной ловлей. Елизавета Морицевна очень старательная, скромная и заботливая хозяйка, с трогательной преданностью ухаживает за Александром Ивановичем и полным самоотвержением. Она немного прибрала его к рукам, и скоро два месяца, как он перестал пить (то, что за едой, конечно, не в счет, но здесь приходится его держать, так сказать, на порционных выдачах, и он пока не требует большего). Однако вместе с тем он, увы, и не работает. Физически очень поправился, ум по-прежнему острый и живой, но вдохновение не приходит, хоть что. Может быть, это полоса, через которую надо было пройти... Но он и

не наблюдает — это уже худо. Что дальше будет, решительно не знаю. Мария Карловна у него неотвязно на уме. Бранит, но продолжает любить, а мне — невинно виноватому в разъезде — приходится расхлебывать и думать за других. Характер Александра Ивановича не из легких, а обстоятельства самые незавидные. Надо мне было уйти из журнала два года назад. Я это чувствовал, но смалодушничал. Теперь, хоть и отошел от журнала, но поздно. Увяз в какой-то тине...» [1]

Влияние Батюшкова на Куприна было двояким: с одной стороны, Батюшков, профессор истории всеобщей литературы, старался познакомить Куприна с произведениями западной литературы, в особенности с французскими классиками — Мольером, Расином, Бальзаком и др. Произведения Бальзака Александр Иванович находил скучными, но любил Золя и особенно высоко ставил Мопассана — мастера рассказа.

Батюшков сообщал Куприну множество всяких сведений, необходимых Александру Ивановичу для работы, высылал нужные ему книги.

Но Батюшков считал, что художественное произведение тогда может считаться явлением искусства, когда оно не навязывает читателю авторской точки зрения; он стоял если не за полную аполитичность художественной литературы, то за сдержанную, сглаженную, академическую форму, исключающую публицистику и политические выпады.

Примером его влияния на Куприна может служить конец рассказа «Гамбринус». В этом рассказе Куприн хотел показать, как безобразно и жестоко смята, растоптана существующими условиями жизнь чистого душой музыканта Сашки.

Но когда Александр Иванович прочел последнюю законченную страницу рукописи, меня очень удивила фраза рассказа:

— Ничего! Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит.

— Зачем эта фраза? — спросила я. — Она ведь совсем не вытекает из содержания твоего рассказа.

— Я сделал это для Феди, — ответил Александр Иванович [2].

* * *

В августе 1907 года Куприн вернулся в Петербург. Елизавета Морицевна поселилась в меблированном доме «Пале-Рояль», а Александр Иванович первое время жил у своего близкого друга — художника Щербова — в Гатчине.

Осенью 1907 года Куприн прислал для «Современного мира» рассказ «Мелюзга»[3]. Его содержание он мне рассказывал раньше, и тогда Александр Иванович хотел назвать его «Половодье».

В ноябре этого же года неожиданно вошел к нам в столовую Куприн, как будто весело и непринужденно, с чемоданом в руке. Сел он на свое обычное место около обеденного стола. Рядом поставил чемодан.

— Вот, Машенька, я и приехал. Твой верный песик побегал, побегал и вернулся, — сказал он явно неестественным тоном.

Я молчала.

— Слышал я, что мое место занял сосиаль-демократ Иорданский, — продолжал Александр Иванович. — Но это неправда?

— Правда.

— Нет, неправда! Скажи мне, скажи, что это неправда, и даю слово, что я тебе поверю.

— Это правда, Саша.

Он молча встал, взял свой потрепанный старый чемодан и, слегка горбясь, пошел к двери.

Я смотрела ему в спину, и мне хотелось крикнуть: «Останься, Саша, останься!» Но гордость, обида не позволили этого сделать. В это время Елизавета Морицевна, которая лето жила у меня в Даниловском, была беременна.

В декабре 1907 года у меня обедали приехавшие из Москвы Бунины. Пришел и Куприн. Об этой встрече В. Н. Бунина вспоминает так:[4] «...мы с Яном поехали в Петербург в отдельном купе первого класса. Остановились в «Северной гостинице», против Николаевского вокзала. Первым делом Ян позвонил по телефону М. К. Куприной, она пригласила нас к обеду, сказав, что у нее будут адмирал Азбелев и Иорданский, оба сотрудники ее журнала...

Редакция и квартира М. К. Куприной находилась в то время у Пяти углов. Нас встретила молодая дама, похожая на красивую цыганку, в ярком «шушуне» поверх черного платья. Приглашенные: адмирал в морской форме, небольшого роста с приятным лицом, человек лет пятидесяти, и высокий, с темными глазами Иорданский, еще совсем молодой, — уже ждали нас...

За обедом разговоры шли все время на литературные темы, говорили о «Шиповнике»[5], который может убить «Знание», так как там печатается главным образом «серый» материал, а уход Андреева, действительно, может нанести удар этому издательству. Передавали, что Андреев сейчас в большой моде. Строит дачу в Финляндии, а пока живет широко в Петербурге, часто отлучается в Москву, чтобы присутствовать на репетициях «Жизни Человека». Разговоры не переходили в споры, а потому мне было особенно приятно их слушать, — я впервые была в редакции популярного журнала, и при мне говорили обо всем свободно.

И вот среди такой мирной беседы раздался телефонный звонок. Мы узнали, что через четверть часа приедет Александр Иванович...

Ян начал было прощаться, — мы пили кофий, — но Марья Карловна нас удержала.

Вскоре в дверях, немного сутулясь, появился Куприн с красным лицом, с острыми, прищуренными глазками. Его со мной познакомили. Александр Иванович молча, грузно опустился на стул между хозяйкой и мною, неприязненно озираясь. Некоторое время все молчали, а затем загорелся диалог между Куприными, полный раздраженного остроумия. Глаза Марьи Карловны, когда она удачно парировала, сверкали черным блеском. Иорданский, уставившись в одну точку... не произнес ни единого слова. Он скоро ушел, за ним поднялся и Азбелев.

Нас Марья Карловна опять не отпустила, видимо не желая оставаться наедине с Александром Ивановичем. Конечно, бутылка с «коротким напитком», как Куприн называл спиртное, осушилась быстро...

Ян, чувствуя, что Марью Карловну тяготит это свидание, стал настойчиво звать Александра Ивановича в разные места. Но пришлось довольно долго уламывать его. Наконец он соблазнился. Прощаясь, мы условились

увидаться с Марьей Карловной через два дня у Ростовцевых.

Куприн просил Яна заехать с ним к Елизавете Морицевне, — она, — говорил он, — волнуется, как сошло свидание, а ей волноваться вредно, ибо она ждет ребенка. Мы заехали в «Пале-Рояль», излюбленную писателями гостиницу на Николаевской улице, и застали Елизавету Морицевну на площадке, кажется, третьего этажа. Она была в домашнем широком платье. Увидав Яна, просила, даже взяла слово, что он привезет обратно Куприна. Ян обещал его не отпускать. И мы поехали дальше, побывали в каких-то ночных притонах, где я увидела мужчин с мрачными, испитыми лицами и женщин в ярких вызывающих нарядах... В длинном зале мы поравнялись с господином, одиноко сидевшим за бутылкой красного вина, Ян меня с ним познакомил. Это был Потапенко, поразивший меня сизо-бронзовым цветом лица. Куприн потащил нас дальше.

Наконец мы сели за столик, и Александр Иванович сообщил, что он свою новую вещь «Суламифь» запродал в «Шиповник». Ян высказал сожаление, что она не попадет в «Землю», где гонорары выше. Куприн обрадовался:

— Знаешь, Ваня, мне деньги вот как нужны, если дадите, — и он назвал внушительную сумму за лист, — то я пошлю всех к черту, но деньги «на бочку».

— Хорошо, дадим, дадим! — ответил Ян. — Завтра днем мы увидимся, и ты получишь требуемую сумму, если передашь мне рукопись.

Вернувшись в «Пале-Рояль», мы застали Елизавету Морицевну на том же месте, где ее оставили. Лицо ее, под аккуратно причесанными волосами на прямой ряд, было измучено.

На следующий день Куприн вручил Яну «Суламифь» и получил гонорар».

Тема любви царя Соломона к красавице Суламифи заинтересовала Куприна еще в ту пору, когда он псаломщиком прочитал Библию и «Песнь песней».

В 1905 году в Балаклаве Александр Иванович увидел у меня «Песнь песней» Ренана из балаклавской библиотеки. Прочитал и оставил у себя.

Говорил Куприн на эту тему и с И. А. Буниным.

— Французы умеют замечательно переделывать исторические легенды, — отвечал Иван Алексеевич, — но мы с тобой, Александр Иванович, не Флоберы... Для нас достаточно и своих тем.

После знакомства с материалами, которыми пользовался Куприн, работая над повестью «Суламифь», нетрудно заметить, что эта повесть — беллетризованное изложение библейского сюжета о любви царя Соломона к девушке из виноградника.

ГЛАВА II

Моя болезнь. — Разрешение Куприна на мой выезд за границу. — Мирамаре. — «Морская болезнь». — Переговоры с московским книгоиздательством.

В начале 1908 года у меня открылся легочный процесс. Лечащий врач рекомендовал мне австрийский курорт Мирамаре.

По прежним законам жена могла выехать за границу только с письменного разрешения мужа. Я по телефону просила Александра Ивановича заехать ко мне. Он явился в веселом настроении.

— Все-таки, Маша, разрешение должен дать я?! Ну что ж, так и быть, дам...

Он взял лист бумаги и написал: «Дано сие супруге моей Марии Карловне Куприной на предмет выезда ее за границу сроком на шесть месяцев».

Этот текст Александр Иванович несколько раз варьировал, придавая ему все более шутливый тон.

В середине февраля 1908 года я выехала в Мирамаре. Вскоре Куприн прислал мне сборник, в котором был напечатан его рассказ «Морская болезнь» [1].

Когда я вернулась, то узнала от Александра Ивановича, что написать настоящий серьезный рассказ у него не было времени, ссориться с Арцыбашевым он не хотел и воспользовался первым пришедшим ему в голову легким сюжетом, над которым почти не пришлось думать. «Таким образом, и получилось, что я вместо сборника попал в какой-то похабный букет», — говорил он.

В начале 1908 года Куприн начал переговоры с «Московским книгоиздательством» [2] об издании его

собрания сочинений в двенадцати томах. В Петербурге жил В. С. Клестов — представитель этого издательства.

Вскоре после моего возвращения из Мирамар Александр Иванович привел ко мне Клестова, чтобы окончательно договориться об условиях издания, поскольку первые три тома нотариально принадлежали мне. Обращаясь к представителю издательства, он сказал:

— Василий Семенович, итак, договор на первые три тома заключайте с Марией Карловной отдельно. И не забудьте вместе с договором поднести ей флакон духов «Ля Роз Жакомино».

Это были единственные духи, от которых у меня не болела голова.

ГЛАВА III

Накануне бракоразводного процесса. — Встреча в Александринском театре. «Госпожа пошлость».

Осенью 1909 года состоялось решение суда о нашем разводе. Накануне зашел А. И. Куприн. У меня за вечерним чаем сидел заведующий иностранным отделом «Современного мира» Карл Людвигович Вейдемюллер.

Приход Куприна смутил Вейдемюллера, он растерялся и стал занимать его беседой. Александру Ивановичу это надоело.

— Вы что же, господин Баденвейлер, не понимаете, что вы здесь лишний?

— Я, собственно, приятель Николая Ивановича Иорданского и думаю, Марии Карловне будет удобнее, если я...

— Что? Вы приятель Иорданского? — перебил его Куприн. — Тогда, господин Баденвейлер, фить! Немедленно! — И Александр Иванович, вытянув руку, указал ему большим пальцем на дверь.

Вейдемюллер смущенно смотрел на меня. Я молчала.

После его ухода мы перешли из столовой в мою комнату. Александр Иванович сел у письменного стола.

— Скажи, Маша, какой из моих рассказов ты любишь больше всех?

— Конечно, «Реку жизни».

— Он у тебя далеко?

Я выдвинула боковой ящик письменного стола и достала рукопись. Рукопись была чистая, с очень небольшими поправками. Александр Иванович написал: «Жене моей, Маше, посвящаю этот рассказ, который с любовью мы писали с ней в Даниловском. А. Куприн»[1].

— Поздно бросил я играть в лейтенанта Глана[2], и вот куда это завело. Да, слишком поздно. Прощай, Маша, — сказал Александр Иванович, — мы с тобой обо всем хорошо и откровенно поговорили.

Мы расстались, когда уже светало.

То, что случилось с нами, было непоправимо: слишком запутались наши отношения, слишком много людей было связано с нами.

В 12 часов дня состоялся суд.

* * *

В ноябре 1909 года в Александринском театре шла премьера нашумевшей в печати пьесы Н. Н. Ходотова «Госпожа пошлость». Нам рассказывали, что это пародия на сотрудников редакции «Мира божьего», где главное действующее лицо Куприн.

По словам Ходотова, Александр Иванович под впечатлением слухов дошел до того, что послал из Одессы телеграмму дирекции театра: «Запрещаю ставить пьесу Ходотова «Госпожу пошлость», пока я ее не прочту».

Пятого ноября мы отправились на премьеру. Академик Н. А. Котляревский с женой Верой Васильевной (по сцене Пушкаревой), профессор М. И. Ростовцев с Софьей Михайловной, Н. И. Иорданский и я. Наша ложа была в бельэтаже.

Театр был полон. Неожиданно для нас в соседней ложе оказались А. И. Куприн, Елизавета Морицевна, профессор Ф. Д. Батюшков, критик П. Пильский и журналист В. Регинин.

До начала спектакля бинокли любопытных зрителей были направлены на наши ложи. Связным между нами был Вася Регинин.

Начался первый акт. В зале погас свет и открылся занавес. На сцене мы увидели точную копию нашей гостиной на Разъезжей, д. 7.

На столе, в окружении «писательской богемы», сидел в голубой рубахе, в какой Александр Иванович обычно

ходил дома, муж издательницы журнала Гаврилов-Куприн. Тапер ударил по клавишам, и хозяин дома тихо запел:

Генерал-майор Бакланов,
Генерал-майор Бакланов,
Ба-кла-нов генерал,
Ба-кла-нов генерал.

Это глупое бессмысленное четверостишие, «дежурное блюдо» в доме Ходотова, подхватили другие действующие лица, «с азартом, жаром и разгоном, начиная с медленного тягучего темпа до бешеного плясового казачка. Все вертелось кругом: люди, мебель, лампы и картины на стенах, посуда на столе. Стекла дребезжали... и все это под свист, гиканье, притоптыванье, битье ножами и вилками об стаканы и тарелки и... ездой на стульях» [3].

Один из действующих лиц воскликнул: «Это бесподобно! Вот она наша русская писательская богема!»

В антракте к нам в ложу зашел Вася Регинин.

— Василий Александрович, — обратилась к нему Софья Михайловна, — я узнала Пильского, Ходотова, Александра Ивановича, Анатолия Каменского, но кто сидел спиной к публике, за роялем?

— Это же я! — с гордостью ответил Регинин.

Кроме этой сцены, где воспроизводилась наша гостиная, и тех действующих лиц, в которых можно было узнать современных нам писателей, а также редактора журнала Ф. Д. Батюшкова и меня, другого сходства с нашей жизнью не было. Мне Куприн говорил:

«Сволочь Ходотов, хорошо, что он догадался сделать тебя в пьесе старухой, иначе я превратил бы его в лепешку».

ГЛАВА IV

Письма Л. А. Куприной. — Смерть матери Куприна. — На Капри.

Еще в мае 1909 года я получила письмо от матери Куприна, Любови Алексеевны. Она писала мне:

«Муся моя родная, дорогая!

Знаете ли Вы, что я над Вашими письмами горько плачу, и никогда я не перестану считать Вас не родным и дорогим мне человеком, особенно теперь. Вы после

Ваших этих писем стали мне еще милее и дороже. Мне почему-то кажется, что Вы одинока и воспоминания о прошедшем Вам делают жизнь нерадостной. Я за Вас тогда только успокоюсь, когда Вы найдете человека, достойного Вас, и полюбите, и дай бог, чтобы это скорее случилось. Если бы Вы знали, как дорога мне Люленька и что я должна скоро ломать свою душу при виде второй дочки моего Саши. Когда я была в прошлом году в Гатчине, я ненавидела этого ребенка; в той комнате, где была помещена Ксения, висел портрет моего сокровища Люленьки, и когда мне приходилось подходить и покачать коляску, то я с со слезами просила прощения у Люленьки, клялась ей, что эта никогда не заменит тебя, мой ангел. Лиза попросила меня взять девочку на руки и хотела снять меня с ней, так я совсем забылась и вскочила положить ребенка на подушку, говоря, что только с одной Люленькой из всех моих внучат я снялась в моей жизни и больше ни с кем не снимусь [1]. Это видели и Саша и Лиза, но Саша меня понял и извинил, верно, в душе, да и девочке было только три недели. А вот теперь что мне делать. Я числа 12 еду в Житомир... Вот где и начинается моя душевная ломка...

Как Вы утешили меня, написав, что Люленька так хочет меня видеть, а я бог знает что дала бы, чтобы мне пожить с ней хоть две-три недели, на день-два дня невозможно наше свидание с ней, я стану без умолку реветь, и ей будет тяжело и нехорошо. Вот если на будущую весну я буду жива и здорова, то я приеду к Вам в Петербург. Если Вы этого захотите. Одним словом, до Вашего отъезда на дачу или за границу.

Когда я была в Гатчине, то там я видела В. П. Кранихфельда и попросила его журнал присылать мне прямо в Москву во Вдовий дом, так он и сделал, и я стала получать второе полугодие журнал сама. Спасибо Вам, дорогая, за это внимание ко мне. Моя жизнь так пуста, так одинока, что книга для меня все...

Обнимаю Вас и Люленьку. Горячо любящая Вас

Л. Куприна.

Пишите мне, Муся моя дорогая, на имя Зины для передачи мне».

Лето 1909 года Любовь Алексеевна Куприна провела в Житомире, где А. И. Куприн писал первую часть повести «Яма».

Весной 1910 года Любовь Алексеевна тяжело заболела и приехать к нам в Петербург не могла. 15 апреля она писала Лидочке из Москвы:

«Христос воскрес.

Дорогая моя голубочка Люленька, посылаю тебе на этой карточке дом, где я живу. Поздравь маму, поблагодари за книжки и скажи ей, что я в лазарете. Напиши мне, моя родная, о себе побольше. Я очень, очень тебя люблю и молюсь за тебя. У меня было воспаление бока. Не забывай меня, твою родную любящую бабушку. *Л. Куприна*».

Это было последнее письмо Л. А. Куприной. Она умерла в Москве 14 июня 1910 года.

Александр Иванович писал мне: «Похоронили маму. А ты не могла приехать — занялась собачьей свадьбой со своим социал-демократом».

9-го июня я обвенчалась с Н. И. Иорданским.

Летом 1910 года я была в Италии вместе с мужем. В конце зимы в Петербурге разнесся слух, что Горький опасно болен, но ни от кого точных сведений о здоровье Алексея Максимовича узнать было нельзя.

Из Рима Иорданский написал письмо Марии Федоровне Андреевой, в котором спрашивал о здоровье Алексея Максимовича и просил сообщить, можем ли мы приехать повидаться с ним. Мария Федоровна ответила, что Алексей Максимович поправился и будет рад приезжим из России.

В июле мы приехали на Капри и остановились в небольшой гостинице на набережной «Гранде Мэринэ». Отдохнув после утомительной дороги, мы на другой день отправились разыскивать виллу «Спинола», где жил Горький.

Это оказалось очень нетрудным.

На фуникулере мы поднялись в городок Капри, расположенный на горе, довольно высоко над морем, и вышли на маленькую площадку в центре города. Здесь, как только мы произнесли слово «Горький», нас плотным кольцом окружила толпа ребятишек. «Gorki, villa

«Spinolla», una lira, una lira»*. — кричали они, дергая нас за платье. И, получив лиру, торжественно повели через площадь, в двух шагах от которой находилась окруженная садом небольшая вилла.

Мария Федоровна приняла нас со свойственной ей любезностью и радушием. Она сообщила нам, что Алексей Максимович в эти часы еще работает, и посвятила в распорядок дня, установленный на вилле. Вставал Алексей Максимович рано и сейчас же садился писать. До обеда в четыре часа, к которому обычно собирались почти все, гостившие на Капри, никто из посетителей к Алексею Максимовичу не допускался.

За таким распорядком Мария Федоровна строго следила, потому что иначе Алексей Максимович на Капри не имел бы покоя. Не говоря уже о тех русских — литераторах и знакомых, которые приезжали сюда повидаться с ним, на виллу являлось множество незнакомых людей, домогавшихся свидания с Горьким. Русские и иностранные туристы стремились во что бы то ни стало проникнуть на виллу «Спинола». И если им не удавалось, после посещения лазурного грота и развалин виллы Тиверия, побывать у Горького, они считали, что не осмотрели всех перечисленных в рекламе Кука каприйских достопримечательностей.

Поэтому Марии Федоровне приходилось подчас принимать очень решительные и жесткие меры, чтобы оградить Алексея Максимовича от вторжения нежелательных посетителей и обеспечить ему необходимый покой.

— Не правда ли, живем по-княжески — в собственном дворце? — смеясь, говорила Мария Федоровна, показывая нам несколько скромно обставленных хозяйской мебелью комнат наемной виллы.

В Петербурге действительно распространялись слухи, что Горький купил себе на Капри великолепный особняк и живет, окруженный необычайной роскошью и великолепием.

Этим нелепым россказням, конечно, очень мало кто верил, однако видно было, что о них стало известно и Марии Федоровне и Алексею Максимовичу.

В маленьком флигеле во дворе жили Пятницкий, Гусев-Оренбургский, молодой грузинский поэт Влас

---

* Горький, вилла «Спинола», одну лиру, одну лиру *(итал.)*.

Мгеладзе и гостивший у Горького Михаил Михайлович Коцюбинский.

Оказалось, что, ожидая нашего приезда, Мария Федоровна задержала для нас помещение в доме, находившемся почти рядом с виллой.

Поэтому я скорей пошла сговориться с хозяйкой, сдававшей комнату, а муж отправился в гостиницу за нашими вещами. Две небольшие комнаты с балконом во втором этаже стоили баснословно дешево — полторы лиры в сутки, что на русские деньги составляло пятьдесят четыре копейки.

Зимой здесь жили Луначарские, а внизу находилась «Каприйская школа» [2]. Но в момент нашего приезда она уже не существовала.

Быстро устроившись в новом помещении, мы в четыре часа пришли к обеду на виллу «Спинола».

* * *

За те пять лет, что я не видела Алексея Максимовича, он наружно мало изменился. Правда, сильно похудел, но худоба его не производила впечатления болезненной, только более прямой и строгой казалась его высокая фигура в летнем белом костюме с широким поясом вместо жилета.

По-прежнему твердо звучал его голос, крепким и сердечным было рукопожатие, походка легкой и молодой. С большой радостью смотрела я на Алексея Максимовича, и не верилось, что зимой он был болен так опасно, что боялись за его жизнь и только два месяца назад у него прекратилось кровохарканье.

Алексей Максимович раньше не был знаком с Н. И. Иорданским. Но сразу он так просто и дружески заговорил с ним, что всякая натянутость, неизбежная при первом знакомстве, очень быстро исчезла.

За обедом моим соседом был Михаил Михайлович Коцюбинский. Я знала его произведения, и мне было очень приятно познакомиться с ним. Это был на редкость обаятельный человек — мягкий и деликатный, он ни о ком из писателей резко не отзывался. Тем не менее суждения его были не только очень определенны, но иногда и беспощадны.

Заговорили о молодом украинском писателе Винни-

ченко. Коцюбинскому рассказы Винниченко очень не нравились. Он находил, что в них проскальзывало пренебрежительное отношение к женщине, которое с таким откровенным цинизмом проявилось в его романе «Честность с собой»[3]. Я не знала этого романа, он еще не появлялся в печати, но Коцюбинский знал о нем.

— Не советовал бы вам печатать Винниченко — самовлюбленный и пошлый писатель, — обратился ко мне Алексей Максимович, до которого донесся наш разговор с Коцюбинским.— А вот что бунинскую «Деревню» напечатали, это хорошо. Чудесная вещь[4].

После обеда все перешли на большую террасу, примыкавшую к кабинету Алексея Максимовича. Проходя через кабинет, я обратила внимание на книжные полки, занимавшие одну стену комнаты. Большие, прочные сосновые полки — настоящие русские книжные полки, на самом верху которых лежали стопками старые журналы с потрепанными корешками. И казалось, что вид из окна этой комнаты должен быть не на «Пикксла Марина», а на Волгу, русские леса и дали. Я сказала об этом Алексею Максимовичу.

— Вожу все с собой, — ответил он мне и забавно прищурился. — И Нижний на Волгу и Оку — все вожу с собой и притом, заметьте, беспошлинно... Вот я какой хитрый...

Алексей Максимович ходил взад и вперед по террасе, а я и Н. И. Иорданский рассказывали ему о последних петербургских литературных новостях. Вдруг Алексей Максимович остановился перед нами.

— Жалко, что вы так задержались в Риме, — сказал он. — Приехали бы немного раньше и застали бы здесь Гаврилу Благовещенского. Он приехал на несколько дней повидаться со мной. Вы ведь, конечно, читали его сочинения? — спросил Алексей Максимович и, прикусив ус, искоса взглянул на меня.

Заметив мое замешательство, Коцюбинский рассмеялся.

«Гаврило Благовещенский, Гаврило Благовещенский», — повторяла я про себя и с досадой думала: «Вот появился новый молодой писатель, и Алексей Максимович сразу заметил его, а я, конечно, прозевала».

— Нет, не читала, — наконец призналась я.

— Так и быть, помогу вам припомнить, — сказал Алексей Максимович. — Итальянцы по-своему называют

его — Габриель Д'Аннунцио, а я по-своему, — Гаврило Благовещенский *, — упирая на «о», произнес Алексей Максимович, — мне так больше нравится. — И он широко улыбнулся, довольный тем впечатлением, какое произвела его шутка.

— Говорил «illustra collega» ** «и все такое протчее» — было очень забавно. Мария Федоровна переводила, и, если вам интересно, попросите ее, она вам расскажет.

Алексей Максимович знал итальянский язык, но избегал говорить на нем. Он утверждал, что его волжский выговор никак нельзя приспособить ни к одному иностранному языку. Разговаривал он по-итальянски только с детьми и не любил, чтобы в его разговоры с ними вмешивались взрослые.

* * *

В первые дни нашего пребывания на Капри Алексей Максимович подробно расспрашивал меня и моего мужа о том, что делается в России: о политической, общественной и литературной жизни Петербурга, о знакомых писателях. Обычно он ходил по своему кабинету, ненадолго присаживался около письменного стола и затем снова начинал взад и вперед ходить по комнате.

Я была дружна с Леонидом Андреевым, и Алексей Максимович много говорил со мной о нем. Тогда впервые я услышала историю написания «Тьмы». Алексей Максимович не мог простить Андрееву не только искажение образа, но и то, что он обманул доверие Рутенберга и не сдержал данного ему и Алексею Максимовичу слова — никогда не пользоваться, как материалом для литературного произведения, рассказом Рутенберга [5].

Тем не менее все, что касалось Леонида Николаевича, Горький очень близко принимал к сердцу.

Я рассказала Алексею Максимовичу, что, несмотря на то, что Андреев женился вторично и у него были дети от второй жены, он не переставал тосковать по Александре Михайловне. Он часто жаловался мне на свое одиночество, на то, что никто не переживает с ним его произведений, не спорит до слез, не предостерегает от

* Annunzio — по-итальянски благовещение.

** Знаменитый коллега (*итал.*).

ошибок. Однажды, указывая мне из окна кабинета на видневшуюся под горой зеленую крышу маленького дома, Леонид Николаевич сказал: «Там было хорошо — там я был счастлив, тогда жива была Шура».

Алексей Максимович встал и подошел к окну; когда он снова сел на свое место, глаза его были влажны...

Неожиданно Горький улыбнулся.

— А знаете, что больше всего задело Рутенберга. Не то, что Леонид сделал из него какого-то неврастеника и идиота, а то, что он так отвратительно описал его ноги.

«Откуда взял Андреев, что у меня такие безобразные, волосатые ноги с кривыми и грязными ногтями, — жаловался Рутенберг, — ей-богу, я каждый день мою ноги...» — И Алексей Максимович рассмеялся: чудак-человек.

* * *

Скоро мы должны были уезжать с Капри. Собирались домой и Сергей Иванович Гусев-Оренбургский и Михаил Михайлович Коцюбинский. Но Алексей Максимович сказал твердо, что никого из нас не отпустит, пока мы не побываем на ловле акул.

В один из ближайших дней мы рано утром на большом боте выехали в море с рыбаками. Ночью они укрепили у фаральонов толстые проволочные канаты, от которых в глубину спускались цепи с наживкой на больших крюках. Теперь рыбаки вытягивали цепи, и почти на каждой билась акула.

Попадались и гигантские, похожие на удавов, морские угри-мурены, а из сетей вытряхивали на корму кучей разную рыбу, осьминогов, громадных крабов и морских ежей.

Ловля была удачной. Алексей Максимович был в отличном настроении и, забыв о том, что «он не говорит по-итальянски», шутил с рыбаками.

Особенно радовало Алексея Максимовича то восхищение, с каким Михаил Михайлович Коцюбинский смотрел на море в это замечательное яркое утро и с каким интересом он разглядывал странных рыб и водоросли, поднятые сетями со дна моря.

И было хорошо и трогательно смотреть на этих двух, стоявших рядом, больших людей, которые с такой любовью относятся друг к другу.

* * *

Шестого августа (22 июля по старому стилю) были именины Марии Федоровны и мои. Этот день проводили по-праздничному. Алексей Максимович не работал, и все отправились на виллу Тиверия. Здесь в последний раз мы все вместе смотрели тарантеллу и в таверне пили легкое белое каприйское вино, которое подавали на стол в больших глиняных кувшинах.

Вечером мы долго сидели на каменной террасе виллы, грустно было прощаться. Хотелось как можно дольше продлить часы свидания с Алексеем Максимовичем.

Восьмого августа рано утром мы уехали в Неаполь.

На другой день Алексей Максимович писал А. Н. Тихонову (Сереброву): «Вчера проводил отсюда в Россию Куприну с ее мужем Иорданским, — мне чета сия понравилась, у нее есть добрые идеи, славные намерения, и я заключил с ней союз — буду печатать у них свои оптимистячьи выдумки» [6].

В декабре 1910 года я получила от Михаила Михайловича Коцюбинского письмо из Чернигова: «Невеселые вести приходят ко мне с Капри. Алексей Максимович так тяжело пережил смерть Толстого, что у него возобновилось кровохарканье, и хотя он бодрится, все же из писем и фотографической карточки, которую он прислал, я замечаю большую перемену в нем к худшему...

...Вспоминаете ли Вы еще рыбные ловли, зеленые глаза акул, импровизированные пикники на скалах? Право, хорошо было!» [7]

ГЛАВА V

Анатолий Каменский. — Встреча с Куприным у Ростовцевых.

Куприн старался привлечь в «Мир божий» молодые литературные силы — Никандрова, Анатолия Каменского, Вережникова и др.

Рассказ Анатолия Каменского «Ничего не было», который появился на страницах «Мира божьего», был выправлен и отредактирован Александром Ивановичем. После этого Каменский «сдвинулся с рельс» и начал печататься в других журналах.

В середине ноября 1910 года ко мне в гостиную с веселым и развязным видом вошел Анатолий Каменский. Его появление меня удивило.

— Я поспешил к вам, чтобы сообщить новости, которые, наверное, будут вам интересны. Во-первых, Александр Иванович закончил прекрасную вещь «Гранатовый браслет» [1]. Те, кому он ее читал, говорят, что удалась она ему на славу. И во-вторых, у Александра Ивановича большая семейная радость — у него родился сын! Скоро Александр Иванович приедет в Петербург.

В гостиной появилась горничная.

— Можно накрывать на стол?

— Немного погодя...

Я поблагодарила Каменского за приятные новости, но обедать его не оставила. Он потоптался на месте, раскланялся и ушел.

Через несколько дней мне позвонил по телефону Александр Иванович.

— Маша, я с семьей вернулся из Одессы и звоню тебе из «Пале-Рояля» — мое обычное прибежище в Петербурге. Ужасно устал и сижу, конечно, без денег. Постараюсь сегодня взять небольшую сумму под «Гранатовый браслет». Как нам увидеться?

Я созвонилась с Софьей Михайловной Ростовцевой.

— Будет удобно, если ты заедешь с Александром Ивановичем завтра. Михаил Иванович вернется из академии не раньше часу ночи, он читает доклад, а я, чтобы вам не мешать, уйду на родительскую половину.

На следующий день в восемь вечера я была у Ростовцевых. До прихода Куприна мы обменивались с Соней новостями. Когда послышался в передней звонок, Соня ушла.

Встреча с Александром Ивановичем была очень сердечной.

— У тебя усталый вид, Саша, и ты сильно похудел.

— Падение с Заикиным не прошло бесследно... [2]

— Но «Браслет» ты закончил?

— Да, только торопился и написал не так, как хотел. Слишком много места занял обедом у Любимовых и скомкал самого ППЖ [3]. Ты помнишь, я хотел начать с его детства и юности, но проклятое безденежье!.. Даже все вещи были у нас в залоге. Получилось два с половиной листа вместо четырех, но писал я этот рассказ

всем сердцем, всей душой. Вспоминал Даниловское и ту ночь, когда не мог заснуть и вышел в сад, где на скамейке сидел Федор Дмитриевич Батюшков... Наше благородство тогда равнялось нашей глупости, к сожалению...

— Теперь ты доволен?

— Своей работой я доволен.

— Да нет, я не о том. Тебя же можно поздравить с сыном!

— Что ты сказала? Повтори!

— У тебя родился сын...

Александр Иванович переменился в лице. Встал и как-то тихо сказал:

— Маша, я никогда не думал, что ты можешь быть такой злой.

— Злой? Почему?

— Не понимаешь! Никогда я тебе этого не прощу.

Александр Иванович направился к двери. Я заплакала.

— Но мне же сказал Каменский—советовал послать поздравительную телеграмму.

— Так это сказал Каменский? Подлец! Какой мерзавец! Он же знал... Но оставим этого гада. Не будем о нем говорить.

Александр Иванович опустился на стул, и некоторое время мы оба молчали.

Наконец он сказал:

— Ребенок родился. Прелестная девочка. Но она идиотка: совершенно не реагирует ни на шум, ни на свет — а у нее чудесные синие глаза. Какое это горе! И в этом виноват я. Да, я виноват. Пил как зверь...

Через два-три года младшая дочь Куприна Зина умерла. Похоронили ее на Волковом кладбище.

ГЛАВА VI

Продажа сочинений издательству Маркса. — В нотариальной конторе Гревса. — Столкновение Куприна с Л. Н. Андреевым.

В 1911 году Куприн решил продать полное собрание своих сочинений издательству А. Ф. Маркса.

Он просил меня присутствовать при заключении договора.

Нотариальная контора помещалась на Невском, почти напротив гостиного двора, куда в назначенное время явились все заинтересованные лица.

Нотариус Гревс прочел договор, в котором говорилось, что все девять томов своих сочинений Куприн продает издательству Маркса за сто тысяч рублей.

— Имеете какие-нибудь возражения? — обратился ко мне Гревс.

— Никаких, — ответила я.

— Но первые три тома принадлежат вам?

— Да.

— А как же теперь?

— Сочинения не мои, а Александра Ивановича, и он распоряжается ими так, как считает нужным. Если ему сейчас удобно продать их, у меня никаких претензий к нему не может быть.

— Вы откажетесь нотариально от своих прав?

— Конечно.

Все удивленно переглянулись. Видимо, никто из присутствующих, кроме Куприна, не ожидал такого исхода.

— Тогда, — сказал Куприн, — оформляйте нужные документы, а мы, Машенька, едем завтракать! На острова или в Милютинские лавки?

— Милютинские лавки ближе, Саша.

* * *

Второго ноября 1911 года в Гатчину к Куприну приехал Леонид Андреев, чтобы вместе с Александром Ивановичем отправиться в Петербург на вечер к Ходотову.

Леонид Николаевич в определенном состоянии любил выворачивать свою душу наизнанку и требовал этого от своего собеседника. Александр Иванович такого рода откровенностей терпеть не мог, особенно если они касались наших с ним отношений, нашего разрыва.

В вагоне (Гатчина — Петербург) Куприн и Андреев вышли курить в коридор.

— Александр Иванович, скажи, почему же вы разошлись с Мусей? — спросил доверчиво Андреев Куприна. — Я не могу этого понять...

— Ты не понимаешь!.. — И Александр Иванович схватил Андреева за воротник и потащил в тамбур.

Возня в коридоре, а затем в тамбуре привлекла внимание пассажиров. Их разняли и развели по разным вагонам.

Вечером Александр Иванович все-таки приехал к Ходотову, где столкновение с Андреевым закончилось дракой [1]. Газеты писали: «Повода не было. Избиты, кроме Андреева, Скиталец, Ходотов и другие».

Из Ростова-на-Дону вызвали телеграммой в Петербург Арцыбашева и предложили ему быть председателем суда чести по делу Куприна — Андреева, но суд не состоялся, Александру Ивановичу направили коллективное письмо: [2]

«Милостивый государь! Ваша дикая и совершенно нетерпимая в человеческом обществе выходка в квартире Н. Н. Ходотова в ночь на 3 ноября сего года против Ваших товарищей по литературе заставляет нас, нижеподписавшихся, обратиться к Вам с выражением своего крайнего возмущения; и так как эта выходка, завершая собою целый ряд Ваших недостойных поступков, переполнила чашу терпения нашего, мы доводим до Вашего сведения, что в случае хотя бы малейшей попытки повторения их, мы гласно объявим Вас исключенным из товарищеской среды...» [3]

Вскоре Куприна увезли в имение Ф. Д. Батюшкова — Даниловское.

ГЛАВА VII

Отъезд Куприна за границу. — Письма Куприна. — Нейвола. Рассказ «Марья Ивановна».

В 1912 году А. И. Куприн впервые поехал за границу (юг Франции, Италия), где находился более четырех месяцев (апрель — август).

Перед отъездом он подарил нашей дочери, Лидии, двух больших щенков — сенбернаров.

Александр Иванович писал ей:

«Ницца 22. VII. 1912 г.

Лида! Как твое здоровье? Хорошо ли проводишь лето? Как собаки? Живы ли? Не обижает ли их дворник? Если живы — помни: обсыпать их арагацем от блох, почаще чесать, купать еще рано, но можно изредка мыть

слабым раствором креолина, к пище прибавлять серного цвета, держать в прохладе, водить гулять побольше, когда не жарко. Как их зовут?

Я теперь за границей, — которая — гадость. Никогда больше не поеду. Дорого, скучно, жарко и все...

Напиши мне по адресу: Nicce, France, Hotel Slave — мне.

Твой всегда — *А. Куприн*».

Свои впечатления об этой поездке за границу Куприн передал в «Лазурных берегах».

* * *

Лето 1913 года мы жили в Нейволе. В начале июня на наш хутор забрел человек неизвестной национальности с дрессированной обезьяной; говорил он на ломаном русском языке.

После представления, во время которого обезьяна показывала разные фокусы, а дети визжали от удовольствия, бродячий иностранец сказал:

— Если вам нравится моя обезьяна, то просите маму, чтобы она ее купила. Я продам.

Это была обезьяна — павиан, самка. Звали ее Марья Ивановна. Мы держали ее в сарае на цепи Женщин она ненавидела, и если ей удавалось сорваться с цепочки, она тотчас бежала разыскивать меня или Лидочку. Мы ее боялись.

Приближалась осень. Как быть с обезьяной? Держать ее в городской квартире совершенно невозможно...

— У папы в Гатчине теплый чердак, — сказала Лида, — и там можно поместить Марью Ивановну. Папа любит зверей, он возьмет обезьяну с удовольствием.

— Поезжай к папе, спроси его и обязательно предупреди, что Марья Ивановна злая и женщин к себе не допускает. Поэтому ни тете Лизе, ни Ксении к ней подходить нельзя: она может броситься на них и укусить...

Лида отправилась в Гатчину. Александр Иванович позвонил мне по телефону, чтобы дворник привез к ним Марью Ивановну.

Первую ночь Куприны решили оставить обезьяну в гостиной. Наутро вся обивка мебели была разодрана в

клочки. Узнав об этом, я позвонила Елизавете Морицевне. Оказалось, что Лида ничего не сказала им о коварном характере обезьяны. Я извинилась.

— Не волнуйся, Муся, — сказала мне Лиза, — я очень рада этому случаю. Мебель мы купили старую, ее давно пора было перебить. А теперь обязательно придется купить новую обивку.

Когда Марья Ивановна натворила еще много других бед, Александр Иванович отдал ее клоуну Жакомино.

Жакомино сразу определил, что обезьяна очень талантлива, выдрессировал ее и стал выступать с ней в цирке Чинизелли.

На одном из представлений в ложе бенуара сидела молодая, нарядная дама. По всей вероятности, Жакомино был с ней знаком, потому что во время представления он приблизился к барьеру и раскланялся с ней.

Заметив это, Марья Ивановна как стрела перемахнула через барьер и очутилась в ложе. Она бросилась к женщине и стала рвать с ее головы шляпу.

Вслед за обезьяной устремился Жакомино. К счастью, он схватил обезьяну, прежде чем она успела обезобразить лицо женщины.

После этого случая Жакомино отдал обезьяну в зоопарк. В первую же зиму Марья Ивановна выбежала из крытого помещения, простудилась и умерла от воспаления легких.

Эта история послужила Куприну темой для рассказа «Марья Ивановна», который был напечатан в журнале «Рубикон» в 1914 году.

В 1914 году Куприн отдыхал и лечился в Северной Италии, на курорте Сальцо-Маджиоре, который славился йодистыми источниками.

Здесь Александр Иванович познакомился с известными итальянскими певцами — Карузо, Тита Руффо, Энрико Нанни, Эудженио Джиральдони.

Александр Иванович писал Лидочке:

«Лида! Привет из веселого города Милана. Не пишу много — болен и зол. Напиши мне два слова.

Jtalia, Salso-Maggiore, poste-restante. Salute Giacomino. A. Kuprine».

А. И. Куприн среди итальянских артистов. Лето 1914 года.

«Лида, привет из курорта, где твоего отца мучают. Напиши мне несколько слов, рассеянная девчонка.

Мой адрес: Salso-Maggiore, Pension Speranza, pour A. Kuprine.

Твой любящий *А. К.*».

«Ах, Лидуша, знаю я твою пеструю душу. Напиши мне, что тебе привезти из Италии (кроме живого инвентаря)?

Да и вообще пиши.

Твой друг *А. Куприн*».

«Hotel Dogana Vecchia Torino.

Милая Лидисенька! Сейчас иду за тамбурином для тебя. Кстати и за кастаньетами.

Плясать так плясать.

Передаю тебе поклон баритона Джиральдони. Я с ним познакомился в Salso-Maggiore, и он меня совсем очаровал. Я с своей стороны старался сделать то же самое. Не знаю, как мне это удалось.

Мой привет маме. Узнай от нее, пожалуйста, не хочет ли она получить от меня для журнала штук десять сонетов Стекетти [1], мною переведенных. Их можно, конечно, напечатать не сразу, а книжках в 5-ти — 6-ти. Я не мастер и не любитель сам писать стихи, но перевожу охотно, изящно и точно.

Дня через три-четыре я буду в Гатчине. Если ты, лентяйка, захочешь мне написать, то туда адресуй. А если сможешь сама приехать, буду счастлив. У меня теперь цветы, овощи, яблоки, ягоды и всякая другая тварь. А козел бодает под коленки всех — знакомых и незнакомых.

Целую твои глаза.

Искандер-хан».

Письма из-за границы Куприн адресовал в Нейволу, дачное место под Выборгом, в шестидесяти верстах от Петербурга, где мы жили летом на нашей даче.

Местность вокруг деревни Нейвола была холмистая. На самом высоком холме, над озером Ваммельярви (черное озеро), стояла дача литератора Ф. Н. Фальковского, где в сентябре 1919 года умер писатель Леонид Андреев.

Соседкой Фальковского была Александра Павловна Ланг. Ее большой двухэтажный дом в 1913—1914 годах занимал А. М. Горький после возвращения с Капри. Новый, 1916 год Алексей Максимович встречал на нашей даче в кругу многочисленных литераторов.

К даче Ланг примыкало небольшое имение (внизу под горой) Эудженио Джиральдони, от которого Александр Иванович передает Лидочке поклон из Италии. Дочь Э. Джиральдони — Лилина была подругой Лиды, а сын Женя дружил с Колей Иорданским (сын Н. И. Иорданского от первого брака).

На другом холме жил писатель Е. Н. Чириков и профессор А. П. Пинкевич.

Через деревню, тоже на возвышенности, стояла дача Демьяна Бедного по соседству со Станюковичем.

И только В. Д. Бонч-Бруевич поселился на низменности, недалеко от усикирского шоссе. Когда Владимир Дмитриевич строил дачу, Демьян Бедный шутил над ним.

— Теперь я буду называть вас Бонч-Буржуевич.

— Прошу мою фамилию не коверкать, — сердился Бонч-Бруевич, — она имеет историю в несколько сот лет.

ГЛАВА VIII

Куприн на первом этапе эмиграции. — Деньги из Парижа. — Встреча с Е. М. Куприной в Выборге. — Переписка с Куприным. — Рассказ «Каждое желание».

Во время первой мировой войны Куприн, как офицер запаса, был призван в армию. Служил он в Финляндии. По болезни был освобожден от военной службы и снова вернулся в Гатчину, которая 16 октября 1919 года была занята войсками Юденича.

Принимая участие в издании газеты «Приневский край», в которой печатались антисоветские статьи, воззвания и прокламации, Куприн при отступлении армии Юденича не мог оставаться в Гатчине и вместе с отступающими частями очутился в Эстонии.

В это время я жила в Финляндии.

Финляндия после Октябрьской революции отошла от России, и с апреля 1918 года граница с Финляндией

была закрыта, но мне разрешили выехать в Нейволу: у меня снова открылся легочный процесс.

В конце 1919 года я получила из банка в Териоках денежное извещение. Перевод меня очень удивил. «Какие деньги? Откуда?» — думала я, отправляясь в Териоки (ныне Зеленогорск). В банке меня все знали.

— Вот тебе, раува Куприна, деньги из Парижа, — сказал мне старик, заведующий банком, и протянул сопроводительное письмо, в котором было написано: «Мы имеем сведения, что А. И. Куприн должен прибыть или уже находится в Финляндии. Просим передать ему означенную сумму. *Денисовы*».

— Письмо и деньги адресованы мне, но получить их я не могу: я вышла замуж вторично и теперь я по паспорту — Иорданская.

— Не спорь со мной! — сердито закричал старик. — Я сам из Нейволы и знаю, кто ты.

Он открыл дверь в соседнюю комнату и позвал:

— Юхан, Ионас, идите сюда! Вы знаете ее?

— Знаем.

— Юхан, кто эта женщина?

— Раува Куприна.

— Ионас, кто эта женщина?

— Госпожа Куприна.

— Слышишь?!

В то время в Финляндии существовал закон: если три свидетеля, три честных, без судимости человека подтверждают правильность данного факта, то это равносильно закону.

Получив деньги от неизвестных мне Денисовых (на финскую валюту около десяти тысяч марок), я тут же положила всю сумму на текущий счет.

Этот денежный перевод не выходил у меня из головы. «Наверное, Куприн скоро приедет в Финляндию», — решила я.

Как-то утром, просматривая почту, я увидела в одной из ревельских газет карикатуру: за столом сидит Куприн, грязный, оборванный.

Я послала в эту газету телеграмму Куприну на немецком языке. Просила написать мне о Лидочке, а также сообщила, что для него получены деньги из Парижа.

Александр Иванович тотчас же ответил мне телеграммой: «Лида жива, здорова. Вышла замуж [1]. Осталась в Петрограде. Письмо в дороге».

В письме Куприн просил деньги ему не высылать, так как скоро приедет в Финляндию.

В Гельсингфорсе (Хельсинки) Куприны поселились в гостинице. Мы условились встретиться в Выборге.

В Выборг Елизавета Морицевна приехала одна. В Финляндии для эмигрантов были установлены строгие ограничения на передвижение по стране. Чтобы поехать в другой город, необходимо было специальное разрешение финских властей.

В Выборге мы пробыли с Елизаветой Морицевной два дня. В дороге я простудилась, у меня поднялась температура, Лиза не хотела оставить меня одну в таком состоянии в гостинице. Я передала ей деньги, полученные из Парижа, она — часами рассказывала мне о всем пережитом.

Прошло несколько дней, и в Нейволу пришло письмо от Александра Ивановича: «Милая Маша, здорова ли ты? Если хорошо себя чувствуешь, не поленись, написать два слова. О себе и о Лидии. Я что-то под старость становлюсь чувствительным. Про себя ничего не скажу: образ моего поведения виден из газет. А пока все черные слова таю про себя, коплю про запас.

Очевидно, писать нельзя писем иначе, как заказными.

А.»

На обратной стороне писала Елизавета Морицевна:

«Милая Муся,

Саша вслед за деньгами (из Парижа от Денисовых.— *М. К.-И.*) послал тебе письмо, но ответа до сих пор не получил. Как твое здоровье? Удалось ли тебе получить весточку от Лидуши? На днях надеюсь улышать о ней от общих знакомых...

Целую тебя, Саша тоже.

Лиза».

Между мной и Александром Ивановичем началась переписка.

«У тебя острый глаз на все смешное и веселое, чего мне сейчас не хватает», — писал Куприн в одном из писем и просил сообщать ему забавные случаи для фелье-

тонов. Он сотрудничал тогда в газете «Новая русская жизнь» и подписывался А. Куприн или «Али-хан».

В другой раз он писал мне: «Не найдешь ли ты, Машенька, в своей дачной библиотеке сборник «Земля» с моим рассказом «Каждое желание». Сейчас предоставляется возможность издать сборник моих рассказов. Для того, чтобы подновить содержание этого сборника, следует переменить заглавие, и рассказ появится как новый. Я уже придумал новое заглавие для него — «Звезда Соломона». Ты окажешь мне большую помощь, если немедленно пришлешь его мне».

Двадцатая книжка «Земли» у меня сохранилась, и я выслала ее Куприну в Гельсингфорс. Сборник вышел под названием «Звезда Соломона», куда вошел и рассказ «Каждое желание», переименованный в «Звезду Соломона».

Через три года Александр Иванович запамятовал и писал мне из Парижа: «...Читала ли Ты... «Звезду Соломона» (она же «Каждое желание»). Хочешь, пришлю Тебе?..»

ГЛАВА IX

Пробелы памяти Куприна.

Пробелы в памяти А. И. Куприна удивляли меня давно.

В 1902 году я рассказала Александру Ивановичу кошмарный сон, который до замужества мучил меня от времени до времени. Будто я нахожусь в пустой квартире. Бегу из одной комнаты в другую. Комнат впереди много, и все они заперты. Мне нужно успеть открыть дверь, вытащить ключ и запереть ее с другой стороны: кто-то преследует меня, и расстояние между нами все уменьшается. Еще одна последняя комната, и «он» меня настигнет. У меня нет больше сил, и я в ужасе просыпаюсь.

Этот сон Александр Иванович вставил в рассказ «На покое». Рассказ отослал в «Русское богатство», а 23 сентября 1902 года обратился с письмом к Н. К. Михайловскому: «Я думаю кое-что в рассказе урезать... а иные места надо переделать; так, например, в последней

главе сон старого актера; мне кажется, я бессознательно кого-то в ней повторил, кого именно — вспомнить не могу, но это меня беспокоит»[1].

А. И. Куприн познакомился с Л. Н. Толстым 25 июня 1902 года на пароходе «Св. Николай». Видеть Толстого вторично в Крыму весной 1905 года, как пишет Александр Иванович в своих воспоминаниях[2], он не мог, так как всю весну и лето 1905 года, до августа, когда уехали в Балаклаву, мы жили на даче близ станции Сиверская.

В декабре 1902 года Куприн писал А. П. Чехову: «...Кстати, я познакомился с Горьким — он у нас обедал вместе с Пятницким. Знаете, в нем есть что-то аскетическое, суровое, проповедническое. Все рассказывает о молоканах, о духоборах, о сормовских и ростовских беспорядках, о раскольниках и т. д....»[3]

Никаких разговоров у нас за обедом о молоканах, духоборах, беспорядках в Сормове и Ростове, о раскольниках — не было. Говорили только на литературные темы — о преобразовании «Знания» в крупное издательство, о появившихся в печати литературных произведениях, о новых научных исследованиях, о пьесе Горького «На дне».

В феврале 1902 года Куприн писал из Петербурга Л. И. Елпатьевской: «....Сняли две комнаты у каких-то «столяров по Марксу» (синие блузы, бледные интеллигентные лица, волосы ежиком и добрые, честные мозолистые руки)...»[4]

Александр Иванович нанял небольшую комнату у столяра-краснодеревца. Наш хозяин — одинокий старик лет шестидесяти — днем был занят в какой-то мастерской, в свободное время дома ремонтировал старинную мебель или делал на заказ шкатулки, рамки, киоты.

Через неделю после похорон А. А. Давыдовой, 2 марта 1902 года, Куприн писал Л. И. Елпатьевской: «...Вы знаете, как я Вам во всем верю, даже в мелочах — поэтому настаиваю на вызове сюда Коки. И он здесь будет, кажется, 11 числа сего месяца...»

Речь идет о моем брате, Николае Карловиче Давыдове, который был вызван из Тифлиса на похороны матери и никуда из Петербурга в ближайшие дни после ее похорон не уезжал.

В августе 1901 года Куприн писал Л. И. Елпатьевской из Зарайского уезда Рязанской губернии: «Облюбовал я одну темку; вот она в сжатом виде: профессиональный атлет, борец, русский, даже полуинтеллигент, должен состязаться вечером в цирке с американцем Джоном Ребером. Отказаться нельзя, он уже внес сто рублей на пари, и афиши выпущены. Но он чувствует с утра озноб и лень во всем теле. Видит на репетиции утром своего противника (тот тренируется) и чувствует страх. Вечером он борется, побежден и умирает у себя в уборной, не успев снять трико, от разрыва сердца...

Когда я *вчера* (курсив наш) придумал это, то у меня от радости даже руки похолодели. Я танцевал по комнате и пел: пишу, пишу, пишу! И вот сегодня я опять сижу бесплодно за столом, а тема кажется мне бледной, неинтересной, вылинявшей. Голубчик, что же это со мной! Неужели я впадаю в идиотство?»

Нервное ли расстройство (или Куприн имел иные соображения), но он сообщил Елпатьевской краткое содержание ранее написанного им в Ялте рассказа «В цирке» и посланного тогда же из Ялты в редакцию журнала «Мир божий».

В упомянутом письме много и других измышлений его по временам больной фантазии.

В Париже Куприн написал роман «Юнкера» как продолжение повести «Кадеты».

В «Юнкерах» Александр Иванович сообщает, что он познакомился с Лиодором Ивановичем Пальминым (в повести Диодор Иванович Миртов) летом 1888 года на даче у сестры, в Краскове.

В эмиграции, через много лет, Куприн запамятовал и отнес знакомство с поэтом Л. И. Пальминым, влияние которого на творчество молодого Куприна-кадета не вызывает сомнения, к другому периоду своей жизни, когда Куприн-юнкер выступает преданным патриотом

самодержавия (охрана Александра III в Москве юнкерами, среди которых был и Куприн, восхищавшийся этим колоссом).

Исследователям творчества А. И. Куприна следует сопоставить годы вольнолюбивых стихотворений Куприна-кадета («Боец», «Песнь скорби»), которые опровергают его аполитичность того времени, с тем, что он пишет в «Юнкерах», и станет понятно, что Куприн познакомился с Л. И. Пальминым не летом 1888 года, а на три-четыре года раньше.

ГЛАВА X

Письма Куприна из Парижа к нашей дочери Лидии.

Как Куприн жил в эмиграции, видно из его писем из Парижа, адресованных нашей дочери Лидии, которая работала в Москве в Министерстве земледелия.

«Милая Лида.

Мы все очень обрадовались, когда получили твое письмо и узнали, что жестокая судьба... пощадила тебя и ты еще жива, перенеся и тиф и голод...

Живется нам — говорю тебе откровенно — скверно. Обитаем в двух грязных комнатюшках, куда ни утром, ни вечером, ни летом, ни зимой не заглядывает солнце. Елизавета Морицевна сама стирает, стряпает и моет посуду... Ужаснее всего, что живем в кредит, то есть постоянно должны в бакалейную, молочную, мясную, булочную лавки; о зиме думаем с содроганием: повиснет новый груз — долги за уголь. А французские лавочники — не русские: их ни словами, ни слезами, ни лестью не проймешь. Вот и крутимся до первых случайных денег, затыкая чем попало дыры в нашем ветхом корабле.

Ничего я не написал за эти три года, кроме газетных статей, которым грош цена. О прекрасном и не заикался: ни думать о нем некогда, ни печатать негде. Пробовал делать сценарий для кинема — неудача. Не по мне дело. Как живем? Как и все русские эмигранты (кроме спекулянтов и банкиров) — чудом, воздухом...

Лучше жилось в Гельсингфорсе. Там газетная работа была — по новизне — легка, оплачивалась недур-

но. Но газеты оскудели. Пришлось ехать в Париж. Там попервоначалу опять было так себе, но «Общее дело» тоже начало болеть худосочием. Ныне прекратилось, оставшись мне должным тысячи две франков. Пробовал писать в газетишки мелких государств за самую мизерную плату: печатают, но не платят. Эмигрант сплошь — трусишка, эгоист, рвач, завистливый нищий.

Да и все в этом духе.

Это я пишу тебе вовсе не для того, чтобы увильнуть от твоего желания приехать в Париж. Несомненно, ты нашла б у нас и кое-какой кров, и самый скромный стол. Но места здесь ты никогда б и ни за что не получила. Офицеры генштаба служат в типографии наборщиками. Полковники носят кирпичи и разбирают колючую проволоку. Женщинам деваться некуда: хорошенькая умная дама, знающая фр., нем., англ. языки, имеющая Ундервуд и в совершенстве пишущая на нем, не может достать работы. Всякие русские канцелярии лопнули — людей туда уже никогда не потребуется более. Правда, есть женщины, шьющие и вяжущие на большие магазины. Но там платят чудовищно мало, да и то, чтобы заработать десять франков, нужно со сверхчеловеческим терпением сидеть, не разгибая спины, с засветла до сумерек в летний день...

Вот теперь и рассуди хорошенько — стоит ли ехать.

Часто от моих корреспондентов я получаю такие фразы: «Блестящий Париж с его упоительной, головокружительной жизнью, с его роскошью и весельем...»

Мне надоело отвечать одним и тем же: Париж теперь грязен, скучен, скуп и беден. А то, что в нем есть еще веселого, прекрасного и вдохновенного, закрыто для нас каменной стеной.

Уехать я, правда, хочу. Но не в Берлин, куда, кстати, никогда и не собирался, а нащупываю что-нибудь вроде славянских барьеров, или Риги, или Польши, или Ковно. Как я тебя повезу на неверное?

Итак, я бы тебе не советовал приезжать сейчас. Если уже так тебе непременно хочется увидеть Столицу Мира, Светоч Культуры — подожди немного. Если я вывернусь и останусь в Париже, то дам тебе знать и пришлю денег на дорогу. Нет — то уведомлю тебя о стране, куда перееду.

Не смогла ли бы ты устроиться в Риге?

Но, во всяком случае, я попробую высылать тебе, до того или другого решения, франков по тридцать — пятьдесят в месяц, не знаю, сколько это будет на советские. Напиши, как это обделать без боязни посылать деньги впустую. Также пошлю тебе гуверовскую посылку. Надо ли? Да, кстати, напиши же твой адрес пояснее. Воротниковский пер. или Сад.-Триумфальная?..

твой *А. Куприн.*

Франция, 137, rue de Ranelagh Paris (16a).

Посылаю тебе оплаченную открытку, чтобы не тратиться на марки.

А.»

«137, rue de Ranelagh Paris (16 a).

Милая Лида.

Что ты не отвечаешь? Может быть, мое письмо не дошло до тебя?..

. . . .

А может быть, верно предположение Лизы, которая говорит, что тебе в моем письме могло что-нибудь показаться обидным?

Нет, дорогая, у меня и в мыслях не было в теперешнее время, да еще издали, да еще ни с того ни с сего обижать тебя. Во всяком случае, вкратце повторяю то, что писал.

Русский труд окончательно не в спросе. Виною тому русская брезгливость, неуживчивость, неспособность забыть прежние блаженные времена, когда человек, ничего не знающий, ничего не умеющий, без терпения, инициативы и энергии, мог жить сыто, припеваючи, посвистывая, держа ручки в брючках, в нашей сказочной стране. Русским просто не верят. От этого терпят и настоящие работники.

Директор кавказского банка, бывший тифлисский городской голова, служит кухонным мужиком при булочной. Артистка б. имп. Александринского театра (что привезла мне в Гельсингфорс от тебя привет) служит черной кухаркой. Офицеры генштаба моют по ночам автомобили. Все это за гроши. Притом французы спрашивают работы шестнадцатичасовой и напряженной, а платят гроши. Неисполнительность, недовольная мина — за хвост и к черту. Примеров сотни.

Женский труд, даже французский, стоит меньше грошей. Русский, женский — не имеет вовсе спроса... Шитье не окупает еды.

Вот меню французской портнихи: утром почистит зубы и мимоходом хлебнет глоток воды. В полдень чашка черного кофе (20 сентим) и $^1/_2$ булки (30 сентим). В шесть часов она спрашивает в ресторане горячей воды и распускает в ней кубик сгущенного бульона «Maggi» и съедает вторую половину булки. Плюс салат за 50 сент. Остальной заработок на квартиру, а главная трата — на одежду. Как живут?

Не заключай, ради бога, из этого всего, что я отговариваю тебя или не хочу тебя видеть. Это вздор — очень хочу видеть. Но сам я еще не знаю, куда уеду из Парижа. А уеду непременно в страну с дешевой валютой: Чехию, Болгарию, Сербию, Вену, Германию и т. д. Если там будет лучше, дело другое, непременно выпишу тебя. Здесь живем в двух крошечных, совершенно темных комнатках, выходящих в колодезь, и кругом в неоплатных долгах. Сейчас вот получил уведомление из банка Credit au Travail, что надо завтра платить тысячу франков. А где я их возьму?

Ты кто теперь — Куприна или Леонтьева? (официально). За фамилию Куприна тебе не чинят ли пакостей. Сообщи мне мамин адрес и напиши о ней.

Твой *А. Куприн*».

«Милая Лида.

Кажется, мы все твои письма получили, хотя был большой перерыв, когда мы писали, а ты молчала...

Дела мои по-прежнему не веселят. Продал в прошлом году две книги на французском языке («Жидкое солнце» и «Гранатовый браслет»). Получил шесть тысяч франков — и это как раз за квартиру (по пятьсот фр. в мес.), не считая воды, электричества, газа, платы консьержу и т. д. Продал также «Суламифь». Но там меня обмахорили. Получил всего две тысячи франков. Стало быть, остальные десять тысяч франков пришлось натягивать сверхчеловеческими приемами. «Случай» — всегдашний мой верный помощник — кое-как вытягивал меня из ухабов, теперь, кажется, изменил. Страшно подумать, что будет в этом году. Переведут «Яму», «Детские рассказы» [1], но это капля, крошка в бездне моих

запутанных дел. Одно хорошо — Париж. Прожив в нем два с лишком года, я только теперь убедился, что всей его прелести не изучишь и во всю жизнь. Я говорю о Париже — городе, а не о увеселительном Париже, который попросту — скучен и недоступен нашему карману. А Париж музеев, церквей, старых улиц, милых садов, Сены и детворы — неописуемо хорош. Ах, жаль, что глазами сытым не будешь.

Жду с нетерпением одной существенной подпоры — извещения из Нью-Йорка о судьбе моей огромной кинопьесы. Если да — вздохну свободно. Пьеса, хоть и моя, но очень хороша, так говорили мне и здешние постановщики (metteur en scénы).

В ней, однако, два существенных недостатка: первое: длинна; в окончательной разработке займет пять вечеров. Второе — дорога: мои знакомые парижские специалисты исчисляли ее постановку в двенадцать миллионов франков. Выкуси-ка.

Если случай опять повернется ко мне, вместо задницы, лицом, соберу тебе (и это первым делом) хорошенькую посылочку. А так как это, вероятно, будет не завтра и не послезавтра, то напиши, чего бы тебе хотелось, начиная от самого важного и кончая самым соблазнительным. . . . .

Живем мы скучно и туго . . . .

Напиши о себе побольше. Увидишь маму — передай ей от меня и Лизы самый искренний, сердечный привет. Я ей верный друг. Да пусть написала бы два слова мне, потихоньку от своих. Я никому не покажу...

Я бы и благословил издали, да, боюсь, тебе смешно станет[2]. Пиши же, милая моя дочка,

твой *А. К.*

7 ноября 22 г.

1-bis, B[re] de Montmorency Paris (XVI)

Ты сомневалась в моих познаниях в французском языке. Посылаю тебе кусок одной из бесчисленных газетных вырезок. Пресса здесь ко мне очень хороша.

Писать негде — вот беда. Кажется, разучусь совсем сочинять приятные истории».

ГЛАВА XI

Встреча Ангарского с Куприным. — Письмо Куприна из Парижа. — В. Н. Бунина о жизни Куприна в Париже. — Отъезд Куприна на родину.

В 1923—1924 годы я жила в Риме, где Н. И. Иорданский был полпредом СССР в Италии.

В сентябре 1923 года он получил письмо из Берлина от Н. С. Ангарского.

«Дорогой Николай Иванович!

Куприна я видел, все передал ему, что просила Мария Карловна. Он очень тронут. Выглядит неплохо, даже отмолодел. Елизавета Морицевна тоже неплохо выглядит. Нуждаются они очень. В Россию он не прочь ехать, но спрашивает, не расстреляют ли? В газете Алексинского[1] он пишет и заявляет, что для него никогда не было вопроса в том, где писать; будет, говорит, писать даже на заборах, если надо высказаться.

Царь, говорит, у него особенный, так же не существующий, как и коммунизм. Просит вернуть его записные книжки, без коих он не может ничего написать, просит также вернуть неоконченные рукописи; все это где-то хранится в Наркомпросе. Я сказал, что возврат возможен в Россию.

У меня должна была еще состояться с ним одна встреча, но я уклонился ввиду того, что она приняла не тот оборот. Получилось такое впечатление, что я охочусь за Куприным и угощаю его обедом, и это в то время, когда он пишет в «Русской газете». Я решил, что мне неудобно продолжать разговор, и оборвал его. Написал в Москву Л. Б. (Красину. — *М. К.-И.*) и прошу ответить, как он смотрит на Куприна. Ведь поручение я имел от Марии Карловны, и, собственно говоря, я не должен был бы разговаривать даже, не зная, как смотрит на это дело Москва. Может быть, Мария Карловна информирована, но она мне ничего не сказала. Бальмонт в страшной нужде и тоже хочет ехать. Сильно рискует...

Привет Марии Карловне.

Ваш *Ангарский*».

Никаких указаний из Москвы, конечно, не было. Узнав, что Ангарский едет в Париж, я передала для

Куприна письмо, в котором советовала ему вернуться на родину.

При следующей оказии я сообщила Александру Ивановичу, что прочла его рассказ «Однорукий комендант»[2], который мне очень понравился. И опять звала его на родину.

Куприн ответил мне в феврале 1924 года.

«Ты совершенно права, мой ангел Машенька: существовать в эмиграции, да еще русской, да еще второго призыва — это то же, что жить поневоле в тесной комнате, где разбили дюжину тухлых яиц. В прежние времена, ты сама знаешь, я сторонился интеллигенции, предпочитая велосипед, огород, охоту, рыбную ловлю, уютную беседу в маленьком кружке близких знакомых и собственные мысли наедине... Теперь же пришлось вкусить сверх меры от всех мерзостей сплетен, грызни, притворства, подсиживания, подозрительности, мелкой мести, а главное, непродышной глупости и скуки. А литературная закулисная кухня... Боже, что это за мерзость!

Почему-то прелестный Париж (воистину красота неисчерпаемая!) и все, что в нем происходит, кажется мне не настоящим, а чем-то вроде развертывающегося экрана кинематографии. Понимаешь ли — я в этом не живу. Это все понарошку; представление. Знаю, что когда вернусь домой и однажды ночью вспомню утренние парижские перспективы, площади — звезды, каштановые аллеи, Булонский лес, чудесную Сену под старыми мостами, древние дома, пузатые от старости, Латинского квартала, визгливые ярмарки, выставки цветов, розы «Багатель», внутренний двор Лувра, и всё, всё, всё, — знаю, что заплачу, как о непонятой, неоцененной, ушедшей навсегда любви.

Теперь все чаще и чаще возвращаюсь воспоминаниями к Москве, к моей прежней, детской Москве, раньше как будто забытой мною совсем. Боль и тоска по родине не проходят, не притерпливаются, а все гуще и глубже... Пять лет в изгнании. Пять лет! И это в то время, когда полной, сознательной жизни остается «всего ничего», как говорят гдовские кухарки. Пять лет, пропавших у собаки под хвостом.

А все же не поеду. Звала меня очень Лидуша, пел Масленников[3], ты вот советуешь, тебе я всего охотнее

верю. Последний был милый передатчик твоего письма. «Работать для России можно *только там*. Долг каждого искреннего патриота — вернуться *туда*». В этой фразе много верного, но все-таки это — фраза. *Там* теперь нужны коновалы, фельдшеры, учителя, землемеры, техники и пр. пр.

Что я умею и знаю? Правда, если бы мне дали пост заведующего лесами Советской Республики, я мог бы оказаться на месте. Но ведь не дадут?

Ну, положим, я приеду. Предположим, что с меня заживо шкуру не сдерут, а предоставят пастись, где и чем хочу. Скажем, вернут мне гатчинский клочок, или, лучше, по твоей доверенности на аренду, дадут хозяйничать в Балаклаве... Но ведь этими невинными занятиями не проживешь. Надо будет как-нибудь вертеться, крутиться, ловчиться. Ты скажешь — писать беллетристику. Ах, дорогая моя, устал я смертельно, и идет мне 54-тый. Кокон моего воображения вымотался, и в нем осталось пять-шесть оборотов шелковой нити... Да-с, захотели мы революции, как кобыла уксусу. Правда: умереть бы там слаще и легче было.

Твой посланный очень, очень милый и легкий человек. Он у нас сегодня завтракал. Сейчас сидит разговаривает с Лизой, а я тороплюсь дописывать письмо.

Благодарю тебя за комплимент моему «Коменданту». Ты у меня всегда умница: никто его аромата здесь не почувствовал, начиная с Бунина и кончая теми, которые в нем увидели белогвардейское начало.

Читала ли ты моего «Царского писаря», «Воробьиного царя» и «Пегие лошади»? Или «Звезду Соломона» (она же «Каждое желание»). Хочешь, пришлю тебе?

Сообщи мне адрес Лидочки. Она мне перестала писать. Думаю, она боится, что произвела меня в дедушки [4]. Ничего. Я теперь стал кроток и покорен судьбе. У мерина характер всегда лучше, чем у жеребца.

Целую твои руки. Прости, что впопыхах написал и глупости. Спешу. Чрезвычайно рад буду твоим письмам, как и всегда им радовался. Опиши свою жизнь.

Письма Лидии очень хороши. Неужели и ее судьба вынесет, как когда-то меня. Дай-то бог. Поклон Николаю Ивановичу. Лиза тебя целует.

Твой *Саша*».

* * *

«В эмиграции к Александру Ивановичу относились и со вниманием и с уважением, — писала мне В. Н. Бунина из Парижа 4 октября 1960 года. — Он был совершенно другой, чем в России: тихий, ласковый и благостный. Тот, кто не знал его в России, и не представлял его. Его любили и большинство читателей ценили.

...Они сильно нуждались. Лизи не умела быть расчетливой. Заходили к ним из писателей: Борис Лазаревский, Алексей Толстой, Рощин, Иван Алексеевич, может быть, Тэффи, а больше бывали у них борцы и разные собутыльники...

Александр Иванович всегда с Буниным восхищался Вашим умом, читали вместе Ваши письма, а Елизавета Морицевна всегда передо мной оправдывалась, ссылаясь на Батюшкова, что он уверил ее, что она «должна спасти великого человека. И если почетно быть сестрой милосердия на войне, то в тысячу раз почетнее ухаживать за великим человеком». И надо сказать, что она так и относилась и так вела себя по отношению него. Он называл ее «укротительницей строптивого».

Мне кажется, в подсознании Александра Ивановича клубились такие чувства, о которых мало кто имел представление...

Каким уехал Александр Иванович из Парижа, я знаю... Он уже не узнавал сразу, не узнал даже и меня, когда я в последний раз была у них, и только, когда ему Лизи, так я звала ее, несколько раз повторила: «Это Верочка! Разве ты не узнаешь», — то он вспомнил, и тогда уже мы разговаривали. Не узнал он на улице и Ивана Алексеевича, который об этой встрече писал [5]. Перед самым их отъездом я у них не была. Они держали это в большой тайне, в которую была посвящена одна лишь их близкая знакомая. По слухам, очень хотела этого отъезда Киса [6], уверившая их, что она тоже в скором времени туда поедет...»

Мне передавали (не помню сейчас кто), что Куприных провожал из Парижа только один человек — жена поэта Саши Черного, Мария Ивановна Гликберг.

ГЛАВА XII

Возвращение Куприна. — Встречи в Москве и Голицыне. — Болезнь. — Переписка с Е. М. Куприной. — Смерть и похороны Куприна.

О возвращении Куприна на родину я знала. Мне также было известно, что готовится депутация от Союза писателей, но меня на встречу Куприных никто не пригласил, а без приглашения я, разумеется, на вокзал не поехала.

В день приезда Куприна, около половины двенадцатого ночи, мне позвонили по телефону.

— Муся, это ты? Это я, Лиза. Мы сегодня приехали. Саша в крайне возбужденном состоянии. До сих пор не может заснуть. Когда нас привезли в гостиницу, он несколько раз спрашивал меня, где же Маша. Но я не могла позвонить тебе: никто не знал номера твоего телефона. Четверть часа назад сообщил Скиталец. Прошу тебя, Муся, завтра непременно приехать к нам, «Метрополь, № 372.

На следующий день, 1-го июня 1937 года, я отправилась в «Метрополь» к Куприным. Вошла в номер. Александра Ивановича в комнате не было. Ко мне подошла Елизавета Морицевна. Мы расцеловались. Прошло семнадцать лет после нашей встречи в Выборге.

— А где Александр Иванович? — спросила я.

— Он отдыхает рядом в комнате. Когда увидишь его, не удивляйся, Муся, он очень болен.

— Как он перенес дорогу? Когда вы выехали из Парижа?

— Мы выехали в субботу, двадцать девятого мая... Александр Иванович знал, что мы скоро должны вернуться на родину, радовался очень... Но в день отъезда, чтобы он не нервничал и не волновался, я сказала ему, что мы едем за город. Вещи были сданы заранее, и с собой мы взяли только корзину с бутербродами и кошку. К концу дня он стал спрашивать меня:

— Лиза, скоро?

— Поспи еще немного, Саша, скоро приедем.

В воскресенье мы прибыли на пограничную станцию. Там была сутолока страшная.

— Почему так много народу? — спросил Александр Иванович.

— Как всегда на вокзале в воскресный день, — ответила я. И только когда мы переехали границу, я сообщила ему, что мы едем в Москву.

— Москва — это хорошо! — сказал Александр Иванович.

Рядом в комнате послышались шаги.

— Вчера у нас был Вася Регинин, — переменила тему Лиза, — он принес Александру Ивановичу полное собрание сочинений (нивское)...

Вошел Куприн. Я увидела маленького, худенького старичка в очках. Первые минуты мое сознание не мирилось с тем что я вижу Александра Ивановича — настолько он был непохож на себя.

— Муся, он почти ничего не видит, — предупредила меня Елизавета Морицевна.

— Кто это Лиза? — с беспокойством спросил жену Александр Иванович. Голос его был хриплый, не громкий и без всяких интонаций.

— Муся пришла.

— Сашенька, это я — Маша.

— Маша, — узнал меня по голосу Куприн. — Подойди ближе. Ты где-то далеко — я тебя не вижу.

Я подошла к Александру Ивановичу. Видеть собеседника он мог только под определенным углом.

— Как поживает дядя Кока? — спросил Куприн о моем брате, с которым раньше был очень дружен.

— Николай Карлович умер в тысяча девятьсот пятнадцатом году, Саша, — ответила я.

— Лида тоже умерла, — сказал Александр Иванович и замолчал.

От нашей прежней жизни в его памяти удержались только три имени: дядя Кока, Маша и Лида.

Уходила я от Куприных с тяжелым чувством. Елизавета Морицевна просила чаще бывать у них, а Александр Иванович, прощаясь, сказал мне:

— Передай от меня поклон дяде Коке.

Вскоре Куприна навестил его внук Алеша [1]. Ему было тогда тринадцать лет. Пришел он с отцом, Б. К. Егоровым.

— Чей внук? — спросил Александр Иванович Елизавету Морицевну, когда она подвела к нему Алешу.

— Твой, Саша. От Лидочки.
— Но Лиды нет.
— Лида умерла [2], но Алеша остался.
— Да-да, внук Алеша, — повторял Александр Иванович.

Может быть, за три-четыре года до приезда в Москву, Куприн еще надеялся с новыми силами начать работу, но в год приезда тяжелая болезнь отняла у него все его силы.

При мне Елизавета Морицевна брала руку Александра Ивановича и выводила автографы. Отвечая на вопросы корреспондентов, она спрашивала Куприна:

— Ты так говорил, Саша?
— Да, Лиза.
— Тебе в Москве нравится?
— Нравится, — повторял Куприн последние слова жены.

Но чаще всего Елизавета Морицевна говорила назойливым корреспондентам: «Александр Иванович сегодня очень устал, но говорил вот что: . . . . »

Правдиво рассказал о встрече с Куприным писатель Н. Д. Телешов: «Я был у него в гостинице «Метрополь» дня через три после его приезда. Это был уже не Куприн — человек яркого таланта, каковым мы привыкли его считать, — это было что-то мало похожее на прежнего Куприна, слабое, печальное и, видимо, умирающее. Говорил, вспоминал, перепутывал все, забывал имена прежних друзей. Чувствовалось, что в душе у него великий разлад с самим собою. Хочется ему откликнуться на что-то, и нет на это сил» [3].

В «Метрополе» Куприны жили дней пять. Несколько раз гуляли по московским улицам. Прохожие, при встрече с ними, приветствовали Куприна, Александр Иванович снимал шляпу и кланялся.

На лето Куприны переехали в Голицыно. Я была у них 30 августа, в день именин Александра Ивановича, и еще раз в конце сентября, перед отъездом в Анапу. Александр Иванович и Лиза встретили меня на станции. У Александра Ивановича в руке был букет из астр и хризантем.

Мы шли потихоньку к их дому. Куприны жили в Голицыне по ул. Луначарского, 26. Лиза вела Александра Ивановича под руку: он плохо видел и часто спотыкался. Я шла сбоку.

— Ты здесь, Маша? — время от времени спрашивал меня Куприн.

Седьмого ноября 1937 года Куприных пригласили на военный парад. В этот день Александр Иванович на Красной площади очень устал и сильно простудился. Началось воспаление легких. До середины декабря Куприны оставались в «Метрополе», а потом их отправили в Ленинград, где они получили квартиру в Выборгском районе (Лесной проспект).

В феврале 1938 года Елизавета Морицевна писала мне:

«Милая Муся,

Саше стало немножко лучше, хотя он еще в кровати. Живем мы в прекрасной квартирке вдали от центра, весной будет особенно хорошо — в двух шагах большой парк.

Как-то ты, милая, поживаешь, как твое здоровье? Ты что-то последнее время покряхтывала.

Напиши мне о себе, буду очень рада, перед отъездом так и не удалось повидаться.

Я сижу целыми днями дома, от Саши не отхожу.

Целую тебя — *Лиза*».

Состояние здоровья Александра Ивановича ухудшалось. Его положили в больницу. Из института скорой помощи Елизавета Морицевна писала мне 2 июля 1938 года:

«Дорогая моя Муся,
спасибо тебе за милое и обстоятельное письмо. Пришло оно в очень тяжелый момент, когда дорого каждое ласковое слово. Сашенька тяжело болен, у него рак пищевода. Операцию он перенес хорошо, несмотря на общий наркоз. Кормят его теперь через трубочку. Слабенький, конечно.

Вчера мы сюда переехали из института усовершенствования врачей, так как он закрылся на лето.

Мне грустно, что и ты прихварываешь, не падай ду-

хом, Мусенька, ведь у тебя есть друзья! Я буду счастлива, если ты и меня к ним причислишь...

Не сердись, родная, я не могу написать длинного письма, — очень устала. Все время держалась крепко, а сейчас горе подкосило. Я все надеялась, что у него нервные спазмы пищевода, как и думали врачи сначала. Завтра еще будут смотреть рентгенами.

Целую крепко — *Лиза*».

Я решила ехать в Ленинград. Написала об этом Куприным. В августе (1938 г.) получила от Елизаветы Морицевны письмо:

«Милая моя Мусенька,
конечно, буду рада твоему приезду... Сашенька подкормился через трубочку — стал крепче, даже щеки порозовели.

Ах, как тяжко, Мусенька, знать, что от этой болезни не выздоравливают! Одно утешение, что он не страдает — болей нет.

Крепко целую — *Лиза*».

А за два дня до смерти Александра Ивановича Елизавета Морицевна телеграфировала мне: «Сашеньке плохо», а затем — «немедленно выезжай».

В тот же вечер я выехала в Ленинград. Александр Иванович был без сознания. 25 августа 1938 года он скончался.

Гроб был установлен во дворце одного из бывших великих князей на набережной Невы. Сначала он стоял в большом зале. Менялся почетный караул. Потом вдруг его поспешно перенесли в маленький зал, где было очень тесно. Из литературного мира были ленинградские литераторы — Слонимский, Любарский, Зощенко, Диксон и другие. Из москвичей же я видела только Луговского.

У гроба с нами сидел старик Александр Иванович Катун, портной, с которым Куприн еще до эмиграции был дружен и часто останавливался у него, приезжая из Гатчины в Петербург.

На улице собралась тысячная толпа проститься с писателем, но доступ к нему был невозможен.

На кладбище мы ехали в машине: Елизавета Морицевна, я, Ольга Константиновна Витмер и вдова худож-

ника Щербова. Впереди нашей машины шесть белых лошадей везли на дрогах белый гроб, покрытый белыми цветами. Следом двигалась белая колесница с венками, составленными только из белых цветов.

Хоронили Куприна без речей и музыки. После погребения все очень быстро разошлись. Мы с Лизой остались у могилы одни.

— Пойдем, я покажу, где лежит Зина, — сказала Елизавета Морицевна и повела меня в сторону церкви.

* * *

В конце 1948 года Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич писал мне: «О Куприне хотелось бы, чтобы Вы написали очень подробно и очень откровенно. В моих глазах Александр Иванович, с которым я был мало знаком, — громадная глыба русского народа, одухотворенная очень большим талантом, и Вы, как никто, конечно, знаете все изгибы его души, его переживаний, его характер...

Он уже перешел в область истории, и только история нуждается в правдивом освещении его жизни, всех его плюсов и всех его минусов».

В своих воспоминаниях я и хотела рассказать о тех далеких годах жизни Куприна, когда он работал над лучшими своими произведениями, а также о нашей дружбе, которая продолжалась до тех пор, пока сознание его не угасло. Конечно, моя память не в силах была сохранить многие события того времени. Но я стремилась хотя бы отчасти показать живой образ Александра Ивановича, его сложный характер — недоверчивый и вспыльчивый, откровенный, жизнерадостный и великодушный. Таким он навсегда остался в моей памяти.

ПРИМЕЧАНИЯ

Воспоминания М. К. Куприной-Иорданской «Годы молодости» вышли первым изданием в 1960 году в издательстве «Советский писатель». В 1963 году они были переведены в Праге на чешский язык.

По сравнению с предыдущим, настоящее издание значительно расширено и дополнено новой частью, в которой рассказывается о годах эмиграции и возвращении Куприна на родину.

В примечаниях приняты следующие сокращения:

ЛБ — Государственная библиотека имени В. И. Ленина.

ЛН — «Литературное наследство».

ИРЛИ — Институт русской литературы.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

Все ссылки на собрания сочинений М. Горького (Собр. соч. в тридцати томах, Гослитиздат, 1949—1955), А. И. Куприна (Собрания соч. в 9 томах, «Правда», 1964) даются с указанием лишь фамилии, номера тома и страницы.

Документы, находящиеся в личном архиве М. К. Куприной-Иорданской, приводятся без указания места их хранения.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

[1] М. К. Давыдова с 1898 года была слушательницей словесно-исторического факультета Высших женских курсов (Бестужевских).

[2] 25 марта 1881 года в семью Давыдовых подкинули девочку, которую они взяли на воспитание, окрестили Марией и удочерили.

[3] «Мир божий» — ежемесячный литературный и научно-популярный журнал, основан А. А. Давыдовой 13 декабря 1891 года в

Петербурге. Первый номер журнала вышел в январе 1892 года. Либеральный по своему направлению журнал сумел привлечь крупных писателей-реалистов: М. Горького, Д. Мамина-Сибиряка, И. Бунина, А. Куприна и др. — и вследствие этого был широко популярен в демократических кругах общества.

[4] И. Бунин познакомился с А. Куприным 29 мая 1897 года в Люстдорфе (дачное место под Одессой — ныне Черноморка).

[5] Куприн познакомился с А. П. Чеховым 13 февраля 1901 года в Одессе и тогда подарил ему сборник «Миниатюр» с надписью: «Глубокоуважаемому Антону Павловичу Чехову с чувством большой робости автор. Одесса, 1901, 13 февраля». «Ошибкой является упоминание Н. Д. Телешовым, К. С. Станиславским, М. П. Чеховой и Е. П. Пешковой имени Куприна среди писателей, посещавших Чехова во время гастролей Художественного театра в Ялте в апреле 1900 года» (прим. М. Куприной-Иорданской).

[6] Это была первая встреча Куприна с В. С. Миролюбовым. Письменное приглашение сотрудничать в «Журнале для всех» Куприн получил в мае 1899 года. Редактором отдела беллетристики в «Журнале для всех» Куприн был с декабря 1901 года по февраль 1902 года.

[7] Рассказ Куприна «В цирке» был напечатан в январской книжке журнала «Мир божий» за 1902 год.

ГЛАВА II

[1] К. Ю. Давыдов был директором Петербургской консерватории с 1876 по 1887 год.

[2] Иллюстрированный научно-популярный «Журнал для всех» стал выходить в Петербурге в 1896 году. В конце 1897 года редактор «Журнала для всех» Д. Геник передал право на издание преподавателю театрального училища П. В. Голяховскому, ставшему номинальным редактором. В сентябре 1898 года Голяховский принял в соиздатели этого журнала В. С. Миролюбова. С 25 февраля 1899 года право на издание перешло в «единоличную собственность» Миролюбова. Журнал ориентировался на демократического читателя. Среди его авторов были М. Горький, А. Чехов, Л. Андреев, А. Куприн и др.

[3] «Мне предлагают войти в редакцию почетным членом, но даже от этого я отказался, считая себя неподготовленным к такой серьезно-ответственной роли. Но от чтения беллетристики и от корректурной работы я, может быть, не откажусь, но опять-таки не как член редакции, а как наемник» (из письма А. И. Куприна от 2 марта 1902 г. к Л. И. Елпатьевской. ИРЛИ).

ГЛАВА III

[1] А. Куприн, «Памяти А. И Богдановича» (Куприн, т. 9, М. 1964).

[2] В сентябре 1901 года в издательстве «Знание» вышла первая книга рассказов Л. Андреева, которая имела большой успех и за короткое время выдержала двенадцать изданий. В статье об этом сборнике Н. К. Михайловский писал: «У него есть рассказы истинно превосходные, в которых ни прибавить, ни убавить, ни передвинуть ничего нельзя («Жили-были»), но есть и растянутые («Рассказ о Сергее Петровиче»). Не удаются ему дети («Ангелочек», «Валя»). Но, повторяю, везде и всегда он — «сам», не только в смысле отсутствия подражательности в содержании и форме изложения, а в смысле отсутствия той распущенности, которая побуждает большинство авторов «рассказов» плавать «без кормила и весла» по безграничному и бесконечно разнообразному морю жизни» («Русское богатство», 1901, № 11, стр. 61).

[3] Н. К. Михайловский в своих статьях о Чехове («Об отцах и детях и г. Чехове», и др.) обвинял Чехова в «идеализации отсутствия идеалов». О сборнике рассказов Чехова «Хмурые люди» он писал: «Чехову все едино — что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца... Нет, не «хмурых людей» надо бы поставить в заглавие всего этого сборника, а вот разве «Холодная кровь» (Заглавие одного из рассказов Чехова. — *Л. Д.*). Чехов с холодной кровью пописывает, а читатель с холодной кровью почитывает» («Русские ведомости», 1890, № 104, от 18 апреля).

[4] В августе 1861 года родилась дочь Софья, в декабре 1863 — Зинаида.

[5] Старшие братья А. И. Куприна умерли в младенческом возрасте. Иннокентий — в 1866 году, Борис — в 1869 году.

[6] В «русском богатстве» (1893, №№ 6, 7) был напечатан рассказ А. И. Куприна «Впотьмах».

[7] Родители Любови Алексеевны Куприной принадлежали к старинному татарскому роду, начало которого шло от владетельных ханов Касимовского царства. «Кулунчак» означает по-татарски «жеребец».

ГЛАВА IV

[1] В Разумовском сиротском пансионе А. И. Куприн находился с 1876 до 1880 года.

ГЛАВА V

[1] А. А. Давыдова познакомилась с Н. К. Михайловским в 1885 году у издательницы журнала «Северный вестник» А. М. Ев-

реиновой. С появлением в «Мире божьем» статей «легальных марксистов» дружеские отношения Давыдовой с Михайловским прекратились, и Михайловский только изредка, с короткими визитами, бывал у Давыдовой (прим. М. Куприной-Иорданской).

[2] Михайловский намекал на то, что «Русское богатство» был первый толстый журнал, начавший печатать произведения Куприна. Здесь появились его первые рассказы и повесть «Молох». По поводу «Молоха» у Куприна с редактором журнала Н. К. Михайловским завязалась переписка, касающаяся изменений, которые вследствие цензурных условий должен был сделать Куприн.

ГЛАВА VI

[1] В одном из писем А. И. Куприна из Парижа в Загреб (Сербия), где жила дочь С. Я. Елпатьевского Людмила Сергеевна Врангель (по первому мужу Кулакова), Александр Иванович спрашивал ее: «Не забыла ли Людмила Сергеевна на расстоянии ужасного количества лет своего друга, друга Вашей молодости, раба Вашего и божьего Куприна?.. Вы, вероятно, и не подозревали того, что я в Вас был немножко влюблен? И, конечно, не помните, как смешно и печально окончился этот односторонний роман?

Мы спускались с Дарсановского холма в ослепительно яркий летний день. Вы были в белом легком платье, которое Вам изумительно шло. Я в чем-то светло-синем из альпача или фланели. И вот когда мы обогнули церковь, на самом крутом месте спуска, и на самом критическом месте разговора, случилась катастрофа. Мне помнится, будто я уже прижал левую руку к сердцу, а правую готов был простереть к голубому небу, как вдруг споткнулся, упал поперек густо пыльной дороги и покатился по ней, подобно кегли. Встал я белый как мельник, и на этом белом фоне — пунцовое от стыда лицо. Первым Вашим движением было — убежать или сделать вид, что Вы вовсе не знакомы с экстравагантным молодым человеком, вздумавшим кувыркаться средь бела дня на улице модного курорта. Но природная доброта взяла верх. Вы не только не бросили меня в этом моем идиотском положении, но даже милостиво помогли мне привести себя в сравнительно человеческий вид. Помните?» (ЛБ. Сообщено А. К. Бабореко).

ГЛАВА VII

[1] А. И. Куприн писал Л. И. Елпатьевской в феврале 1902 года: «...3 февраля была свадьба моя с Мусей... Ангел напился до потери человеческого образа и сцепился с Анной Яковлевной Малкиной

(«Юный читатель»). Интересно тут у них, у обоих, сказалось взаимное раздражение и долго скрываемая ревность к Александре Аркадьевне, к влиянию на нее и на дела и т. д. Оба наговорили друг другу неприятностей, и Ангел закончил заявлением, что «он теперь в журнале монарх, так как Александра Аркадьевна при смерти»... Вместо того, чтобы уйти или переменить разговор, она (Малкина), несмотря на то, что ее предупреждали и удерживали, продолжала наскакивать на Ангела и подзуживать его... а потом хлопнулась в истерику и заставила всех за собой ухаживать целый час...» (ИРЛИ).

[2] А. И. Куприн, подпоручик 46 пехотного Днепровского полка, в середине 1894 года вышел в запас (в чине поручика) и уехал в Звенигородку Киевской губернии к своей сестре З. И. Нат.

ГЛАВА VIII

[1] Местонахождение корректуры повести Л. Н. Толстого «Казаки» неизвестно. Л. Д. Любимов, сын Д. Н. Любимова, утверждает (в письме к Н. Н. Гусеву), что в архиве его отца не было корректуры «Казаков» (см. Лев Толстой, «Казаки», М. 1963, стр. 388). Корректурные листы «Казаков» с большими вставками и замечаниями видели Куприн и я у Любимовых в 1902 году (прим. М. Куприной-Иорданской).

ГЛАВА IX

[1] Летом 1890 года Куприн окончил Александровское военное училище и в чине подпоручика был зачислен в 46 Днепровский пехотный полк, где прослужил до лета 1894 года.

[2] Федор Кузьмич — старик, живший под Тобольском. О Федоре Кузьмиче ходила легенда, что он не кто иной, как император Александр I, который якобы ушел от мира, мучаясь, как отцеубийца, угрызениями совести.

ГЛАВА X

[1] Александра Аркадьевна Давыдова нежно любила впечатлительного, тонкого, душевно глубокого писателя Всеволода Михайловича Гаршина. Отвечал признательностью Давыдовой и Гаршин. Сохранились его письма к Давыдовой (прим М. Куприной-Иорданской).

[2] Александра Аркадьевна принимала горячее участие в отправке Надсона за границу. По ее просьбе один железнодорожный маг-

нат дал Надсону крупную сумму денег, а через два месяца после его отъезда состоялся концерт Карла Юльевича в пользу тяжелобольного поэта (прим. М. Куприной-Иорданской).

[3] В связи со смертью А. А. Давыдовой Н. К. Михайловский писал: «...скончалась издательница «Мира божьего» Александра Аркадьевна Давыдова. Это большая потеря для журнала, в котором ее роль не ограничивалась простым издательством. Женщина редкого ума и энергии, она создала этот журнал с его своеобразной программой, была его душой, и успехом своим «Мир божий» в очень и очень значительной степени обязан ей, хотя она ничего не писала. На журнальное поприще ее толкнула простая случайность. В 1885 году она познакомилась с г-жой Евреиновой, затеявшей тогда «Северный вестник»... Г-жа Евреинова предложила Александре Аркадьевне место секретаря редакции, и та приняла его, как я думаю, без серьезного отношения к делу. Вначале это было чисто дилетантское занятие умной светской дамы, у которой было много свободного времени и которой надоели приемы, выезды, визиты. Я помню ее в то время блистающей красотой, остроумием, весельем... Но постепенно она так втянулась в дело, что уже положительно не могла без него существовать, основала «Мир божий» и вся ушла в него... ей помогала старшая дочь Лидия Карловна, по мужу Туган-Барановская... Но в прошлом году Лидия Карловна умерла, и эта преждевременная смерть страстно любимой дочери сразу подкосила издательницу «Мира божьего»... На похоронах один наш общий знакомый заметил: «Вот когда можно без преувеличения сказать: умерла от горя...» («Русское богатство», 1902, март). «За четыре дня до смерти, — писал А. И. Богданович в «Мире божьем», — она составляла программу апрельской книги и рассматривала новые иностранные издания, выбирала нужные статьи для перевода. Почти накануне смерти она сделала необходимые распоряжения по выпуску мартовской книги: «А то боюсь, по случаю моей смерти книга запоздает. Подписчикам нет дела до того, жива я или нет, а книгу они должны получить вовремя». Сама проредактировала объявление для газет о своей смерти. «Чтобы поменьше всяких жалких слов. Терпеть не могу этой показной казенной скорби...» Эта славная смерть, спокойная и бесстрашная, блестяще завершила эту чудную жизнь, богатую впечатлениями, полную труда, преданную общественным интересам» («Мир божий», 1902, апрель).

[4] 2 марта 1902 года Куприн писал Л. И. Елпатьевской в Ялту: «...Как я Вам уже телеграфировал, Александра Аркадьевна умерла от паралича сердца, то есть мгновенно и, вероятно, безболезненно. Это было в воскресенье, а во вторник ее похоронили. На

панихиде и погребении перебывал весь петербургский литературный мир, было множество венков и т. д., но, слава богу, речей на могиле не было, так как это была особенная, постоянно выражаемая воля покойной» (ИРЛИ).

[5] После смерти мужа Александра Аркадьевна подала прошение об установлении ей пенсии. Вместо подписи: «Вдова солиста Двора его императорского величества», она по рассеянности написала: «Вдова его величества — А. А. Давыдова». В министерстве Двора решили, что у нее явное душевное расстройство, и к нам явился лейб-медик, профессор-психиатр Мержеевский. Документ пришлось переписать, а в литературных кругах Петербурга еще долго называли Александру Аркадьевну «Вдовой его величества» (прим. М. Куприной-Иорданской).

ГЛАВА XI

[1] После Разумовского сиротского пансиона (1876—1880) Куприн учился восемь лет в кадетском корпусе (1880—1888).

[2] Окончив в 1888 году кадетский корпус, Куприн поступил в Александровское училище.

ГЛАВА XIII

[1] Летом 1899 года в Сумах Харьковской губернии Куприн служил актером на выходных ролях в драматической труппе В. Викторова.

[2] Тигеллин — персонаж из романа Г. Сенкевича «Камо грядеши».

[3] Рассказ Куприна «Болото» впервые был напечатан в журнале «Мир божий», 1902, № 12.

[4] Поэма американского поэта Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» в переводе И. А. Бунина была издана издательством «Знание» в 1903 году.

[5] О первой встрече с Куприным 29 мая 1897 года И. А. Бунин писал: «...с радостью услыхал однажды, гостя у поэта Федорова в Люстдорфе, под Одессой, что к нашим сожителям по даче Карышевым приехал писатель Куприн, и немедля пошел с Федоровым знакомиться с ним. Лил дождь, но все-таки дома мы его не застали. «Он, верно, купается», — сказали нам. Мы сбежали к морю и увидали неловко вылезающего из воды, невысокого, слегка полного и розового телом человека лет тридцати, стриженного каштановым ежиком, близоруко разглядывающего нас узкими глазами.

«Куприн?» — «Да, а вы?» Мы назвали себя, и он сразу просиял дружеской улыбкой, энергично пожал наши руки своей небольшой и сильной рукой... После знакомства мы сошлись с ним удивительно быстро... «Откуда я сейчас? Из Киева... Там за гроши писал всякие гнусности для бульварной газетки, ютился в трущобах среди самой последней сволочи. Что я пишу сейчас? Ровно ничего, ничего не могу придумать, а положение ужасное — посмотрите, например: так разбились ботинки, что в Одессу не в чем поехать...» В это чудесное лето, в южные теплые звездные ночи мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем, и я все приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка.

«Да меня же никуда не примут», — жалостливо скулил он в ответ. «Но ведь вы уже печатались!» — «Да, а теперь чувствую, напишу такую ерунду, что не примут!» — «Я хорошо знаком с Давыдовой, издательницей «Мира божьего», ручаюсь, что там примут». ...Так и написал он свою «Ночную смену», которую мы послали в «Мир божий», потом еще какой-то рассказик, который я немедленно отвез в Одессу, «Одесские новости», — сам он почему-то «ужасно боялся», — и за который мне удалось тут же схватить для него двадцать пять рублей авансом. Он ждал меня на улице и, когда я выскочил к нему из редакции с двадцатипятирублевкой, глазам своим не поверил от счастья, потом побежал покупать себе ботинки, потом на лихаче помчал меня в «Аркадию» угощать жареной скумбрией и белым бессарабским вином... Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он мне во хмелю впоследствии: «Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого!» (Альманах «Охотничьи просторы», М. 1958, № 11, стр. 9—10).

ГЛАВА XIV

[1] Переписка А. И. Куприна с А. П. Чеховым опубликована в ЛН, т. 68.

[2] Имеется в виду вечер 25 сентября 1902 года, когда Куприн ездил в Ялту к Чехову.

[3] «Продавцом счастья» Альфонс Доде назван в книге Доде, Леон («А. Доде. Воспоминания», перевод с французского, б. м. и б. г.). В воспоминаниях о Чехове Куприн пишет: «Сын Альфонса Доде в своих воспоминаниях об отце упоминает о том, что этот талантливый французский писатель полушутя называл себя «продавцом счастья». К нему постоянно обращались люди разных положений за советом и за помощью, приходили со своими огорчениями

и заботами, и он, уже прикованный к креслу неизлечимой, мучительной болезнью, находил в себе достаточно мужества, терпения и любви к человеку, чтобы войти душой в чужое горе, утешить, успокоить и ободрить» (А. И. Куприн, т. 9, стр. 429).

ГЛАВА XV

[1] Капернаум, по одной из евангельских легенд, был тем местом, куда для всех вход был платным: даже бог, желая проникнуть в Капернаум, должен был заплатить за вход наравне со всеми людьми.

ГЛАВА XVI

[1] В первом издании моих воспоминаний «Годы молодости» 1900 год был указан ошибочно. Летом 1900 года я ездила с Л. К. Туган-Барановской в Париж на Всемирную выставку (прим. М. Куприной-Иорданской).

[2] Старшая сестра Л. И. Елпатьевской — Лариса Ивановна была замужем за ялтинским врачом — П. П. Розановым.

[3] Каширин Александр Михайлович.

[4] Горький писал Е. П. Пешковой 18/30 октября 1899 года: «...Вчера я... недурно говорил на ужине у Давыдовой. Все покраснели и опустили головы» (М. Горький, т. 28, стр. 96).

[5] В газете «Жизнь и искусство» А. И. Куприн работал с сентября 1894 года до мая 1895 года. В 1896—1899 годы в этой газете периодически печатались рассказы, очерки и фельетоны Куприна. С мая 1899 по май 1900 года Куприн вновь стал сотрудником газеты «Жизнь и искусство», где вел воскресный фельетон «Калейдоскоп».

[6] В 1924 году Горький писал в примечании к письму В. Г. Короленко от 7 августа 1895 г.: «Я предполагал пригласить [в «Самарскую газету». — *Л. Д.*] А. И. Куприна из киевской газеты «Искусство и жизнь» («А. М. Горький и В. Г. Короленко», Гослитиздат, М. 1957, стр. 237).

[7] Сборник произведений И. А. Бунина «На край света» вышел в издательстве О. Н. Поповой в 1897 году.

[8] Первая книжка рассказов А. И. Куприна «Миниатюры» вышла в Киеве в 1897 году.

[9] Премьера спектакля «На дне» в Московском художественном театре состоялась 18 декабря 1902 года. Пьеса имела огромный успех.

ГЛАВА XVIII

[1] Дядя Кока — Давыдов Николай Карлович. Он изображен в рассказе Куприна «Черная молния».

[2] В газете «Новое время» (1901, № 9256, 9 декабря) была опубликована статья В. Розанова «Религиозно-философские собрания», в которой сообщалось, что созданные в Петербурге Религиозно-философские собрания (1901—1904) имеют «задачею своей обсуждение вопросов веры на почве совершенной и твердо оговоренной терпимости и в широком философском освещении... Распорядительная власть принадлежит: Сергию, епископу Ямбургскому, и ректору С.-Петербургской духовной академии, Д. С. Мережковскому, В. С. Миролюбову, В. А. Тернавцеву и пишущему эти строки». Первое собрание состоялось 29 ноября 1901 года, на котором выступил В. А. Тернавцев с докладом: «Об отношении интеллигенции к церкви».

Целью этого реакционного общества было укрепление авторитета церковного христианства среди интеллигенции.

[3] Экземпляр этой подаренной Вере Дмитриевне Бочечкаревой книги с автографом А. И. Куприна купил в 20-х годах у букиниста за пять рублей М. И. Чувалов со ст. Ухтомская, Московской области (прим. М. Куприной-Иорданской).

[4] А. П. Чехов писал Куприну: «Дорогой Александр Иванович, сим извещаю Вас, что Вашу повесть «В цирке» читал Л. Н. Толстой и что она ему *очень* понравилась» (А. П. Чехов, Полн. собр. соч., т. XIX, стр. 229).

[5] Рассказ Куприна «Лидочка (Рассказ бывалого человека)» впервые был напечатан в журнале «Русское богатство», 1894, № 12. В свое первое собрание сочинений этот рассказ Куприн включил под названием «К славе».

ГЛАВА XX

[1] Воспоминания Ф. Д. Батюшкова хранятся в ИРЛИ.

ГЛАВА XXI

[1] «Врет, как зеленая лошадь» — любимое выражение Куприна. 6 марта 1910 года Куприн писал Ф. Д. Батюшкову: «Репортеры врут, как зеленые лошади» (ИРЛИ). «Куприн любил и такое изречение: «Месть — это блюдо, которое надо подавать холодным» (прим. М. Куприной-Иорданской).

ГЛАВА XXII

[1] Верещака — персонаж рассказа «В казарме», который вошел в текст «Поединка» (глава 11), где ефрейтор Верещака стал называться Сероштаном.

[2] Е. А. Макулова участвовала в революционном движении 60-х годов, была членом «Знаменской коммуны», нелегального «Рублевого общества», распространявшего грамотность в народе. Состояла под негласным надзором III Отделения в 60-е и 70-е годы.

[3] В 1893 году Куприн приехал в Петербург сдавать экзамены в Академию Генерального штаба и на одном из «четвергов» «Русского богатства» познакомился с Н. К. Михайловским и А. И. Иванчиным-Писаревым. В то время молодому, еще малоизвестному писателю проникнуть на страницы петербургского толстого журнала было очень нелегко. Поэтому не случайно именно Е. А. Макулова, знавшая А. И. Иванчина-Писарева по нелегальной работе, доставила в редакцию «Русского богатства» повесть Куприна «Впотьмах». И, конечно, по ее просьбе эта повесть летом 1893 года была напечатана в «Русском богатстве» (прим. М. Куприной-Иорданской).

В 1893 году Куприн писал А. И. Иванчину-Писареву из Волочиска Каменец-Подольской губернии, где стоял его полк: «Милостивый государь, в июньском и июльском н.н. «Русского богатства» напечатана моя повесть «Впотьмах», доставленная в редакцию Е. А. Макуловой. Соблаговолите прислать эти две книжки «Русского богатства», а равно и причитающийся за повесть гонорар... Если деньги еще не уплачены уже Макуловой...» (ИРЛИ).

ГЛАВА XXIII

[1] Речь идет о Южнобережной железной дороге в Крыму, строительство которой Гарину не удалось довести до конца: когда изыскания были окончены, последовало объявление войны с Японией. Постройку дороги отложили, Гарин уехал на Дальний Восток.

ГЛАВА XXIV

[1] Ссора была вызвана столкновениями, неоднократно возникавшими между М. К. Куприной-Иорданской и А. И. Богдановичем, как соредактором журнала «Мир божий».

В связи с этим известно письмо А. И. Куприна конца 1903 года к В. Г. Короленко.

«Глубокоуважаемый

Владимир Галактионович,

Через Ф. Д. Батюшкова мне стало известным, что вы изъявили намерение уклониться от участия в третейском суде между Марией Карловной и Ангелом Ивановичем. Я, конечно, не посмел бы беспокоить Вас моим письмом, если бы только это намерение Ваше не стояло в связи с моим поведением относительно Ангела Ивановича, но теперь я убедительно прошу Вас выслушать меня.

Может быть, я поступил неуклюже, нетактично, наконец, даже несправедливо. Но зато я со всей искренностью уверяю Вас, что в моих действиях не было ничего прикасающегося хотя бы вскользь: ни к журнальному делу, ни к принципиальной стороне ссоры Марии Карловны и Ангела Ивановича, ни к третейскому суду. Федор Дмитриевич не откажется подтвердить Вам, что с самого начала всей этой неразберихи я постоянно и упорно уклонялся от участия в прениях, разговорах и объяснениях. Он же расскажет Вам (впрочем, может быть, и Ангел Иванович не откажется удостоверить это), что, если обстоятельства и вталкивали меня в эти обстоятельства, то я всегда старался действовать на Марию Карловну умиротворяющим образом и на Ангела Ивановича — успокаивающим.

Так, например, пусть Федор Дмитриевич вспомнит, как во время прискорбного редакционного заседания на квартире г-на Богдановича, в самом начале нелепой вспышки Ангела Ивановича, я упрашивал его «ради бога успокоиться» и как потом я поспешил увести жену домой. Он же подтвердит Вам, что нередко во время бесчисленных объяснений у нас на дому я упрекал Марию Карловну в резкости выражений. Таких фактов много, и вся их суть в том, что они ясно показывают, как я далеко был все это время от активного, а тем более *пристрастного* отношения к разгоревшемуся недоразумению. Наконец, уже самое последнее время, то есть после «прискорбного заседания», я десятки раз заявлял Федору Дмитриевичу, что от всего этого дела я безусловно отстраняюсь, ибо ничего в нем не понимаю и чувствую от одного упоминания о нем страшную тоску. Помнится, что и Федор Дмитриевич одобрял таковой мой образ действия и даже ставил мне в упрек мое излишнее поведение к интересам жены.

Вот поэтому-то меня и огорчает, что мои последние действия относительно Ангела Ивановича хотят поставить в связь с началом третейского суда. Что я действовал сам за себя, за свой риск и страх, видно с неопровержимой ясностью из следующего случая: когда Федор Дмитриевич принес моей жене от имени Ангела Ива-

новича *сожаление* в происшедшем, и жена тотчас же это *сожаление* приняла (сказав, что изо всего сделанного против нее Ангелом Ивановичем, она менее всего склонна ставить ему в счет бранные слова), я определенно заявил, что такой формой извинения я не удовлетворен, что не смею мешать жене мириться с Ангелом Ивановичем на почве этого сожаления, но что сам лично, за себя, потребую впоследствии от обидчика более содержательного извинения.

Мне ставят в упрек, что я ждал предлога для ссоры с Ангелом Ивановичем почти месяц. Но счеты мои с этим человеком (и опять-таки *мои личные*) — очень давнего свойства. Они многочисленны и восходят ко времени нашей свадьбы, но я, конечно, не посмею утруждать Ваше внимание их перечислением. Очень может быть, что и теперь я ничего не предпринял бы из опасения осложнить положение Марии Карловны, но меня взорвал дошедший до меня слух (и из слишком достоверного источника) о том, будто Мария Карловна и я тщательно скрываем от всех, что Ангел Иванович назвал нас мерзавцами и бросил в нас какой-то гадостью.

Теперь последнее. Я имел глупость воспользоваться, как предлогом для *начала* ссоры с г. Богдановичем, Вашим юбилеем. Поверьте, что я чувствую глубокий стыд перед Вами за эту сделанную мною ошибку. Я не смею даже надеяться, что Вы простите меня, как и не смею надеяться получить ответ на это письмо. Но я не могу перестать верить, что Вы, отдающий так самоотверженно и бескорыстно свои силы и свой прекрасный талант на служение обществу, что Вы, с такой правдивой страстностью откликающийся на каждое общественное событие, — откажете в своем внимании этому делу, в котором так нелепо перепутались общественные интересы с личными обидами!

Если указанные мною выше факты найдут подтверждение, если Вы примете во внимание то, что я тотчас же после столкновения с Ангелом Ивановичем удалился (и навсегда) из состава редакции, может быть, если, наконец, хоть сколько-нибудь жалеете Марию Карловну, которая *одинока*, затравлена и больна — то, может быть, Вы согласитесь отнестись ко всему этому делу не официально, а так, как умеете только Вы — по-человечески.

Ваш покорный слуга *А. Куприн*» (ЛБ. Отдел рукописей).

[2] Литовский замок — старинное здание в Петербурге, построенное во второй половине XVIII века; в Литовском замке помещались казармы Литовского полка. В 70-х годах XIX века превращен в тюрьму. Литовский замок сожжен в первые дни Февральской революции 1917 года.

ГЛАВА XXVI

[1] Рассказ о богобоязненном старике-доносчике получил название «Мирное житие» и напечатан в мае 1904 года во втором сборнике товарищества «Знание». Л. Н. Толстой об этом рассказе сказал: «Не помню уже, как называется у него вещица: старичок идет в церковь — какая это прелесть! Только не следовало старика делать доносчиком. Зачем? Он и так хорош, рельефен, ярок» («Петербургская газета», № 202, 26 июля 1907 г.).

ГЛАВА XXVII

[1] В мае 1901 года Куприн писал из Ялты В. С. Миролюбову: «...посылаю Вам рукопись одного нашего общего знакомого. Рукопись мы читали вместе с С. Я. Елпатьевским и нашли, что она должна произвести впечатление непосредственностью передачи, простотой языка и вообще какой-то наивностью, которой проникнут весь рассказ... если рассказ понравится, то я или Елпатьевский сообщим Вам полное имя автора... Заглавие рассказа «С улицы» (Литературный архив, т. 5, АН СССР, 1960, стр. 121). Весьма возможно, что это первоначальный вариант рассказа Куприна «Человек с улицы», который впервые был напечатан в «Мире божьем» (1904, № 12) под названием «С улицы».

[2] В январе 1904 года в Петербурге вышел сборник товарищества «Знание» за 1903 год, кн. 1, в которой была напечатана поэма А. М. Горького «Человек». В этой поэме Горький утверждал достоинство человека, веру в его разум и творческие силы. Человек Горького призывал идти «вперед! — и выше!». В рассказе «С улицы» Куприн дал пример «физического и нравственного вырождения на почве наследственного алкоголизма, плохого питания, истощения и дурных болезней». «Я — человек с улицы, — говорит главное действующее лицо рассказа «С улицы», — ... и никуда мне больше нет ходу, кроме улицы» (А. Куприн, т. 3, стр. 310).

[3] Похороны А. П. Чехова состоялись 9 июля 1904 года в Москве. В июле 1904 года А. М. Горький писал И. А. Бунину: «Мне страшно понравился Куприн, — на похоронах это был единственный человек, который молча чувствовал горе и боль потери. В его чувстве было целомудрие искренности. Славная душа!» («Горьковские чтения», АН СССР, 1961, стр. 30). О том же писал Горький и Куприну: «...сильно, очень сильно понравились вы мне вашей глубокой скорбью о Чехове!» («Горьковская коммуна», 1946, № 151, от 27 июня.)

ГЛАВА XXVIII

[1] По предложению А. И. Куприна издательство «Знание» готовило сборник воспоминаний о Чехове. Первый вариант своих воспоминаний Куприн закончил около 20 июля 1904 года. Второй вариант был готов и отослан в сентябре 1904 года. Воспоминания Куприна «Памяти Чехова» впервые опубликованы в сборнике «Знания» за 1904 год, кн. 3 (Сборник вышел в январе 1905 г.).

[2] А. М. Горький писал Е. П. Пешковой 14 ноября 1904 года: «Прекрасную повесть написал Куприн» (М. Горький, т. 28, стр. 337).

ГЛАВА XXX

[1] Гапон выступил на арену общественной деятельности в 1903 году. Он возглавил созданную правительством для борьбы с революцией «зубатовскую» организацию «Собрание русских фабричных и заводских рабочих», которая официально была открыта 11 апреля 1904 года. По его инициативе 9 января 1905 года состоялось шествие рабочих к царю.

«Пролетариат, — писал В. И. Ленин, — порвал рамки полицейской зубатовщины, и вся масса членов легального рабочего общества, основанного для борьбы с революцией, пошла вместе с Гапоном по революционному пути» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 9, стр. 252). Вследствие этого среди интеллигенции имя Гапона в первые дни после 9 января, когда еще не была известна его провокационная роль, было окружено революционным ореолом.

«Я повел его к моим знакомым; сначала к одним, потом, чтобы замести след, к другим, — писал П. М. Рутенберг. — Если эти люди найдут нужным, они когда-нибудь расскажут, как вел себя Гапон в этот день. Ведь это был день 9-го января» («Былое», 1917, № 1—2). Этим же эсером П. М. Рутенбергом Гапон впоследствии был разоблачен как провокатор. В марте 1906 года Гапон был судим группой рабочих и приговорен к смертной казни.

[2] Вечером 9 января 1905 года в помещении Вольно-экономического общества «Горький выступал не с трибуны, а с хоров, чтобы не быть узнанным» (Е. Д. Стасова, Страницы жизни и борьбы, Госполитиздат, 1960, стр. 57).

Горький писал Е. П. Пешковой 9 января 1905 года: «Гапон каким-то чудом остался жив, лежит у меня и спит. Он теперь говорит, что царя больше нет, нет бога и церкви, в этом смысле он говорил только сейчас в одном собрании публично...» (М. Горький, т. 28, стр. 347).

[3] П. М. Рутенберг писал в своих воспоминаниях: «Из Вольно-экономического общества Гапона увели ночевать на квартиру Б.» («Былое», 1917, № 1—2).

[4] «Никогда ни к какой партии не принадлежал, не принадлежу и не буду принадлежать», — заявил однажды Куприн (ЦГАЛИ).

ГЛАВА XXXI

[1] Рассказ Куприна «Мой паспорт» впервые опубликован в газете «Речь», 1908, № 89, 13 апреля. Цитируется по книге «А. Куприн. Сочинения», т. VI, Московское книгоиздательство, 1908, стр. 133—135.

[2] См. ЛН, т. 72, стр. 260.

[3] 25 февраля 1905 года Л. Андреев был освобожден под залог в десять тысяч рублей и уехал в Финляндию, а затем в ноябре 1905 года в Германию.

ГЛАВА XXXII

[1] К. И. Чуковский пишет в своих воспоминаниях: «Вся эта история не была супружеской тайной. Вскоре после того, как «Поединок» появился в печати (и имел такой грандиозный успех), Куприн стал очень картинно, со множеством уморительно забавных подробностей, рассказывать друзьям и знакомым, как он дописывал последние главы романа и какую благодатную роль сыграла в этом деле Мария Карловна. Рассказывал при ней, за обедом, или, вернее, рассказывали они оба, перебивая и дополняя друг друга, потому что, как и многие молодые супруги, они часто говорили зараз об одном и том же, в одном и том же стиле, с одинаковыми выражениями лиц и смеялись одинаковым смехом» («Новый мир», № 3, 1962, стр. 195).

[2] «...Крупская писала: «Лучшая подруга для Нины — Ольга Константиновна, она человек опытный, даст нужные указания, поможет деньгами и проч. Нину всецело поручаем ей» (Александра Аренштейн, Юность партии, Политиздат, М. 1964, стр. 87).

[3] Сборник «Знания» (кн. 6) вышел из печати 3 мая 1905 года.

[4] К. И. Чуковский в статье «Заметки читателя» писал: «Повесть А. Куприна «Поединок» — посвящена офицерскому быту... Военная жизнь, как таковая, в бытовых своих особенностях ни разу не была предметом художественного творчества... Воспевая правду и красоту жизни, он тем самым предает анафеме ее ложь, ее рабство, ее безобразие. Простая искренняя поэзия этой повести великолепна. Поднять громадный вопрос, серьезно и строго подойти с ним к жизни, вникнуть в нее не фразерствуя, не позируя,

с удивительной ясностью и чистотой морального чувства, для этого нужна любящая строгая и благородная душа... Смело можно сказать, что этой вещью г. Куприн впервые вступает в лоно великой русской литературы» («Одесские новости», № 6640, от 8 мая 1905 г.).

[5] Горький дал «Поединку» следующую оценку: «Великолепная повесть. Я полагаю, что на всех честных, думающих офицеров она должна произвести неотразимое впечатление. Целью Куприна было приблизить их к людям, показать, что они одиноки от них... Куприн оказал офицерству большую услугу. Он помог им до известной степени познать самих себя, свое положение в жизни...» («Биржевые ведомости» от 22 июня 1905 года).

«Поединок» разошелся огромным для того времени тиражом. «В 1905 году продано 40 493 экз.» (ЦГАЛИ).

ГЛАВА XXXIII

[1] Стихотворение И. А. Бунина «Сапсан» было напечатано в апрельской книжке «Мир божий» за 1905 год.

[2] 17 марта 1961 года М. Куприна-Иорданская писала В. Н. Буниной: «Меня не удивляет, что Александр Иванович принимал живейшее участие, не только словом, но и делом, в Вашем бракосочетании. Его любовь к красоте церковной службы мне была хорошо известна. Среди многих профессий, в которых он себя пробовал, была одно время в глухом белорусском селе и профессия псаломщика».

[3] И. А. Бунин писал о Куприне в 1938 году: «Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий: то был со мной весел, нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от тебя в глазах рябит, одно ценю: ты пишешь отличным языком, а кроме того — чудесно верхом ездишь...» (Альманах «Охотничьи просторы», М. 1958, № 11, стр. 10).

[4] См. прим. 1 к гл. XL.

[5] Письмо Куприна хранится в ИРЛИ.

ГЛАВА XXXIV

[1] Рецензия Куприна на книгу Н. Н. Брешко-Брешковского «Опереточные тайны» напечатана в журнале «Мир божий» № 6 за 1905 год.

[2] Рецензия Куприна на сборник Н. Н. Брешко-Брешковского «Шепот жизни» была напечатана в журнале «Мир божий» № 6 за 1904 год.

ГЛАВА XXXV

[1] Имеется в виду статья А. М. Скабичевского, в которой он отрицательно оценил сборник А. П. Чехова «Пестрые рассказы», опубликованная в журнале «Северный вестник» (1886, № 6).

[2]. См. прим. 3 к гл. III, ч. I.

ГЛАВА XXXVI

[1] 11 ноября 1905 года в Севастополе началось восстание матросов, солдат и рабочих. По предложению революционных матросов лейтенант Шмитд принял на себя командование крейсером «Очаковым», а затем объявил себя командующим флотом. 15 ноября после ожесточенного сражения с правительственной эскадрой, восстание было подавлено, а Шмидт арестован и предан суду, который состоялся в феврале 1906 года. Шмидт был приговорен к смертной казни.

[2] 16 ноября 1905 года комендант севастопольской крепости генерал-лейтенант Неплюев объявил: «...воспрещаются на все время состояния крепости в осадном положении всякие сборища в пределах г. Севастополя и 25-верстном районе крепости... предупреждаю, что с нарушителями будет поступлено строго по закону и сборища будут рассеиваться не стесняясь в случае необходимости употреблением оружия» («Южный курьер», № 272, от 22 ноября 1905 г.).

ГЛАВА XXXVII

[1] М. П. Кристи был редактором-издателем ежедневной керченской газеты «Южный курьер». В «Южном курьере», № 272, от 22 ноября 1905 года напечатана за подписью «Д. М.» статья «События в Севастополе. Восстание черноморского флота (от нашего корреспондента-очевидца)». Начиналась она словами: «Только что завершилась грандиозная эпопея, длившаяся пять дней и за это время доросшая до всемирного значения».

В статье подробно излагались события в Севастополе; и заканчивалась она словами: «Трудно сейчас предсказать и оценить значение, какое могут получить севастопольские дни в дальнейшем ходе русских событий, — вывод будет сделан впоследствии; теперь только нужно просить всех, хоть сколько-нибудь могущих осветить детали и неясные стороны этого события, немедленно же сделать это путем печати». По-видимому, автором статьи был Куприн.

[2] Доска от этого стола сохранилась и находится в ИРЛИ.

[3] В литературе о Куприне существует мнение, что рассказ А. И. Куприна «Штабс-капитан Рыбников» был написан в Балакла-

ве. Современник Куприна И. М. Василевский в своей книге «Литературные силуэты» (стр. 16, б. г.) подтверждает рассказ М. К. Куприной-Иорданской, что «Штабс-капитан Рыбников» был написан под непосредственным впечатлением от встречи с одним армейским офицером, с которым А. И. Куприн познакомился в «Капернауме».

ГЛАВА XXXVIII

[1] Аленушка родилась 21 марта 1892 года. В этот день Д. Н. Мамин-Сибиряк писал своей сестре: «Сегодня в три часа ночи родилась дочь...» (ЦГАЛИ).

[2] «...После смерти Марии Морицевны, — писал Д. Н. Мамин-Сибиряк Морицу Григорьевичу Гейнриху, — я устроил Лизу в хорошем семействе, именно у м-ме Давыдовой, вдовы директора консерватории... Вы можете быть совершенно спокойны за судьбу Лизы. Покойная Мария Морицевна была очень близка с м-ме Давыдовой, и если бы была жива, то ничего лучшего не пожелала бы, в чем могу Вас уверить» (ЦГАЛИ).

[3] 6 октября 1892 года Д. Н. Мамин-Сибиряк писал из Петербурга Александру Морицевичу Гейнриху, брату М. М. Абрамовой: «...Лиза поступила в Литейную гимназию, в подготовительный класс...» (ЦГАЛИ).

[4] 26 июня 1900 года О. Ф. Мамина сообщала Анне Семеновне — матери Д. Н. Мамина-Сибиряка: «Лиза у нас кончила на учительницу рукоделия, кончила все рукоделие на отлично...» (ЦГАЛИ).

[5] В феврале 1904 года Д. Н. Мамин-Сибиряк писал сестре Е. Н. Удинцевой: «20 февраля проводили Лизу на восток... Всех сестер от Общины св. Евгении уехало пять человек» (ЦГАЛИ).

[6] Все письма А. И. Куприна из Даниловского к Ф. Д. Батюшкову цитируются по сборнику «Север», Вологодское книжное издательство, 1963.

[7] Родственник Батюшковых Кривцов Николай Иванович, участник Отечественной войны 1812 года, потерял в сражении при Кульме 18 августа 1813 года ногу. Его дочь, Софья Николаевна, в 1846 году вышла замуж за Помпея Николаевича Батюшкова ... и привезла в Даниловское протез умершего отца.

[8] См. «Евгений Онегин», гл. VIII.

[9] См. стихотворение Г. Р. Державина «Река времен в своем стремленье...».

[10] Рассказ А. И. Куприна «Обида» был напечатан в газете «Страна», от 17 и 24 сентября 1906 года.

[11] 8 июля 1906 года была распущена I Государственная дума. Группа бывших членов I Государственной думы, преимущественно

из кадетов, трудовиков и социал-демократов, собралась в г. Выборге и приняла обращение, озаглавленное «Народу от народных представителей», призывавшее народ к пассивному сопротивлению правительству — налогов не платить, бойкотировать военную службу. Лица, подписавшие «Выборгское воззвание», были привлечены к судебной ответственности.

В «Политическом обозрении» журнала «Мир божий», № 8, 1906, стр. 1—14, была напечатана статья Н. И. Иорданского, озаглавленная: «Крушение «истинно-либеральной» политики г. Столыпина. — Возвращение правительства на путь полицейского террора. — Возрождение разрозненных и анархических форм революционной борьбы. Министерские попытки разрешить крестьянский вопрос. — Их бесплодность. — Необходимость созыва Государственной думы».

[12] Ф. Д. Батюшков писал 11 сентября 1906 года Е. П. Летковой-Султановой: «...Жду обвинительного акта... Пользуюсь тем, что меня еще не посадили, и еду на несколько дней в Харьков» (ЦГАЛИ). В следующем письме в этот же адрес (26 сентября 1906 г.) Батюшков сообщает: «...Прилагаю свою «Объяснительную записку»... Я все сказал в своей записке, что думал и думаю об инкриминируемых статьях, и моя совесть чиста. К приговору буду равнодушен, но предпочту оттянуть сидение, если уже оно неизбежно... Когда вернется Варвара Ивановна (баронесса Икскуль. — *Л. Д.*), может быть, Вы будете так добры передать ей... копию с «Объяснительной записки», которую я не выслал ей в Мисхор, не рассчитывая, что мое письмо еще там ее застанет» (ЦГАЛИ).

Ф. Д. Батюшков оттянул судебный процесс до марта 1908 года. Суд приговорил его к денежному штрафу. 20 марта 1908 года Батюшков писал Н. И. Иорданскому: «Многоуважаемый Николай Иванович, очень тронут Вашим письмом, но уверяю Вас, что никаких особых волнений я не испытал: я вполне искренне заявил о своей полной солидарности с Вами в основных положениях Вашей статьи и в то же время с точки зрения редакторских обязанностей считал себя правым и перед законом. Если я и не подписывал листы к печати, то ведь я мог задержать выход в свет книжки. Я же прочел Вашу статью до выхода книжки... Любопытно, что председатель Крашенинников, при формулировании пунктов обвинения, пересказал заново Вашу статью, и на этот раз гораздо умнее и тоньше, даже просто правильнее, чем в обвинительном акте, за который они, очевидно, устыдились. Но так как в то же время там была поставлена и существенная фраза «через посредство Государственной

думы» — то она и выручила. Очень благодарен редакции («Современного мира». — *Л. Д.*) за то, что она пожелала принять за свой счет расходы по защите дела... Желаю всего лучшего, искренне Ваш Ф. Батюшков».

ГЛАВА XXXIX

[1] См. прим. 1 к гл. XXXVI.

[2] (См. прим. 1 к гл. XXXVII.) Речь идет, по-видимому, о керченской газете «Южный курьер». Эта газета в начале 1906 года была закрыта, редактор Михаил Кристи арестован и затем выпущен на поруки под залог тысячу рублей. К приезду А. И. Куприна в Алушту в сентябре 1906 года этого органа печати не существовало. Очерк Куприна «На глухарей» был напечатан в Собрании сочинений, изд. «Московское книгоиздательство», 1908, т. 4.

[3] М. К. Куприна-Иорданская была связана с С. Н. Сергеевым-Ценским многолетней дружбой. 28 декабря 1907 года Сергеев-Ценский подарил ей свою книгу «Смерть» с такой надписью: «Дорогой Марии Карловне — вскоре после знакомства с Вами в Алуште и была написана эта пьеса, — дружески». На последней странице этой книги рукой Сергеева-Ценского написано: «20—26 окт. 1906 г. Алушта. Крым». Когда К. И. Чуковский получил от Марии Карловны «Годы молодости» в первом издании, он писал ей 20 января 1961 года: «...Когда я смотрю на Ваш портрет, такой обаятельно женственный, я понимаю, почему из-за Вас «погибали» такие разные люди, как Батюшков и Сергеев-Ценский». В 1928 году Ценский подарил Куприной-Иорданской свой сборник рассказов «В грозу»: «Дорогой Марии Карловне на память о нашей встрече в Балаклаве 11 мая 1928 года». А в 1931 году они обменялись последними письмами: «Дорогая Мария Карловна, я только что — 10 октября — получил Ваше письмо, датированное 25 августа. Произошло это оттого, что я сам был в Москве, а точнее, под Москвой, — в доме отдыха ЦЕКУБУ, в Болшеве. Вы скажете, конечно, что я должен бы был побывать у Вас, но клянусь Парнасом (есть такая гора в Греции), у меня не было для этого времени...» Мария Карловна ответила ему: «Дорогой Сергей Николаевич, очень рада, что Вы оказались живы и здоровы, потому что, не получая отклика на свое письмо, я уже начинала беспокоиться... старые дружеские отношения нынче ценятся гораздо ниже ордера на мыло или зубную щетку. Клянусь Монбланом (есть такая гора в Швейцарии), что этот новый взгляд на человеческие отношения настолько... выдержан, что возражать против него значило бы впадать в зловредный уклон идеализма. А потому и не возражаю... М. Иорданская. 15 октября 1931 г.».

ГЛАВА XL

[1] Три пародии А. И. Куприна: «Пироги с груздями», «Дружочки» и пародия на Скитальца — были в 1908 году напечатаны в собрании сочинений Куприна (Московское книгоиздательство, т. VI, стр. 87—92). Рукописный текст пародии на Скитальца хранится в ЦГАЛИ.

[2] За отсутствием в московских книгохранилищах полного комплекта газеты «Понедельник», не удалось установить номера газет, в которых печатались пародии Куприна.

[3] Летом 1906 года в Даниловском начался роман А. И. Куприна с Е. М. Гейнрих, из-за которого возник разлад в семье Куприных.

[4] Кикин — Н. К. Давыдов.

[5] Яков — Яков Антонович, слуга Н. К. Давыдова.

[6] Евсей — Евсей Маркович Аспиз.

[7] В ноябре 1906 года Ф. Д. Батюшков писал из Финляндии Е. П. Султановой: «...Надеюсь, что удастся провести вечерок в Вашем обществе и с Куприным... Никто лучше не оценит его «искрометность» и неистощимое остроумие, когда он в ударе» (ЦГАЛИ).

ГЛАВА XLI

[1] Пьеса Л. Н. Андреева «Жизнь Человека» была поставлена в Московском Художественном театре 12 декабря 1907 года, режиссер К. С. Станиславский.

[2] В 1921 году М. К. Куприна-Иорданская писала своей дочери Лидии: «...Я очень любила твоего отца, Лидинька, и решиться разойтись с ним было очень трудно, но когда я убедилась в том, что больше не могу служить ему опорой и поддержкой потому, что он сам же довел меня не только до острой неврастении... но даже и до более серьезного нервного расстройства, то я порвала с ним, и было действительно лучше для нас обоих, потому что каждый устроил свою дальнейшую жизнь по-своему, и мы перестали, наконец, мучить друг друга с ожесточением, на которое способны только страстно любящие люди» *(Архив М. К. Куприной-Иорданской)*.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

[1] ИРЛИ, архив Ф. Д. Батюшкова.

[2] Свое отношение к Батюшкову Куприн выразил в статье, написанной после его смерти: «Скончался Ф. Д. Батюшков, — писал

А. И. Куприн в январе 1921 года. — ...Он не оставил после себя фундаментальных ученых трудов. Незамеченными прошли его работы о Ронсаре и о формировке средневекового шведского языка, а также и критические статьи о современной русской литературе... Достоинство — а если кому угодно, недостаток этого воистину человека — заключалось в его полной, органической неспособности лгать. Право, в этом смысле он был каким-то прекрасным уродом на пейзаже русской интеллигентной действительности. На его слово — не на «честное слово», не на клятву, а на простое: да и нет, — можно было положиться тверже, чем на всякие временные законы и декреты. Иногда эта верность слову у него выходила трогательно-смешной. Так, в 1902 году, по поводу мартовского избиения студенческой сходки на Казанской площади, профессора Петербургского университета единодушно вышли в отставку. (В числе их и Ф. Д. Батюшков, читавший тогда курс «Западной литературы». — *Л. Д.*) Потом они все постепенно опять заняли свои кафедры... Но Батюшкова так никто и не мог уговорить читать лекции. «Отставка есть отставка. Выйдет, что я не хозяин своему слову».

Его очень любили простые люди. Соседние с его бездоходным имением в Устюженском уезде мужики из Тристенки, Бородина, Высотина и Никифоровской, конечно, поделили между собой его землю под влиянием какого-то идиотского министерского распоряжения... но все, как один, решили: «Усадьбу Федору Дмитриевичу оставить, старых лип не рубить, яблок не красть и, спаси господи, не трогать книг...» Федор Дмитриевич был секретарем, казначеем и председателем Литературного фонда, он очень часто, оберегая кассу, помогал литераторам и журналистам из своего скудного кармана... Последняя моя встреча с Федором Дмитриевичем была в конце 19-го года, на углу Садовой и Инженерной. Он шел в Публичную библиотеку и остановился взять с лотка полугнилое яблоко. Я спросил — зачем? «Это мой завтрак...» Он умер от истощения. Целую землю, под которой ты лежишь.

А. Куприн.

P. S. Может быть, меня спросят, какой он был партии. Никакой. Он был родной брат декабристам». (А. Куприн, «Памятная книжка», «Общее дело», Париж, 31 января 1921 г., № 200, стр. 2.)

[3] Рассказ А. И. Куприна «Мелюзга» был напечатан в декабрьской книжке «Современного мира» за 1907 год.

[4] В. Муромцева-Бунина, «Беседы с памятью» («Новый журнал», № 58, 1961, Нью-Йорк). Сообщено А. К. Бабореко.

[5] «Шиповник» — петербургское книжное издательство (1906—1918), организованное С. Ю. Копельманом и З. И. Гржебиным.

ГЛАВА II

[1] Рассказ А. И. Куприна «Морская болезнь» был опубликован в сборнике «Жизнь» № 1, 1908. Сборник вышел из печати в конце февраля 1908 года.

[2] Собрание сочинений А. И. Куприна выпускалось в «Московском книгоиздательстве» с 1908 по 1917 год.

ГЛАВА III

[1] Рукопись рассказа А. И. Куприна «Река жизни», а также его письма ко мне погибли в 1918 году. Чтобы сберечь свой архив от расхищения во время полицейских обысков, я в 1912 году два ящика с письмами и рукописями отвезла к моей приятельнице С. М. Ростовцевой — жене профессора М. И. Ростовцева, члена-корреспондента Академии наук, считая, что в этой благонадежной обстановке документы будут в полной сохранности. В 1918 году, во время моего временного отъезда из Петрограда, Ростовцевы уехали за границу. Когда я вернулась, то в их квартире застала других жильцов. Они сообщили мне, что, приводя в порядок помещение, сожгли много каких-то писем и бумаг (прим. М. Куприной-Иорданской).

[2] Лейтенант Глан — герой романа К. Гамсуна «Пан».

[3] Цитируется по книге Н. Н. Ходотова «Близкое-далекое» («Искусство», Л. — М. 1962, стр. 222).

ГЛАВА IV

[1] А. И. Куприн в письме к старшей сестре С. И. Можаровой назвал Любовь Алексеевну «несправедливой бабушкой» (ЦГАЛИ).

[2] «Каприйская школа» — антипартийная, фракционная школа, созданная в 1909 году на о. Капри. Просуществовала она всего четыре месяца.

[3] Роман В. Винниченко «Честность с собой» был опубликован в 1911 году в сборнике «Земля».

[4] Повесть И. А. Бунина «Деревня» была напечатана в журнале «Современный мир» (1910, №№ 3, 10, 11).

[5] Рассказ Л. Н. Андреева «Тьма» был напечатан в альманахе «Шиповник», кн. 3, 1907. «Прототипом героя «Тьмы» послужил видный эсер, инженер Петр Моисеевич Рутенберг. В мае 1907 года (под конспиративной кличкой «Василий Федоров») приезжал на Капри, где, по-видимому, и познакомился с Андреевым. 23 или 24 октября того же года Горький, называя «Тьму» отвратительной, грязной вещью,

писал Пятницкому о Рутенберге: «Я предупреждал, я просил этого скота не говорить Леониду о революции и своем участии в ней, я прямо указывал ему, что Леонид немедленно постарается испачкать все, чего не поймет» («Архив Горького», т. IV, стр. 208).

[6] «Горьковские чтения», изд-во АН СССР, М. 1959, стр. 14.

[7] Оригинал письма М. М. Коцюбинского находился в ЦГАЛИ. 26 января 1939 года передан по акту «Мемориально-литературному музею М. М. Коцюбинского» в Чернигове.

ГЛАВА V

[1] «Гранатовый браслет» впервые был напечатан в шестой книге альманаха «Земля» с посвящением В. С. Клестову и с воспроизведенной в эпиграфе первой нотной строкой из Largo Appassionato — второй сонаты Бетховена (соч. 2).

[2] 12 ноября 1910 года в Одессе состоялся полет Куприна с пилотом-спортсменом И. М. Заикиным на аэроплане «Фарман». При посадке аэроплан потерпел аварию и Куприн был «вышиблен с сиденья» (см. «Мой полет», А. И. Куприн, т. 9).

[3] См. ч. I, гл. VIII, стр. 59—61.

ГЛАВА VI

[1] 10 июля 1939 года В. Ф. Боцяновский писал Э. М. Ротштейну: «...Только вчера мне удалось побывать в Гатчине у Е. М. Куприной, и вот что могу сообщить Вам по вопросам, которые вы мне поставили: «Разрыв с Андреевым и столкновение у Ходотова произошло на интимной почве. Л. Андреев позволил себе коснуться вопроса личных отношений Куприна с Марией Карловной» (ЦГАЛИ).

[2] Коллективное письмо, направленное А. И. Куприну, было подписано Арцыбашевым, А. Рославлевым, Н. Олигером, Скитальцем, Сергеевым-Ценским, Е. Чириковым, А. Каменским и другими (ЦГАЛИ).

[3] 13 ноября 1911 года «Московская газета» (№ 158) писала: «...Проезжая из Петербурга на юг, г. Арцыбашев сообщил в Москве, что 28 литераторов собираются г. Куприна «подвергнуть исключению из писательской среды и бойкоту»... Нужно, впрочем... заметить, что не только 28, но и 128 литераторам исключить г. Куприна из писательской среды никогда не удастся... Куприн — писатель в гораздо большем значении этого слова, чем вместе все 28 литераторов, судивших его. Для них исключить Куприна из писательской среды так же невозможно, как невозможно было в свое время русскому правительству поставить Толстого вне рус-

ского общества, вне русского народа. Что дано благостью и милостью божией, на то посягать людям не следует. Автор «Санина», вдохновенный певец хулиганства, этого не понимает, очевидно. Его дело».

В недатированных письмах к Н. И. Иорданскому Арцыбашев писал «...Скажите мне, Николай Иванович, что значит эта странная, почти рабская любовь к Куприну, которая проявилась у некоторых Ваших сотрудников по редакции и ежеминутно ставит «Современный мир» в крайне неловкое и двусмысленное положение... Неужели это действительно такое обожествление писательского дара Куприна? Не может же быть, чтобы люди литературные... серьезно считали второстепенного писателя Куприна — гением и ставили его наравне с Толстым?.. А между тем «Современный мир» ложится за него грудью ...рискует потерей огромной группы писателей, может быть, и не столь талантливых, как Куприн, но все же полезных, дружественных журналу... Странно, странно! И невольно ищутся тайные закулисные пружины... Вы не можете знать, какое значение придавали оправданию Куприна и в истории с Бенштейном, и в скандале с Л. Андреевым Кранихфельд и Мария Карловна и как они старались воздействовать на меня в этом смысле...»

ГЛАВА VII

[1] Сонеты Стеккети в переводе А. И. Куприна в «Современном мире» напечатаны не были.

ГЛАВА VIII

[1] Лидия Куприна в 1919 году вышла замуж за режиссера Александринского театра Н. М. Леонтьева. С 1920 года — эмигрант.

ГЛАВА IX

[1] ИРЛИ, архив Н. К. Михайловского.
[2] А. Куприн, т. 9, стр. 445.
[3] Отдел рукописей ЛБ.
[4] ИРЛИ.

ГЛАВА X

[1] Роман А. И. Куприна «Яма» вышел на французском языке в июне 1923 года, «Детские рассказы» — в декабре 1923 года.

[2] В начале февраля 1923 года Лидия Александровна Куприна вышла замуж за Б. К. Егорова.

ГЛАВА XI

[1] Речь идет об эмигрантской «Русской газете».

[2] Рассказ Куприна «Однорукий комендант» впервые был напечатан в литературном сборнике «Окно», кн. I, Париж, 1923. Мария Карловна купила этот сборник в 1923 году в Риме.

[3] Петя Масленников — малоизвестный псевдоним Н. С. Клестова (Ангарского).

[4] У Лидии Александровны, дочери Куприна, 4 февраля 1924 года родился сын Алеша.

[5] И. А. Бунин писал в 1938 году: «Но всему есть предел, настал конец и редким силам моего друга: года три назад, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: ни следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, что у меня слезы навернулись на глазах» (Альманах «Охотничьи просторы», № 11, М. 1958, стр. 11).

О встрече с Куприным в Париже рассказал В. Л. Андреев, сын писателя Леонида Андреева: «Я встретил его последний раз в Париже незадолго до того, как Александру Ивановичу удалось вернуться в СССР. Он шел мне навстречу по улице — больной, небрежно и бедно одетый, по-стариковски шаркая ногами в каких-то домашних шлепанцах. Он посмотрел на меня, стараясь припомнить, кто перед ним. Но не смог. Я напомнил. «Да-да, — как-то жалко улыбнувшись, ответил он. — Не найдется ли у вас пяти франков?» («Московская правда» от 16 декабря 1962 года).

[6] Ксения Александровна Куприна.

ГЛАВА XII

[1] Алексей Борисович Егоров, внук А. И. Куприна, умер 12 июня 1946 года в Москве в Пироговской клинике от болезни сердца, явившейся последствием тяжелой контузии, полученной на фронте во время Великой Отечественной войны. А. Б. Егоров был сержантом Советской Армии.

[2] Лидия Александровна Куприна (по второму мужу Егорова) умерла в Москве 23 ноября 1924 года.

[3] Н. Д. Телешов, Записки писателя, «Советский писатель», М. 1960, стр. 66.

Л. И. Давыдова

УКАЗАТЕЛЬ

личных имен и названий периодической печати[1]

составила *Л. И. Давыдова*

[1] В указатель включены все имена и названия изданий, прямо или косвенно упоминаемых в тексте воспоминаний. Имена и названия, встречающиеся только в примечаниях, в указатель не вводятся. Цифры, обозначающие страницы примечания, набраны курсивом.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА XXXIV

ГЛАВА XXXV

ГЛАВА XXXVI

ГЛАВА XXXVII

ГЛАВА XXXVIII

ГЛАВА XXXIX

ГЛАВА XL

Мария Карловна Куприна-Иорданская
ГОДЫ МОЛОДОСТИ

Редактор *С. Розанова.* Художественный редактор *С. Данилов*
Технический редактор *Р. Фейлер.* Корректоры *Р. Пунга* и *А. Юрьева*

Сдано в набор 25/I 1966 г. Подписано в печать 21/IV 1966 г. Бумага типографская № 2, 84×108¹/₃₂-12 печ. л., 20,16 усл. печ. л., уч.-изд. л. 20,46+8 вкл.=20,86. Тираж 50 000 экз. Заказ № 42. Цена 84 коп.
Издательство «Художественная литература», Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19.

Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Измайловский проспект, 29.

84 к.